

**ВРЕМЯ
ИМЫ** 152
2001



БОРИС НОСИК
КРАСНЫЙ ШИК С ЧЕРНОЙ ИКРОЙ

ВРЕМЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

и МЫ

Выходит один раз
в три месяца

ИЗДАЕТСЯ С 1975 ГОДА

152
2001

МОСКВА - НЬЮ-ЙОРК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ»

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЖУРНАЛА
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ
ДМИТРИЙ БЫКОВ	ЛЕВ НАВРОЗОВ
<i>(зам. гл. редактора)</i>	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ДЖОНГЛЭД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ВЛАДИМИР ДОБИН	МОРИС ФРИДБЕРГ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ	

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»
409 Highwood Ave, Leonia, New Jersey 07605, USA
Tel 201 592-61-55

Московское отделение журнала «Время и мы»
Москва—Санкт-Петербург
115598 Москва, Лебединская ул., корп. 1, кв. 271
Тел.: (095) 329-27-64

Французское отделение журнала «Время и мы»
Париж—Гренобль—Ницца
Адрес: Rue Nasionale 127, Paris 75013
Тел.: 458-505-51
Заведующий отделением Борис Носик

По вопросам приобретения журналов обращаться:
ООО издательство «Хроно пресс»
121099 Москва, а/я 880
Тел.: (095) 978-89-39, 978-49-16, 112-10-89

OCR и вычитка - Давид Титиевский, октябрь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Борис ХАЗАНОВ
Третье время.....5
Владимир ФРИДКИН
На святой земле.....60
Тобайес ВОЛФ
Самые элементарные требования.....86

ПОЭЗИЯ

Римма КАЗАКОВА
Вопреки.....96
Елена ИСАЕВА
Не мешайте жить своим любимым.....105
Ной РУДОЙ
Тени.....114

ВЛАСТЬ. ОБЩЕСТВО И СВОБОДНЫЙ РЫНОК

Леонид ГОМБЕРГ
Десять лет реформ и наркотического дурмана119
Леонид ЖУХОВИЦКИЙ
Вся власть зеленым.....136
Игорь ЗОЛОТУССКИЙ
Генералы, интеллигенты и ГУЛАГ.....147

КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Юрий ДРУЖНИКОВ
Невольник чести или невольник смерти?.....159
Владимир ЛОБАС
Завидовал ли Достоевский Льву Толстому?.....175

СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Лее НАВРОЗОВ
Угасающее зрение обреченного Запада.....205

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Адам ВЕКСЛЕР
Узник номер В8199 (в переводе с иврита Е.Маневича).....225
Борис НОСИК
Русские и нерусские тайны Лазурного берега.....260

ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»

Б.Н.
И скульптор, и рассказчик: Алексей Оболенский.....285



Борис ХАЗАНОВ

ТРЕТЬЕ ВРЕМЯ

*Tes cheveux, tes mains, ton sourire rappellent de loin
quelqu'un que j'adore. Qui donc? Toi-meme.*

M.Yourcenar. Feux*

С тех пор как живой огонь смоляных факелов, масляных плошек, свечей, керосиновых ламп больше не озаряет человеческое жилище, уступив место беспламенному освещению, мир стал другим, вещи смотрят на нас иначе, и бумага ждет других слов. Но нет, это все те же слова.

В области технологии попятное движение возможно так же, как и на лестнице живых существ. Приспособление, стоявшее на столе, представляло собой именно такую регрессивную ступень, зато имело важное преимущество перед своим более совершенным предшественником, а именно, сэкономило дефицитный керосин. Уничижительное название «коптелка», возможно, указывало на недостатки с точки зрения экологии и защиты окружающей среды, но экология была изобретением позднейшего времени.

*Твои волосы, твои руки, твоя улыбка издали напоминают мне кого-то, кто мне дорог. Но кого же? Тебя. - Маргарит Юрсенар. "Огни" (фр.).

Проще говоря, это была все та же керосиновая лампа, с которой сняли стекло и отвинтили железный колпачок с узорным бордюром. После чего можно было прикрутить фитиль до чахлого огонька, повторенного в темном окне, где виднелось призрачное лицо пишущего. За вычетом некоторых частностей, — к ним следует отнести прошедшие годы, — это тот же персонаж, который и сейчас предается этому занятию, описывает комнату, архаический осветительный прибор и самого себя, склоненного над тетрадкой. Пишущий описывает пишущего. С пером в руке, зачарованный собственной решимостью, он застыл, вперив в огонь сузившиеся зрачки; в этот момент его застает наше повествование.

Желтый огонек в запотевшем оконном стекле прыщет искрами, перо, забывшись, ворошит маслянистые черные останки в чашечке горелки. Двойной тетрадный листок, лежащий перед подростком, исписан до конца. Остается перечесть, он медлит, как Татьяна над письмом Онегину. Остается сложить и сунуть в конверт. Но в те годы почтовые конверты вышли из употребления. Письма сворачивали треугольником. Он сам клеил конверт. И чем дольше он вперяется в огонь, чистит перо о край чашечки и вновь пытается подцепить обугленный остов таракана, тем настойчивее трубит рог судьбы, тем сильнее восторг и зуд небывалого приключения. Такое зудящее чувство испытывает человек перед тем, как сигануть с вышки в воду. Он встает. Ему представились сумрачные леса, отливающий оловом санный путь.

Грезы памяти прочнее зыбкой действительности. Случись нам однажды посетить места далекого прошлого, мы увидели бы, что с действительностью произошло что-то ужасное, все изменилось, разве только лес и река остались прежними под темным пологом туч; мы с трудом узнали бы этот жалкий сколок с немеркнувшего воспоминания; мы совершили бы насилие над собой, если бы захотели соединить эти новые впечатления с тем, что живет в памяти, надругались бы над памятью, которая не верит в искаженную, выродившуюся действительность и попросту не желает ее признавать: так богатое процветающее государство не хочет впускать к себе оборванцев.

Мальчик стоит посреди комнаты, в коротком пальто, из которого он вырос, шапка-ушанка в руке; перед тем, как дунуть на огонек, он видит в окошке свое лицо, освещенное снизу, как у преступника. Сейчас он выйдет. Та же дорога, что и тогда. Но тогда, две недели назад, был солнечный день, снег скрипел под ногами. Тогда... о, сколько лет этот день еще будет стоять перед глазами. Она шагала в полушубке, в платке, из-под которого выбились ее пряди, в юбке чуть ниже колен и маленьких черных валенках, глядя под ноги, держа правую руку в варежке перед грудью, левой помахивая от бедра в сторону, в такт шагам. Все эти мелочи, на которые прежде он не обратил бы никакого внимания. Когда он догнал ее при выходе из больничных ворот, она сказала: «А я даже не знаю, в каком вы классе». Вместе прошли весь путь, два или три километра от больницы до районного центра, о чем говорили, не имело значения, забылось, остался звук ее голоса, морозный румянец, ослепительный день; и то, как она шла, легко и уверенно ставя ноги в валенках, по утоптанному скрипящему снегу, в юбке немного ниже колен и хлопчатобумажных чулках, шла, внимательно глядя под ноги, чтобы не поскользнуться, рука в шерстяной варежке перед грудью, другой помахивая от бедра в сторону, как делают женщины, что придавало ей забавный деловой вид. Оба должны были идти по сторонам скользкой дороги, отступали в снег, чтобы пропустить встречную подводу, шли по обочинам, сходились, шагали рядом.

Когда это началось? Когда затеялась эта история, всегда одна и та же, сколько о ней ни вспоминать, ибо она держится на нескольких более или менее прочных фактах, словно палатка на кольшках под порывами ветра, и всегда другая, оттого что так называемые факты разбухают новыми подробностями, ветвятся, соединяются и даже меняют свою последовательность. Образ девушки, неколебимый, как фатаморгана, стоит над всеми событиями. Ибо, как сказано, «там» ничего не изменилось, ни лес, ни заснеженный берег, ни дорога, по которой она шла, откидывая руку в сторону, глядя под ноги, чтобы не поскользнуться, а может быть, для того, чтобы не смотреть на спутника. Все как прежде, и если бы через много лет по неслыханному стечению обстоятельств мы

увидели ее снова, если бы нам сказали: вон та сморщенная старуха, это и есть она, — возмущенная память отшвырнула бы ее прочь.

В который раз воображая все сызнова, — для чего не требовалось усилий, достаточно было припомнить одну какую-нибудь сцену, одну подробность, перо с загнутым кончиком, называемое «селедочкой», огонек на столе, — достаточно было вспомнить, и сам собой приходил в движение весь механизм, — воображая или, лучше сказать, восстанавливая эту историю, подросток, который давно уже не был подростком, столкнулся с проблемой особого рода, мы бы сказали — с грамматической трудностью. Все ясно и просто, пока вы пишете о других. И насколько сложнее найти в мешанине событий и лиц подходящую роль для себя, другими словами, подобрать для себя подходящее местоимение. Странная коллизия, которая показывает, как трудно уживаются память и повествование. Оба лица глагола — и первое, и третье — были несостоятельны. Он говорил о себе: «он», «его отражение в запотелом стекле», представляя себе того, кем уже не был, — он писал о другом. Но другой, тот, кого давным-давно не существовало, был он сам, был «я». Он был тем же самым, он был другим. И он чувствовал, что местоимение первого лица расставляет ему ловушку, тайком впускает через заднее крыльцо в заколоченный дом памяти того, кому находиться там не положено. Если и удалось бы отделить себя от того, прежнего, то уж никак невозможно отделить прежнего — от себя нынешнего.

Литература находит выход, пусть конформистский, рабский, в цепях грамматики, которые она сотрясает, приучая читателя к зыбкости глагольных форм, условности местоимений, а значит, и к зыбкости точек зрения; литература шепчет: не доверяй «ему», на самом деле это я, скрывшийся под личиной повествователя; но не полагайся и на «меня», ибо это не я, а некто, бывший мною; не верь в то, что ты имеешь дело с вымыслом, это всего лишь этикет литературы, единственный вымысел этой повести — то, что она притворяется выдумкой; но и не обольщайся мнимой исповедальностью, на самом деле «я», как и «он», — не более чем соглядатай.

К этому времени — четырнадцать, пятнадцать, надо ли уточнять? — окончательно прояснилось, кем он будет или, вернее,

кем он стал. Чем туманнее были его представления об этой профессии, тем прочней была его уверенность. Предчувствие этой судьбы давно давало себя знать — в баснословную старину, обозначаемую словами «до войны», во времена, от которых подростка теперь отделяло такое же расстояние, как от юноши до дремучего старца. Откапывая первоисток, будь то начало любви или рождение страсти к писательству, мы убеждаемся в неисчерпаемости прошлого, похожей на неисчерпаемость древней истории.

Идея, прочитав что-нибудь, сочинить нечто подобное, но еще лучше, — когда она появилась? Он прятал тетрадки с рассказами и стихами, рисовал на узких бумажных рулонах приключенческие фильмы и писал пояснительные титры, как было принято в настоящем кино. *Это случилось в Париже, в один из теплых летних вечеров 193... года.* Его литературные амбиции распространились на все роды словесности, он писал романы, поэмы, критические статьи, ученые трактаты; мало что доводилось до конца, большей частью ограничивалось вступительной главой или прологом; новый замысел оттеснял предыдущие. Все становилось предметом литературы; все стало литературой. Было ли ею и это письмо? Любовь и словесность вступили в заговор. Вот оно, уже заклеенное, которое автор вертит в руках. В десятый раз перечитывает адрес. Мальчик стоит посреди комнаты, тень в огромных валенках, в пальто, из которого он вырос, дважды переломилась от пола до потолка, и чье-то лицо, освещенное снизу, следит из окна. Он сунул конверт за пазуху, нахлобучил ушанку, слабая керосиновая вонь от потухшего светильника повеяла ему вслед. Влажный ветер ударил в лицо. Была оттепель.

Под темным небом, в оловянной ночи он брел краем дороги, чтобы не промочить валенки, неся в кармане письмо с адресом, который не отличался от его собственного, — ведь она жила в том же доме-бараке, второе крыльцо, — письмо, содержащее нечто такое, что никогда и ни под каким видом не может быть произнесено вслух. Как если бы он прошептал ей на ухо секретный пароль, оставаясь невидимым, *variant sans variant**, как выражается персонаж одного романа, где объяснение происходит в полуреальной обстановке карнава-

Говоря и не говоря (фр.; Т.Манн, «Волшебная гора»).

ла и вдобавок не на родном языке. Подросток никогда не слышал об этой книге. Но в конце концов все наши поступки уже описаны кем-то. В это время та, для которой предназначалось оглушительное известие, дремала на топчане в инфекционном бараке, накрыв ноги казенным одеялом, рядом со столиком дежурной сестры. Пока еще она ни о чем не подозревает.

Но когда все-таки это началось? С чего началось? Был летит дань, один из первых горячих дней, народ собрался на пологой лужайке, вероятно, это были дети больничной обслуги, женщины в светлых платьях сидели на траве, не решаясь раздеться, и вода сверкала так, что больно было смотреть. И кто-то уже сходил к песчаной отмели босиком, придерживая подол, а вдали, на темно-сверкающем просторе, мимо зеленой кромки противоположного берега, длинная черная баржа тянулась следом за пароходиком, над которым курился дымок; кто-то, приставив ко лбу ладонь, старался прочесть название полукругом над пароходным колесом. Не оттого ли мы склонны приписывать особенное значение мимолетному эпизоду, что смотрим на него из будущего? Зная о том, что за этим последовало, мы говорим себе: вот решающее мгновение, вот когда сделана первая инъекция эротического наркотика, а на самом деле — что было на самом деле?

Несколько минут спустя докатившаяся волна плеснула на прибрежный песок, забрызгав подол платья; и ватага с визгом, с уханьем бросилась вперед, в блеск реки и бледную голубизну неба. Посреди этого детского лягушатника, белея круглыми плечами, в воде до начала грудей стояла чужая и незнакомая, неизвестно даже, как ее звали, кругло остриженная. Кого же она напоминала теперь, в воспоминаниях: ту, которой стала позже? И да, и нет.

И еще меньше, чем тогда, на реке, когда она стояла, щурясь от солнца, среди кувыркающихся мальчишек, еще слабая, с не успевшими отрасти волосами, сама похожая на болезненного крупного мальчика, стесняясь выйти и не решаясь пуститься вплавь, — еще меньше оснований было бы считать началом этой истории день, когда в комнате за перегородкой, где потом поселилась с матерью Маруся Гизатуллина, в про свете занавески, заменяющей дверь, лежала на подушке ее

наголо остриженная голова, покоилось бледное лицо с закрытыми глазами. И когда она вышла в первый раз на крыльцо, в рубашке, весенним днем, — можно ли утверждать, что с этого дня, в эту минуту все началось? Нет, конечно. Слишком часто память приписывает незначущим впечатлениям профетический смысл.

В эти дни повторился кошмар молниеносной войны. Вновь, как минувшим летом, армия панически отступала. Вал нашествия прокатился по степи к Дону, оттуда, согласно безумному замыслу верховного стратега, полчище повернуло на юг, прорвалось к Кавказу, горные егеря вскарабкались на Эльбрус и всадили красное, цвета крови, знамя с белым диском и свастикой в каменную расщелину. Другая часть наступающих войск устремилась к излучине Волги. Когда перед генералами открылась вся неоглядная, залитая солнцем, мерцающая, неподвижно-текущая ширь, с едва различимым другим берегом на горизонте, они были поражены. Ничего подобного они не видели у себя на родине. Город, растянувшийся на пятьдесят километров вдоль правого берега, был окружен с трех сторон. В Виннице, в новой штаб-квартире, в далеком тылу фюрер изнывал от украинской жары. Город нужно было взять во что бы то ни стало. В Москве вождь, слывший величайшим полководцем и никогда не выезжавший на фронт, издал приказ: «Ни шагу назад». Эвакуация населения была запрещена. Две трети развалин с их обитателями были в руках врага. В подвале универсама на бывшей площади Героев революции сидел главнокомандующий. Река, вся в пламени, стояла перед глазами, но оставалась недостижимой. Город на Волге утратил стратегическое значение, но его надо было взять. Город удалось отстоять, но его уже не существовало.

Тем временем части, незаметно подтянутые с фланга, в ста пятидесяти километрах к северо-западу, применили тактику, которую переняли у противника. Артиллерия ударила всей мощью на узком участке, после чего туда устремились танковые подразделения и пехота. Навстречу, с юго-востока, двигались войска, чтобы сомкнуться с ними. Над половецкой степью пошел снег. Фланги охраняли румынские части, чей боевой дух уступал немецкому. В темноте танки подошли к узловой станции и включили фары перед мостом через Дон. Окружение за-

вершилось на пятый день после начала операции. Фюрер из штаб-квартиры запретил попытки прорвать с боями кольцо, что означало бы отступление. Оставалось погибать под бомбами, в летних шинелях, от мороза и нехватки продовольствия. Некая Лизель из Аахена, семнадцать лет, послала слезное письмо солдату, чье имя осталось неизвестным: зачем он сделал ее такой несчастной, все смотрят на ее раздувшийся живот. Мать девятнадцатилетнего гренадера 16-й танковой дивизии Рольфа Бергера написала сыну, кто знает о том, что он сидит в котле под «Шталлиградом», давно ничего от него не получала. Письмо (вернувшееся, как и письмо Лизель, со штампом «Пал за Великогерманию») было написано в комнате за глухо задернутыми черными шторами при свечах, электричество не функционировало после налета британской авиации. На другую ночь налет повторился, и от дома ничего не осталось. Студент Валентин Егоров, рядовой, двадцати одного года, раненный на станции Калач, выжил и, оставшись без рук и ног, лишился возможности покончить с собой. Генерал Чуйков потерял в руинах города почти всех своих солдат. Вместе с погибшим населением Сталинграда потери от всей операции приблизились к двум миллионам. От 250-тысячной армии генерал-фельдмаршала Паулюса осталось к моменту капитуляции 90 тысяч. Вернулось из плена после войны шесть тысяч. Это была война, в которой победа была такой же катастрофой, как и поражение; Стоимость человеческой жизни сравнялась с ценой членистоногого. Героизм, страх, самоотверженность и волчья жестокость обесценили все остальные чувства. Война перечеркнула культуру. Война разрушила европейское человечество, но об этом никто не думал, выпотрошила души людей» но они этого не заметили. Эти годы уже никто не помнит.

И снова...

Снова эта дорога, армада туч, даль - как мглистое пространство сна. По левую руку холмы, замороженные леса; где-то между деревьями, сейчас не различишь, двойной лыжный след на снежной крутизне. Пристыженный рекордом неизвестного смельчака, мальчик решил было тоже съехать с обрыва, стоял там, наверху, между елями, сделал робкий шаг, подтянул другую ногу, лыжи висели над пропастью, в следующее мгновение он уже летел вниз в свисте и громе ветра, почувствовал

слабость в ногах и несколько раз перекатился через голову, раскинув ноги с лыжами, растеряв палки, в фонтанах снега. К счастью, никто не видел его позора. От быстрой ходьбы становится жарко, он стащил с головы шапку, вытер шапкой мокрый лоб, расстегнул пальто, он шагает налегке в облаке пара, письмо в кармане, голова мерзнет, он нахлобучивает холодную влажную шапку. Отступают, уходят во тьму леса и овраги, все ближе редкие огоньки, подросток бредет по безлюдной улице, еще шагов полтора, еще каких-нибудь десять домов до каменного двухэтажного дома с вывеской почты.

Сунув в щель конверт, он ждет, мгновение, и он ринется, как тогда, с обрыва, в громе ветра. Разжать пальцы, только и всего. Письмо упало в ящик. Мальчик подумал, что утром по дороге в школу он успел бы перехватить почтальонку, как все ее называли, представил себе, как она роется в сумке, как он выхватывает письмо у нее из рук и сует в карман. Я передумал, говорит он. И на другой день всю дорогу до школы на другом конце села он думает о том, как она бредет в теплом платке, в куцавейке и старушечьей юбке, с сумкой через плечо, мимо лесистых холмов, мимо взрыхленной крутизны в просвете елей - след его падения, уже запорошенный снежком, - и вот уже видны дымки из труб, больничный поселок. Старая женщина свернула с тракта. Сейчас, думает он, взбегая на второй этаж, она вошла в ворота. Сейчас... среди беготни и гама, словно сомнамбула, никого не видя, не слыша звонка, он пробирается в класс, опускается на свое место, вскакивает вместе со всеми при появлении учительницы, - сейчас она шагает мимо конюшни.

Сразу же за воротами площадка, желтая от навоза и конской мочи, сарай для телег, саней и кибитки главного врача. Налево заваленный снегом огород, бревна, сваленные Бог знает когда, штабеля дров. Барак для персонала... Вестник в юбке и куцавейке поравнялся с крыльцом, где жили подросток и его мать, где в комнате за занавеской проживала Нюра в те далекие времена, когда она выздоравливала от брюшного тифа, а потом поселилась Маруся Гизатулина, она-то всегда ждала писем, и мать ждала писем, но старая тетя Настя прошла мимо. Великий момент! Она остановилась перед следующей секцией.

Кто-то вышел, о чем-то поговорили; почтальонка рылась в сумке; женщина, с самодельным конвертом в руке, ворочилась на кухню и, держась рукой за поясницу, наклонилась подсунуть конверт под дверь соседки. Конечно, никто из них не догадывался, *от кого* это письмо. Все это он представил себе, как если бы стоял рядом, но что если письмо не дошло, затерялось на почте? Между тем тетя Настя двинулась дальше к проходу в плетне, отделявшем жилую зону от больничных корпусов, плелась мимо дома завхоза, мимо бани на пригорке, из толстых бревен, с единственным маленьким окошком. И тотчас, ни с того ни с сего, едва только слово «баня» промелькнуло в сознании, эпизод, казалось бы, навсегда забытый, принадлежащий совсем уже архаической эпохе, всплыл в его памяти.

Не считая главврача, завхоза, да еще полусумасшедшего Марсули, каким-то образом прибывшего к больнице, он был единственным представителем мужской половины человечества в этом маленьком мире; мелкая ребятня, дети полузамужних сестер и санитарок, разумеется, не в счет. Главный врач, человек с негнущейся ногой, вместе с падчерицей эвакуировался с Украины, где, по слухам, заведовал чем-то, а здесь стал важным лицом в районе, председателем врачебной комиссии, мог всегда положить к себе двух-трех призывников с сомнительными болезнями, говорили даже, вовсе здоровых. Главврач с падчерицей мылись первыми; после них шествовал в баню следующий по рангу завхоз Махмутов, пожилой мужик с картофельным лицом, жена в теплом-платке, закутанная до глаз, несла следом тазы для ног, для головы; а далее женщины, их было слишком много, так что мальчик должен был мыться последним, когда горячей воды оставалось на доньшке. На худой конец можно было идти вдвоем с матерью, но мать была не настолько важной персоной, чтобы одной с мальчиком занять баню, а главное, время шло очень быстро; время, казавшееся нескончаемым, тянувшееся, как товарный поезд, оттого что было наполнено доверху впечатлениями, чтением, планами, - один месяц этого грузного времени был равен многим годам жизни взрослого человека, одной недели хватало бы на целую книгу, — на самом деле несло вперед с курьерской скоростью. Он сам не заметил,

как перестал быть ребенком, каким его привезли в начале войны, и уже неудобно было вести его с собой в женскую баню. И оттого, что оно так неслось, этот случай отступил в незапамятные времена; придавать ему тайное значение — какового он, без сомнения, был лишен — могла только поздняя память, наделенная свойством беллетризовать хаос жизни, о чем мы уже говорили: искусством манипулировать прошлым, и позапрошлым, и будущим, которое стало прошлым.

Этот случай погрузился в легендарные времена. В те времена, когда Нюра еще жила через стенку от них и никакого волнения данное обстоятельство не вызывало, словно это была не она; женщины не обращали на него внимания, а он был слишком занят, чтобы удостоить их вниманием, рисовал карты несуществующих государств, из которых одно напало на другое и стремительно продвигалось вперед, рисовал линию фронта, стрелы наступающих армий и кружки осажденных городов, писал статьи для задуманной астрономической энциклопедии, вечерами, глядя на небо, убеждал себя, что открыл новую комету, хотя три звезды, которых он не различал из-за близорукости, по всей вероятности, были Стожары. Потом астрономия как-то забылась, рисовать стратегические карты надоело, литературные замыслы оттеснили все прочие увлечения; словом, все это было еще до того, как Нюра лежала в бреду и за ней ухаживала строгая чернобровая Маруся Мухаметдинова, а другая Маруся еще не появлялась. До того, как Нюра стояла на крыльце, бледная и остриженная, в чем-то белом, вероятно, в ночной рубашке, зажмурив глаза под весенним солнышком, до того, как ее плечи белели в воде посреди барахтающейся детворы, до того, как она переселилась в соседнюю секцию. В эпоху до нашей эры, вот когда это было — и представлялось далеким островком в океане времени, и лишь много лет спустя стало казаться, что он был не чем иным, как вершиной подводного континента.

Женщин было слишком много. Все мылись ужасно долго. Поздно вечером мальчик все еще сидел, дожидаясь своей последней очереди, в холодных сенях с заиндевевшим окошком, дверь из предбанника приоткрылась, и высунулось красное и блестящее, окруженное космами мокрых волос лицо Нюры, пахло влажным, гниловатым теплом, затхлостью

сырого дерева, хозяйственным мылом и еще чем-то свежим, блестящим, это был запах женского тела; от неожиданности он открыл рот, она замахала руками, ей было холодно, она захлопнула дверь. Когда он переступил порог предбанника, там никого не было. В полутьме на лавках валялось белье, на крюках висели пальто, платки, стояли валенки. Он стащил с себя пальто и ушанку, поколебавшись, снял все остальное, толкнул забухшую дверь, толкнулся еще раз изо всей силы и ввалился в жаркий, желтый, тускло-блестящий туман, где, слава Богу, было плохо видно, тела двух женщин белели в тумане, гулкий голос окликнул его. В углу на полке справа от двери, в светящемся облаке, стояла в стеклянной банке керосиновая лампа. Мальчик все еще не понимал, зачем его позвали, стеснялся, но увидел, что, занятые своим делом, они не обращают на него внимания, и сам старался не смотреть на их блестящие покатые плечи, крутые бедра, несоразмерные с верхней половиной тела, большие круглые груди с розоватыми плоскими сосками у Нюры и маленькие, сужающиеся, татарские груди Маруси Гизатуллиной. Вдвоем с Нюрой держали за руки худенькую Марусю, которая, как он помнил, носила имя Марьям, была рукодельницей, целыми часами пела за перегородкой «Темную ночь», и «Про тебя мне шептали кусты», и «С неба звездочка упала», и что там еще, и сейчас казалась совсем маленькой, на голову ниже мальчика, и не сводила зачарованных глаз с бочки. «Ну, давай, шагай», — приговаривала Нюра. Маруся, застыв от ужаса, не двинулась с места

«Давай...»

Маруся Гизатуллина поставила ногу на табуретку и, поддерживаемая с двух сторон, встала на табуретку перед бочкой, задев мальчика круглым влажным бедром. Внутри, в бочке стояла другая табуретка Маруся попробовала воду ногой и охнула «Ну чего», — сказала Нюра сурово. Маруся сунула ногу в воду. «Держи, держи, — говорила Нюра, — привыкнешь... Другой ногой становись». Подросток ждал со страхом, что сейчас ей придется вытаскивать и звать на помощь, потому что она сожгла себе все тело кипятком, но Маруся героически сидела на корточках там, на табуретке, схватившись руками за края бочки, и громко, со свистом дышала открытым ртом, моргая

круглыми и блестящими, черносморозинными глазами с огромным неподвижным зрачком. «Терпи! — сказала Нюра, строгая, словно на работе, вся розовая, полногрудая, с потемневшими глазами, в шлеме темно-русых, кое-как свернутых волос, теперь уже совершенно не стесняясь подростка. — А ты, — она показала рукой на предбанник, — посиди там... — И когда он толкнулся в тяжелую дверь, крикнула вслед: — Смотри никому ни-ни!» Процедура помогла лишь отчасти. Ночью хлынула кровь, полуживую Марусю принесли на руках в хирургию, и главврач, в халате, кое-как завязанном на затылке, в ботинках на босу ногу, облив спиртом руки, при свете керосиновых ламп сделал то, что было необходимо.

Эпизод, как уже сказано, забылся, забвению способствовало то, что последовало за этой сценой — кровотечение и все прочее, немедленно ставшее известным, ведь в этом мире женщин ничто не могло остаться тайной. Мальчик ощутил беспокойство, смешанное с непонятной брезгливостью, услышав краем уха о том, что случилось; можно предположить, в чем был смысл этой брезгливости и почему обо всем этом хотелось забыть: аборт (слово, точное значение которого он не знал) означал некоторый взлом женского тела, которое в его представлении (хоть он этого и не сознавал) было чем-то загадочным, и аномальным, и вместе с тем целостно-неприкасаемым, кругло-замкнутым, с плотно сжатой складкой; все что его разжимало, будь то естественные отправления, кровь или насилие, вызывало в нем отвращение. Мальчик был мужчиной, иначе говоря, адептом девственности. Так получилось, что обе части ночного приключения — баня и то, что последовало за ней, — разъединились в сознании, и несчастье, едва не унесшее Марусю Гизатуллину, было репрессировано памятью. Но зрелище двух женщин в тускло-блестящем, пахучем банном тумане отнюдь не пропало бесследно; оказалось — в тот момент, когда он думал о письме, — что оно хранится в дальнем закоулке памяти, словно под замком, который отомкнуло одно единственное слово-ключ; он и стыдился вспомнить, и не мог воспрепятствовать этому воспоминанию.

Пробудило ли оно некое специфическое чувство в подростке? Нет, мы этого не думаем; скорее чувство экзотики, вне-

запное откровение красоты и гибкости этого тела, чье совершенство, может быть, нарушала лишь потемневшая от влаги дельта внизу живота; не зря ваятели древности избегали изображать эти волосы. Но, как и все архаические воспоминания, образ полнофудой и крутобедрой девушки-богини не мог связаться с той Ньюрой, которая сказала: а я даже не знаю, в каком вы классе; с восторгом совместного пути по скрипящему снегу, морозным утром из больницы в село.

Лето кончилось, уже не купались, и горячий солнечный день, когда она стояла, круглоголовая, похожая на мальчика, с сережками в ушах, щурясь от пляшущих бликов, и ее круглые плечи и начало груди белели над водой, в свою очередь ушел в легендарное прошлое. Подросток жил тем, чего было в избытке: будущим. Подросток вышел на крыльцо, весь захваченный новым замыслом, словно внезапно налетевшим ветром: то была грандиозная драматическая поэма, в которой должна была отразиться вся история человечества, поэма с прологом на небесах, как в «Фаусте», и эпилогом в коммунистическом обществе. Между тем было нетрудно догадаться по голосам и смеху за перегородкой, что у Маруси Гизатуллиной снова гостит муж. Как спящего будит тревога, а он от нее отмахивается во сне, словно от чего-то несущественного, мешающего, постороннего, так мальчику, которого настойчиво будила жизнь, казались досадной помехой вздохи и скрипенье кровати за стеной. Он дунул на пламя и вышел, ночь была синей, серебряной, где-то за тысячи километров гремела война. И вся жизнь была впереди.

Возвращаясь по узкой тропинке из домика на отшибе, похожего на скворешник, он увидел человека в накинутой на плечи шинели, который сидел перед домом на бревнах, сваленных, может быть, еще до войны. «Что, спать не дают тебе?» — спросил солдат. «Рано еще», — ответил подросток. «Чего же ты делал?» — «Читал». — «Чего? Ты извини, я плохо слышу. Уроки, что ль, делал?.. Садись, чего стоять».

Он добавил:

«Вон какая лунища».

Подросток молчал, человек спросил, в каком он классе, вопрос, означавший только одно: сколько осталось еще до призыва? Вытянув ногу, извлек из разлзатых штанов серебря-

ный портсигар, из кармана гимнастерки вынул мелко сложенную газету, оторвал листок, добыл щепоть махорки из портсигара — все левой рукой. Правая, обрубок, замотанный во что-то, висела на перевязи. «Куришь? — сказал он, защелкивая зажигалку. — Давай, приучайся». Усевшись рядом, подросток свернул и стал слюнить сигарку. «Бумага херовая, очень-то мочить не надо», — заметил инвалид. Он поднес зажигалку к самому его носу. Мальчик закашлялся. Луна стояла в пустом небе, черным оловом обливая лицо солдата, его сапоги, пуговицы шинели. «Откуда будешь?» Эвакуированный, сказал подросток. Солдат кивал, он, очевидно, не расслышал. «Ну, и как ты тут живешь, среди баб. Небось какая-нибудь уже... а?... А самому хочется? — спрашивал он. — Х... стоит?»

«Ты извини, - пробормотал он, - это я так, в шутку. Ты не обращай внимания. И курево, того. Побаловался, и хватит». Он отобрал у него сигарку, к большому облегчению для мальчика, загасил плевком, ссыпал остаток махорки в портсигар.

«Женщины, это, брат, такое дело, без них невозможно, а свяжешься, тоже одна морока».

Оба смотрели на черно-маслянистую траву, начавшую кудрявиться, как бывает осенью, на слабо отсвечивающую дорожку, по ней, оскальзываясь, брела старая почтальонка тетя Настя, чтобы вручить письмо Ньюре. Конечно, письмо было позже, зимой; но в воспоминаниях ничего не стоит перетасовать события, и в конечном счете все происходит одновременно. «Ну, я пошел», — проговорил подросток.

«Куда? Посиди, еще рано. Посиди со мной... Ты ее знаешь?»

Солдат сказал, что у него был друг в госпитале; теперь ждет, обещали какие-то особенные протезы. Такие, что хоть пляши. Одно вранье, сказал инвалид. Нельзя же у человека отнимать надежду.

Этот друг дал адресок. «Привет велел передать... Что народу покалечено, это я тебе рассказать не могу».

Значит, солдат на бревнах не тот муж, который приезжал в прошлый раз, а теперь ждал обещанные протезы, и вообще было непонятно, который из них муж.

Ему казалось, что уже тогда он был достаточно взрослым, чтобы понять, что означало происходившее в бане, зачем понадобилось лезть в горячую воду. Но, может быть, только

сейчас уловил чудовищную связь событий, понял, что кровь была расплатой за то, что происходило в комнатке за перегородкой, год тому назад.

Холода, неожиданно рано ударившие в ту первую осень, поначалу оказались кстати, сковали грязь на дорогах, что способствовало, успешному продвижению; и очень скоро передовые части оказались в пятнадцати километрах от вождьеленной столицы. Командир 12-го артиллерийского дивизиона справился по карте и увидел, что из десятисантиметровых дальнотойных орудий можно обстреливать Кремль. Командир был убит осколком снаряда на другой день, когда началось русское контрнаступление. Мороз рассвирепел, столбик ртути опустился так низко, что его больше не было видно. В прецизионных прицепах ручных и станковых пулеметов замерзло масло. Пехота закопалась в снег; ночью патрули обходили расположение и будили замерзающих. Битюги, тащившие орудия, вязли в снежной каше. Фюрер отдал приказ войсковой группе «Центр» стоять во что бы то ни стало. В Москве вождь и верховный главнокомандующий воскрес духом после того, как чуть было не покинул столицу в роковые дни октября. Несмотря на потерю трех с половиной миллионов плененных врагом солдат, армия, пополняемая свежими резервами, численно превосходила рать завоевателей. После массивной артподготовки армия двинулась вперед. Позади наступающих стояли заградительные отряды. Поля и перелески были усеяны трупами и умирающими. Среди них, в темно-розовых пятнах крови на снегу, с раздробленными ногами, все еще живой лежал осенний муж Маруси Гизатуллиной, это было наутро после того, как подросток и Нюра держали за руки маленькую, не решавшуюся ступить в бочку Марусю; кровь была обоюдной расплатой.

«А я тебе так скажу: можно и на колесиках ездить... Зато списан вчистую. А? Чего говоришь-то, не слышу».

Подросток топтался перед сваленными на землю бревнами. Человек с лопнувшими барабанными перепонками устремил на него вопросительный взгляд.

«Завтра уезжаю, — сказал солдат, — ночь переночую, и...»

Кивнув головой, не прощаясь, подросток вошел в сени. Конечно, это было раньше, но в воспоминаниях время зас-

тывает на месте — или передвигается прыжками. Поближе всмотреться, описать ее, вспомнить, какой была она в ту минуту, четыре месяца спустя, когда, постучавшись, вошла к нему в полутемную келью. Ибо она пришла, вот что поразительно: явилась собственной персоной. Представить себе фильм, мятущийся огонек на экране, сменяющие друг друга титры. Музыка из «Бориса Годунова» — 1603 год, келья Чудова монастыря.

Камера отъезжает. Коптилка, край стола, рука, держащая школьную вставочку, зрачки сидящего в полутьме, которые он переводит навстречу еле слышному звуку. Кто там, спросил подросток. Прежде чем войти, она поскреблась в дверь. По-видимому, она ужасно стеснялась. Она пришла попросить «что-нибудь почитать».

Теперь она звалась Анной, Аней. Прошлого не существовало. Слово от летних дождей и снежных заносов, не осталось и следа от времен, когда она ничем не отличалась ни от Маруси с ее мужьями, ни от строгой, молчаливой, преданной своему фантастическому жениху Маруси Мухаметдиновой, ни от глупенькой регистраторши Зои Сибгатуллиной, вообще от всякого другого, более или менее юного существа женского пола. Слово не она стояла в воде среди визжащей детворы, не она лежала в бреду, бледная и остриженная. Все воспоминания гаснут в магниевой вспышке настоящего, все сравнения отменены, настоящее ни с чем не сравнимо. Она явилась, выбрав поздний час, когда маленький поселок спал, только в главном и родильном корпусах и в инфекционном бараке теплились огоньки; когда мать подростка дремала на топчане в закутке для дежурных сестер, в «общем» отделении терапии и хирургии. Скрипнула тяжелая дверь на кухне, мальчик услышал жалобу ржавых петель, и все стихло, словно кто-то не вошел, а вышел; должно быть, она медлила несколько мгновений и, совсем было решив, что все это ни к чему, приблизилась к его двери. Мальчик сидел, устремив глаза на тусклый лепесток огня, впав в бесчувствие; он спросил почти автоматически: «Кто там?»

И она вступила в комнату, неуклюжая, слишком большая, в шерстяном платке, в наброшенном на плечи коротком, до бедер, суженном в талии пальто на вате и белом платье с

прямым вырезом, которое скорее всего было ночной рубашкой. Значит, она уже легла — и раздумывала, что предпринять и стоит ли что-нибудь предпринимать, — и, наконец, встала, сунула ноги в валенки и накинула пальтецо и платок, так что соседи могли подумать, что она вышла по нужде. Похоже, все спали. Она побежала, скрипя маленькими валенками, по снежной тропе к домику на отшибе и, озябшая, на обратном пути остановилась возле первого крыльца, думая о письме и о том, что все это ни к чему, и не зная, что она скажет. Она поскреблась в дверь, там что-то ответили. Она вошла. Было полутемно, стол освещен коптилкой. Она вошла — в блеске и красоте своих девятнадцати лет, пунцовая, нелепо улыбаясь, «а вы еще не спите?» — пролепетала она, как будто это могло служить извинением за поздний визит. Ответа не последовало, ошеломленные глаза уставились на нее. «Нюра?» — сказал он наконец. Она села, сжимая на шее воротничок пальто из дешевого меха. Не найдется ли чего-нибудь почитать?

В школе, сказала она, ее всегда называли Аней, и в училище Аней, только здесь кто-то придумал. Нюра и Нюра, так и пошло. «Но это красивое имя», — возразил мальчик. «Чего ж в нем красивого». — «Хорошо, — сказал он, — так я и буду вас называть».

«Аня», — сказал он.

«А вы все не спите. Глаза портите».

Он пожал плечами.

«Все учитеесь, так поздно».

В ее словах почудился какой-то ласковый упрек — или она их произнесла, чтобы что-нибудь сказать? Все учитеесь. Она хотела сказать, делаете уроки. А может быть, имела в виду другое: тетрадь, лежавшую перед ним, из нее, из этой тетрадки был вырван двойной лист для письма, которое неотступно стояло между ними, связало и вместе с тем разделило их; о котором ни слова, неизвестно даже, получила ли она это письмо.

«Да нет,— пробормотал он, — какие уроки».

Еще не легли, все сидите, что-то в этом роде пролепетала она, не эти слова, так другие, надо же было что-то сказать. Но фраза имела мысленное продолжение, ясно было, что она пришла неспроста, никто на свете не усомнился бы в том, что

она пришла не случайно. Но мальчик не смел этому поверить. Значит, ты точно так же сидел три дня тому назад, вот что означала эта фраза, сидел и писал... а знаешь ли, что я его действительно подучила? Капли инея блестели на ее волосах. Мельком взглянув в окно, она отвела со лба выбившуюся прядь, — на среднем пальце левой руки она носила оловянное колечко,— ее глаза скользнули по столу, по раскрытой тетрадке.

«Да нет, какие уроки».

«Что же вы пишете?»

«Что я пишу? Дневник», — сказал он отважно.

Она обрадовалась этой возможности говорить о чем-нибудь, в конце концов можно было повернуть дело и так, что никакого письма не было, и в то же время держаться близкой темы; и что же это, спросила она, демонстрируя несколько преувеличенное любопытство, что это за дневник?

Мальчик ответил, что он записывает события своей жизни и все, что он думает о людях.

Она поправила пальто на плечах, уселась удобней на табуретке, отвела прядь волос, разговор, напоминавший осторожное продвижение по минному полю, как будто принял более естественный характер, письмо заняло свое место в распорядке вещей, и показалось даже нормальным, что оба помалкивают о нем. И, укрепившись на занятых позициях, она расхрабрилась до того, что задала следующий вопрос, но сейчас же почувствовалось, что они снова приблизились к mine, зарытой в землю: «А мне?» — спросила она, кладя локти на стол и слегка наклонясь, отчего ее груди слегка поднялись из выреза рубашки; конечно, это был непроизвольный жест. «А мне — можно почитать?» Ее тень простерлась по дощатому полу, достигла кровати. Но тотчас же она изменила позу, откинулась, подперла щеку ладонью, другой рукой, с колечком, на пальце, сомкнула пальто на груди, подняла на подростка глаза, серый жемчуг, приготовилась выслушать, что он там написал.

Нюра Привалова никогда не получала любовных писем. За свою жизнь она сменила пять пар туфель и прочла десять книг. Река была главным средством сообщения между городком, где она родилась, и остальным миром, и лишь два или три раза в жизни ей пришлось ездить по железной дороге.

Как вое ее сверстницы, она была одержима мыслью, что ее время, время любви, проходит. Как многие девушки ее поколения и социальной среды, она видела жизнь без прикрас, хотя могла бы показаться ребенком девицам ее возраста, которые будут жить спустя полвека. Нюра Привалова еще не получала таких посланий. (Можно предположить, что оно было не только первым, но и последним в ее жизни). То, что она прочла там, перечитывала дома и на дежурстве, разбередило ее воображение, как только может разбередить воображение литература. Письмо, словно горячий шепот, звучало в ее ушах. Письмо было от ребенка, и не стоило принимать его всерьез. Письмо было от мужчины. Письмо возвестило ей голосом чревоушателя о том, что она могла бы сказать и сама, если бы умела найти такие слова, о сладостно-стыдном, сокровенно-откровенном; что-то ворвалось в ее жизнь, как порыв ветра в хлопнувшую дверь, вознесло ее над самой собою, исторгло из монотонного быта, — и вот, она постучалась в комнатку. Она пришла. Зачем? Всякое обожание льстит, и Нюре по крайней мере хотелось взглянуть поближе на того, кто прислал ей такое письмо. Значит, она пришла, чтобы поговорить о письме? Но оказалось, что дразнящая тайна, о которой знают оба, становится еще увлекательней, когда о ней умалчивают. Вместе с тем почувствовалось, что произнесенные слова мешают продолжению; слова служат смазкой, которая застывает, если механизм стоит на месте. Она ждала, что он заговорит первым. Оба, мальчик и женщина, словно не понимали, что уголь, пышущий жаром, подернется золой, если его не раздувать.

Она была медицинской сестрой и хорошо знала, что человек состоит из кожи, костей, мышц и желез, и что мужики хотят от баб всегда одного и того же; знал ли об этом автор письма? Довольно странный вопрос, но приходится его задать. Мальчику нужно было родиться в век Маймонида и Святого Фомы. Обреченный вечно сидению перед лампадой, он унаследовал от своих неведомых пращуров культ молчаливого слова, он перенял их надменную застенчивость, их близорукость, размывающую контуры женских лиц. И у него было только одно преимущество, если это можно считать преимуществом: за вычетом двух-трех человек он был единственным мужчиной в больничном поселке.

Он спросил, глядя на ее руку: из какого это металла? «Это дешевое кольцо», — сказала Нюра, или Аня, все-таки он не мог привыкнуть к этому имени, — и с усилием стянула колечко с пальца. У нее были крупные крестьянские руки с короткими пальцами. Мальчик разглядывал кольцо, на внутренней поверхности была вырезана надпись: ее имя. Он думал о том, что держит в руке кольцо, которое она всегда, днем и ночью, носит на пальце. Был такой случай, он разглядывал в комнатке дежурного врача огромную книгу в картонном переплете — и вспомнил о нем по нелепой, стыдной ассоциации. Это была подшивка газеты «Врач». Тонкие глянцевые страницы, дореволюционная орфография, розничная цена, условия подписки, ученые статьи, хроника, смесь, — он листал дальше, — случай из практики: восьмилетний пациент надел себе кольцо из любопытства или озорства. Доставлен с сильными болями из-за отека головки члена. Фотография: колечко, распиленное на две половинки.

«Почитайте, — сказала Нюра, беря у него кольцо двумя пальцами, стараясь не коснуться его ладони, — что вы там написали. — Он помотал головой. — Отчего же? Это секрет?»

«Там написано о вас».

«Вот и прочитайте».

Он молчал.

«Значит, вы написали обо мне плохое». «Нет, — сказал он, — наоборот».

Она насунула колечко на средний палец левой руки, помогая себе винтообразными движениями пальца, это был удобный повод опустить глаза. У нее были довольно толстые, сужающиеся к концам пальцы, пухлый, с ямочками тыл ладони.

«Ну, тогда я сама прочту, можно?»

Подросток покачивал головой, глядя на огонек коптилки, и, конечно, спустя много лет не мог вспомнить, о чем, собственно, были эти страницы. Конечно, о том же, так что в сущности ничего нового для нее там не было, но именно это ей хотелось прочесть. Тетрадка, сгинувшая вместе со всеми его сочинениями, серо-голубая обложка с большой римской цифрой, четвертый или пятый том дневника, стоит перед глазами, словно еще вчера он сидел над нею перед голодным огоньком; его почерк, говоривший об авторе больше, чем он

мог написать о себе, даты, беззвучный грохот войны, которая шла уже на Волге. Ни за что на свете подросток не показал бы тетрадку никому, слишком велики были его авторская стыдливость и авторское самолюбие, но тут перед ним был совершенно особый читатель.

«Дайте, — сказала Нюра, угадав его мысль, — я сама прочту...»

Он закрыл дневник. В этом жесте было что-то от целомудренной барышни, почти готовой отжаться. Он захлопнул тетрадь, как сжимают копенки. Они поменялись ролями, теперь она наступала, деликатно и осторожно; дуновение чувственности, овевшее обоих, пронеслось мимо; она поправила пальто на плечах; ей хотелось услышать то, что было в письме.

«Значит, вы написали обо мне неправду. Раз не хотите дать почитать».

«Нет, — возразил он. — Это правда».

«Вдруг ваша мама узнает».

«Что узнает?»

«Что я у вас так поздно сижу».

Внезапно заколотилось сердце от этой фразы. От признания, что она пришла не случайно, что об их свидании никто не должен знать, от того, что их связала тайна. И, может быть, пришла не от скуки или не совсем от скуки, не из любопытства или не только из любопытства. Додумать до конца эту мысль возможно было лишь спустя годы. Мальчик не догадывался, что в этот вечер он одержал победу как писатель.

Встает вопрос, чего он, в свою очередь, «добивался».

Да, собственно, ничего.

Нельзя сказать, чтобы он был чужд тайных и, как считалось в то время, постыдных помыслов и желаний, но право же, ни в каком другом возрасте расстояние между идеальной и плотской любовью не бывает так велико, ничьи целомудренные вздыхания не могут сравниться с упоительным ханжеством подростка. Это была любовь, которая кормилась взглядами исподтишка, видением живой, реальной женщины, цвела и томилась, как тепличное растение, в лучах ее физической красоты и в то же время отворачивалась от нее, не искала свиданий и могла бы сказать себе, ах, все это неваж-

но, я буду любить даже если ее краса несовершенно, даже если возлюбленная глупа и вульгарна, любить в ней то, о чем она сама не подозревает, любить ради того, чтобы любить. Поистине кажется удивительным, в перспективе лет - невероятным, что эта любовь могла возвыситься до того, что ее «предмет» - женщина в ее живой реальности - становился уже чем-то несущественным.

Он употребил несколько смелых выражений, навеянных чтением книг, и легко предположить, что в особенности они, эти выражения, взволновали Нюру, усмотревшую в них неприкрытое желание. Она не могла представить себе, что письмо - как и писательство - может стать чем-то самоценным и самодостаточным, чуть ли не самоцелью. Объяснение в любви уже было в некотором смысле осуществлением любви. Потому что все, что хотел автор, это «сказать» ей. Она должна была знать, вот и все, знать, что ее походка (что в ней особенного?), манера откидывать руку в сторону (так делали тысячи девушек), ее выпуклые серо-жемчужные глаза, пухлые губы, хрипловатый голос и самый звук ее имени - род наваждения, которое не побуждает ни к каким тактическим замыслам. Это была любовь рыцаря Тогенбурга. Женщина была польщена. С этой любовью, однако, нечего было делать.

Как всякая в ее положении, она ожидала дальнейших действий, не особенно задумываясь, чем и как на них пришлось бы ответить. Сказать себе: глупости, не хватало еще связаться с младенцем, - или сделать встречный шаг, впрочем, еле заметный, поддаться неопределенному соблазну, сказать себе, какой же он малолетка, коли пишет такие письма. Если она пришла ночью, по собственному почину, то этим и ограничивалась ее инициатива: перейти по-настоящему в контр-наступление она была неспособна, для этого она была слишком связана репрессивной моралью своего времени и круга; слишком скована, чтобы просто подумать, а не переспать ли с ним. Отсутствовало ли слово «спать» в лексиконе ее ровесниц? Мы в этом не уверены. Между тем Нюра была девственницей. Она чувствовала, что с ней и ведут себя как с девственницей, хоть и не отдают себе в этом отчета, и что робость мальчика должна соответствовать ее стыдливости. Довольно было уже и того, что она отважно постучалась к нему, выб-

рав время, когда мать подростка дежурила в отделении (впрочем, мать подростка дежурила часто, через ночь); довольно было того, что, увлеченная бессмысленным спотыкающимся разговором, забывшись, — мы охотно допускаем, что это произошло непроизвольно, — она склонилась над столом и ее груди, теснясь под рубашкой, поднялись и выступили из выреза. Нюре показалось, что глаза подростка скользнули по ним, это был опасный момент. Она мгновенно выпрямилась, убрала руки со стола и подтянула пальто. Итак, можно сказать, что главным чувством, которое руководило обоими, было чувство отваги. Скучный быт районной больницы, река, похожая на вечность, метели и оттепели — все сместилось и отступило перед этим событием, и обоим, каждому на свой лад, показалось: их ожидает что-то неизведанное, восхитительно-роковое; обоих соединила высокая тайна и отгородила от окружающих, ветер судьбы приподнял их, может быть, для того, чтобы больно шмякнуть об землю. По неписанным правилам игры, уже учредившей над ними свои права, женщина должна была делать вид, что выходит из дому вовсе не ради того, чтобы встретиться, бежала по снежной тропке от крыльца к домику на отшибе, за конюшней, подросток стоял на крыльце, она возвращалась, медленно шла, опустив голову, кутаясь в короткое ватное пальто, над головой у нее горели Стожары, ее лицо казалось черным в ртутном сиянии звезд, и волосы окружал, точно нимб, серебряный иней. Она озиралась. В полутемных сенях стояли друг перед другом, дрожа от холода, неподвижные, с окоченевшими ногами, печальные, словно брат и сестра, которых ждет тысячеверстная разлука, не зная, что сказать друг другу, и когда, наконец, удавалось преодолеть немоту, по-прежнему говорили друг другу вы.

Но сны, проклятье, насылаемое богами! Такая гипотеза хотя бы снимает со спящего ответственность за все постыдное, что является воображению. Боги вознаградили подростка за его робость, другими словами, мстили ему за его целомудрие. О снах можно сказать, что не мы их видим, но они взирают на нас из каких-то уже не принадлежащих нам низин. Сны не то чтобы демонтировали хрустальный дворец, но как будто водили вокруг него, чтобы впустить во дворец с черного хода, — и что же там оказалось? Сон приснился с

такой достоверностью, какая не бывает наяву. Они были совершенно одни, это было решающее свидание, кругом тишь и тьма. Где-то в лесу было это и в то же время в темных сенях, и мальчик силился что-то сказать, но то ли не мог выговорить ни слова, то ли она не слушала, повернувшись спиной, что-то делала там, он видел ее шевелящиеся локти, плечи, склоненный затылок, пока, наконец, не понял, что она снимает с пальца оловянное кольцо. Он понимает, что в этом тесном кольце есть намек на глубокий тайник ее тела, что оно и есть этот тайник, и все его мысли устремлены к нему, можно все совершить здесь же, в темных сенях, и Нюра совсем уже как будто согласна, но за спиной у нее стоит тень, кто-то застучал их, тень Ченцова закрыла звезды в дверном проеме. Мучительный сон! Вновь потеплело, с утра хлестала мокрая метель, подросток пришел в село, весь облепленный снегом. Сидя на скучном уроке, он все еще вспоминал случившееся ночью, свидание и обманную близость, и, стыдясь самого себя, не мог отделаться от сожаления о том, что сон, неожиданно прервавшись, оказался всего лишь сном.

«Тебе кто разрешил сюда ходить?» Больной Ченцов, ставший местной знаменитостью после того, как однажды утром он исчез из отделения, сидел с папироской на табуретке, греясь на жидком солнышке. Подросток вышел на крыльцо, держа на ладони завернутую в бумагу селедочную голову, лакомство, которое мать добывала для него на больничной кухне. Подросток смотрел на человека с проплешинами, точно его бесцветные волосы были трачены молью, с неестественно высоким лбом и блестящими серебряными глазами; Ченцов был бледен, худ, одет в старую пижаму из больничной байки и байковые штаны, тощая нога закинута за ногу, на голой ступне болталась туфля-полуботинок с незавязанными шнурками. «У меня есть предложение, — промолвил он, щурясь от дыма, — даже два. Первое. Давай с тобой переведем заново всего Гейне».

Его хватились во время завтрака, как на зло в ту ночь дежурила лучшая сестра, строгая и чернобровая Маруся Мухаметдинова, ей и пришлось отвечать. Маруся уже раздала градусники, когда пришла сменщица, но для ходячих больных измерение температуры, в сущности, было формальностью;

при сдаче термометров по счету одного не хватило, пропал и сам Ченцов, спустя полтора часа он не появлялся, его не было на территории больницы; кладовщица, ехавшая со своей фурией из села, не встретила никого. Случайно подвернулся парнишка из деревни Онучино, в пяти верстах от больницы, если идти в противоположную сторону. Все русские деревни были расположены вдоль по берегу, потому что казаки плыли когда-то на своих ладьях вверх по реке и оттесняли местное население вглубь страны, так объясняла учительница. Малец из Онучина сообщил, что какой-то человек стоял на дороге с часами в руках. Он показал ему эти часы, они были с одной стрелкой; не часы, а компас.

Ченцова нашли, его согбенная фигура виднелась у кромки берега, — река уже потемнела, лед покрылся водой. Ченцов сидел на вмерзшей в ноздреватый снег коряге, весь посиневший от холода, в глубокой задумчивости, с термометром подмышкой, он даже не заметил приближавшихся санитарок и до смерти перепуганную Марусю. Без сопротивления дал себя отвести в больницу. На другой день он во второй раз напугал Марусю Мухаметдинову, явившись поздно вечером к ней домой, с букетиком, чтобы сделать ей, по его словам, предложение, даже два. Первое было предложение руки, к которому Маруся отнеслась очень серьезно, опустив глаза, поблагодарила, но сказала, что у нее есть жених и она выйдет за него, когда он вернется с фронта; что касается второго, то оно автоматически отпадало после того, как было отвергнуто первое: Ченцов предлагал ехать вместе с ним в Москву.

Было холодно, стояли хрустальные лунные ночи, лед только еще собирался двинуться далеко в низовьях; что-то происходило по ночам, трещали сучья, кричала загадочная птица, — и вот однажды утром блеснули трубы, громыхнули литавры, грянул небесный оркестр. Дорога поднялась над осевшим, поседевшим снежным полем, с голодным верещаньем между грязножелтыми колеями неслись, трясая тощими задами, криво ставя короткие ножки с копытцами, плоские, почерневшие за зиму свиньи. Подросток швырял в них комьями мерзлого снега и всю дорогу от дома до школы горланил песни. Он сорвал с головы шапку и крутил ее над собой за веревочку для

подвязывания под подбородком. Весна, весна! Пахучий воздух свободы, праздник избавления от изнурительной любви. *Царевич я. Довольно, стыдно мне пред гордою полячкой унижаться.*

«А второе?»

Ченцов не понял.

«Второе какое предложение?» - спросил подросток.

Больной задумался, засопел, уставился на окурки и швырнул его в сторону.

«Второе, угу... Хотите знать? - медленно, перейдя на вы, проговорил он. - Я вам доверяю. Хотя, возможно, это несколько преждевременный разговор».

Он поманил пальцем подростка и продолжал вполголоса: «Надо дождаться, когда установится дорога».

«Дорога?» - спросил мальчик.

«А также судходство. Неужели вам здесь не надоело?»

«Где?»

«Здесь. В этой дыре».

Мальчик сказал, что нужен вызов.

«Э, чепуха; можно без вызова; когда еще вызов придет... А кто вас, собственно, должен вызвать?» - спросил Ченцов.

«Папа».

«Он в Москве?»

«Он на фронте».

«Ваша мама получает от него письма?»

Подросток был вынужден признать, что писем пока еще нет. Собственно, письма не приходят с тех пор, как они уехали. Ченцов задумчиво поддакивал, кивал головой.

«Он в особых войсках», - объяснил подросток.

«Гм, это, конечно, убедительное объяснение... а вы уверены, что он...? Я хочу сказать, вы уверены, что он жив?»

«Оттуда нельзя писать письма».

«Угу. Да, конечно. Конечно, ты прав. Ну что ж: будет даже лучше. Отец вернется, а ты уже в Москве!»

Подросток сошел с крыльца. Ченцов снова поманил его желтым от курева пальцем.

«Это пока еще сугубо предварительный разговор. И - сугубо конфиденциальный. Ты меня понимаешь?»

Подросток кивнул.

«Лучше всего сесть на какой-нибудь другой пристани. Например, в Сарапуле. У меня есть сведения, что там не проверяют... Главное, сесть на пароход, в крайнем случае можно уговорить, чтобы нас взяли на баржу. А там прямой путь до Москвы. Как у тебя с документами? Паспорта у тебя, разумеется, нет, это еще лучше».

Подросток колебался. Вообще-то, заметил он, у него был другой план.

«Можешь мне открыться».

Подросток все еще молчал.

«Я нем, как могила», — сказал Ченцов.

Мальчик спросил, слышал ли он когда-нибудь об Иностранном легионе.

«О! Легион? Еще бы. Но ведь, э...»

«Ну и что, — возразил мальчик. — Иностраный легион на стороне де Голля. Он воюет против Гитлера».

«Я думаю, — промолвил Ченцов, поглядывая по сторонам, — нам надо найти место поудобней... — Разговор продолжался вечером, они обошли с задней стороны инфекционный барак. — Как вы понимаете, дело не подлежит оглашению».

Поднялись на крыльцо регистратуры.

«Надеюсь, вы не поставили в известность вашу матушку. Женщин вообще не следует ставить в известность. Должен вам признаться, — продолжал он, — что я и сам когда-то подумывал. Да, подумывал, не завербоваться ли мне в Иностраный легион. Я был молод и здоров. Белый фартук, красные эполеты, все такое... Но, знаете ли, с нашими порядками... Послушайте. Я вновь и вновь убеждаюсь, что лучшие идеи всегда приходят внезапно. Их не нужно изобретать. Это то, что роднит поэтов и ученых. Как я рад, что нашел в вашем лице родственную душу. А теперь представьте себе: через каких-нибудь две недели, может быть, через десять дней. Мы с вами шагаем по торцам московских площадей. Любуемся зубцами Кремля, колокольней Ивана Великого, дышим этим неповторимым воздухом... Ах, друг мой! Вы не представляете себе, что значит само это слово, этот звук: Москва! В Москве я человек. А здесь?..».

«Вы тут, кажется, с самого начала войны? Или нет: вы говорили мне, что эвакуировались в июле. После речи Стали-

на... Не беспокойтесь, — говорил он, впуская подростка в комнату с двумя стульями, казенным письменным столом, канцелярским шкафом и фикусом, — здесь нас никто не потревожит. Смотрите только, никому не проговоритесь. Я здесь работаю по вечерам. Зюечка мне разрешает. Чудная девушка, прекрасный человек».

«Тяжело, знаете, все время в палате, хочется побыть наедине с самим собой... Я хотел вам рассказать, как я покинул Москву. Вернее, как меня заставили уехать, они всех заставляли; просьбы, мольбы — ничего не помогло; я, разумеется, сопротивлялся; какие-то два мужика, огромного роста, якобы санитары, втащили в вагон, представляете себе, в товарную теплушку, битком набитую! Тут же больные, дети, женщины, у кого-то начались роды... Но вы, наверное, с мамой тоже ехали в теплушке... Самый страшный день моей жизни. Я ничего не видел, ничего не слышал, я только смотрел глазами, полными слез, на этот дорогой город, на эти башни. Ярославский вокзал или, кажется, Савеловский, не помню... Ничего не помню! Крики, плач, все смешалось. Люди давят друг друга, толпа осаждает поезда, пассажирские, товарные) все равно какие, вы этого еще не застали, оказывается, немцы подошли к Москве. Уже в Химках, уже... не знаю, может быть, уже едут по городу».

«Вот, — сказал он торжественно. — Здесь все записано. Для будущих поколений. *А между тем отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет! Угадайте-ка, откуда это?»*

Подросток пожал плечами. «Борис Годунов», — сказал он.

«Правильно! Нет, нет, не подумайте, что я что-нибудь такое... Какие-нибудь там выпады, клевета на нашу действительность, никоим образом, я лояльный советский гражданин. Я русский патриот! — грозно сказал Ченцов. — И я сторонник нашего строя. Ну, может быть, там, с некоторыми оговорками, это уже другой вопрос...»

Он гладил ладонью бухгалтерскую книгу, разворачивал, разглаживал страницы, засеянные причудливым стрелчатый почерком с широкими промежутками между словами, — при знак, на который, несомненно, обратил бы внимание графолог. Он захлопнул книгу, и двойной язычок огня взметнулся в колбе, повеваая черной кисточкой копоти, которая уже оставила полосу на стекле; да, на столе сияла высокая лампа,

роскошь тех лет, предусмотрительно заправленная регистраторшей Зоей Сибгатуллиной. Ченцов слегка прикрутил фитиль.

«Задача этих заметок, этой *Historia arcana, arcanissima*,* — увы, мой друг, латынь из моды вышла ныне, — представить человеческую жизнь на фоне всеобщей жизни. На фоне нашей эпохи. Нашей великой и, знаете, что я вам скажу, чудовищной эпохи... Все этажи человеческого существования, от мнимого, навязанного, иллюзорного — до подлинного. Поэтому здесь очень большое внимание уделено моей внутренней жизни. Когда-нибудь я познакомлю вас с избранными отрывками, но полностью прочесть можно будет только после моей смерти. Что значит подлинное существование? Мой юный друг... Меня назовут сумасшедшим, пусть. Я не возражаю. Я вам скажу вот что... Мало кто отдает себе отчет. Мало кто осмеливается! Мы живем не в одном времени, вот в чем дело. Если по-настоящему, философски взглянуть на вещи, то мы существуем не в одном, а сразу в трех временах».

Подросток думал о легионе. Он писал в дневнике об Иностранном легионе. Подросток чуть не проговорился, что он тоже ведет дневник. Он думал о том, что за стеной находится инфекционное отделение и там дежурит Нюра. Теперь, когда он выздоровел от любви, — *царевич я*, — он мог бы равнодушно и высокомерно, с легким сердцем, сообщить ей кое-что под большим секретом; по правде говоря, ему не просто-таки не терпелось намекнуть ей на это при первом удобном случае; он представлял себе, как он встретит ее где-нибудь на дороге и скажет. Ее ошеломление и восхищение. Его спохватятся, возникнет подозрение, что он покончил с собой. И только она будет знать, куда он исчез, но он взял с нее слово, что она не проговорится.

Больной устремил на мальчика тоскливый вопрошающий взор, словно потерял нить мыслей.

«Мы живем в трех временах. Я не говорю о временах грамматики, настоящее, прошедшее, будущее, в других языках целая куча, не об этом речь... Мы живем в историческом времени, это во-первых. Мы — народ, мы — нация, мы — общество, нам всем твердят, что мы живем в истории, что это будто бы самая важная, единственно важная жизнь. Так сказать, единственное оправдание нашей жизни, ради него мы только

*Тайная, секретнейшая история (лат.)

и существуем. Это вертикальное время. От царя Гороха и до... ну, словом, вы меня понимаете. Но с другой стороны, хочешь не хочешь, каждому приходится жить обыкновенной жизнью, какая ему выпала на долю, в скучной повседневности, в тусклом быту. Это уже будет горизонтальное время, ползучее время рептилий. Получается, знаете ли, такой чертеж... Все равно как битюги идут по мостовой, тащут возы, а воробьи клюют навоз между колесами. Битюги - это история, а воробьи - мы с вами. И те, и другие вроде бы делают общее дело. А между тем что у них общего?.. Так и оба времени, историческое и бытовое, очень плохо согласуются между собой, а вернее, отрицают друг друга. Попробуйте-ка связать то, о чем вам рассказывают на уроке истории, с жизнью, которая происходит за окнами; вот то-то же».

«По-настоящему, если хотите знать, мы не живем ни в том, ни в другом времени. Потому что это мнимая жизнь. Приходит день, иногда для этого нужно прожить всю жизнь... так вот, приходит день. И до сознания доходит иллюзия и труха коллективного существования, да, иллюзия и труха... И начинаешь понимать, что ты жил в царстве ложного времени. Суета повседневности, воробьиное чириканье - с одной стороны, И зловецкий фантом истории - с другой. Жуткая игра теней... Все это тебе навязано. Ты потерял себя, свою бессмертную душу... Я вам скажу... Я тебе скажу. Я открою страшную тайну. Рутинка - это, конечно, враг человека. Но не самый главный. Быт - враг человека, но не самый ужасный. Самый ужасный враг - это история. Или ты человек и живешь человеческой жизнью, или ты живешь в истории, в пещере этого монстра, и тогда ты - червь, ты - кукла. Тебя просто нет! Этот Минотавр пожирает всех! Я вам вот что скажу. Мой друг...»

И он раскашлялся.

«Мой юный друг, - хрипел Ченцов. - Настоящее, подлинное время - на чертеже его нет. Это время нелинейное, внутреннее время, не подвластное хронологии, для него не может быть никаких чертежей. И ты всегда в нем жил, с тех пор как Бог вложил в тебя живую душу, только ты не отдавал себе в этом отчета. И поэтому как бы не жил! Время, которое принадлежит тебе одному, только тебе, вот, вот оно здесь, - он стучал пальцем по бухгалтерской книге, - истинное, непре-

ложное, в котором самые тонкие движения души важнее мировых событий, в котором память — это тоже действительность и сон — действительность, в которой, если уж на то пошло, только и живешь настоящей жизнью...»

Он перевел дух. «Мы увлеклись, пора заняться делом. Где у вас эта... ну, эта... Живо, время не ждет».

Лампа опять коптила. Ченцов сказал, что он обещал вернуться в отделение не позже одиннадцати. «Они, знаете ли, за мной следят, они думают, что могут меня удержать, ха-ха... но сейчас надо быть особенно осторожным... не возбуждать подозрений. Сейчас я вам покажу, как это делается; пустяк; ловкость рук, никто даже не заметит».

«Сейчас мы это быстренько... комар... — напевал он, — носа не подточит... Что такое бумажка? Фикция, формальность. Бумажка не может управлять судьбой человека. От какой-то ничтожной пометки, от закорючки, от того, что кто-то когда-то написал одну цифру вместо другой, зависит вся жизнь... От этой идиотской цифры зависит, зачахнет ли смелый, талантливый молодой человек в туши, в мешчанском болоте, или перед ним откроется дорога в столицу! Ну что ж, коли мы живем в таком мире... можно найти выход. Нет таких крепостей, хе-хе, которых не могут взять большевики, как сказал товарищ Сталин. Подумаешь, важное дело. Был малолеткой, теперь станет взрослым. Дайте-ка мне... Отлично; теперь затащим в стол; тут у Зоеньки должна быть, во-первых, бритвочка...»

Прежде всего, сказал он, задвигая ящик, следует оценить качество и сорт бумаги. От этого зависит дальнейшая тактика.

«Тэк-с, чернила обыкновенные, это упрощает задачу. — Он разглядывал потрепанное, износившееся на сгибах метрическое свидетельство. — Бумага, конечно, не ахти. Из древесины, разумеется. Слава Богу, в нашей стране лесов достаточно... Плохая бумага обладает двумя отрицательными свойствами. Во-первых, она рыхлая и легко впитывает в себя чернила. А во-вторых... Ну, не в этом суть. Надо иметь практику, сноровку, это главное... Теперь бланки уже не изготавливаются на такой бумаге, теперь бумага для документов ввозится из-за границы, это я могу вам по секрету сказать, особо плотная, что, между прочим, облегчает подобные процедуры... Вообще должен вам доложить, что поправки в докумен-

тах не такая уж редкость, можно сказать, обычное дело, просто вы с этим еще не сталкивались. Когда-нибудь, — рассуждал Ченцов, держа в одной руке резинку для стирания, в другой безопасную бритву, которую регистраторша употребляла для очинки карандашей, — когда-нибудь, через много лет, когда вы будете знаменитым писателем, а я — глубоким стариком, мы с вами где-нибудь, за стаканом, знаете ли, хорошего вина, далеко отсюда! Будем вспоминать, как мы сидели при керосиновой лампе, как по стенам металась наша тень, а кругом на тысячи верст расстилалась бесконечная ночь, и в вышине над темной рекой трубила неслышанная весна, и мы читали стихи... *Трубят голубые гусары.. В этой жизни, слишком темной...* Гейне. Да... И я говорил вам, — не забывайте об этом никогда, — я предсказывал, что у вас впереди блестящее будущее. Вы будете философом, врачом, ученым. Кто знает... Или великим писателем, почему бы и нет? А теперь за дело».

Больной крякнул, отложил свои орудия, потер ладони и на минуту задумался. После чего схватил бритву и начал царапать уголком по бумаге. Отложил бритву и принялся тереть по царапанному резинкой. Снова взялся за бритву, процедура была повторена несколько раз, под конец мастер загладил место, где стоял год рождения, желтым ногтем.

«Тэк-с, — промолвил он. — Аусгецайхнет. Угадайте, что это значит?»

«Отлично».

«Правильно! Далеко пойдете, молодой человек. Итак... один росчерк пера, всесильного пера! И — позвольте поздравить вас с совершеннолетием».

Ченцов занес перо над метрическим свидетельством и остановился.

«М-да».

Он отложил перо, подпер подбородок ладонью.

«Я же говорил вам: отвратительная бумага. Во-первых, рыхлая... Они просто не умеют изготавливать настоящую бумагу».

Оба рассматривали документ, на обороте отчетливо была видна дырка.

«Дорогой мой, — промолвил Ченцов, — я думаю, что теперь нам ничего не остается, как выкинуть метрику. Лучше уж никакой, чем такая...»

«А как же...» — спросил подросток.

«Что? Очень просто. Когда придет время получать паспорт, нужно объяснить, что метрика пропала... «ну, скажем, во время поспешной эвакуации. Ничего не поделаешь, военное время».

«Я не об этом, — сказал мальчик. — Как же мы теперь поедим?!»

«Ничего, ничего, обойдемся, — бодро сказал Ченцов. — Ах, друг мой...» — шептал он, глядя не на собеседника, но как будто сквозь него; и почти невыносим был этот сухой, опасный блеск глаз, похожий на блеск слюды. В палате было сумрачно, на койках лежали, укрытые до подбородка, безликие люди, от всего, от белья, от тумбочек между кроватями, от тощего, подпертого подушками Ченцова исходил тяжелый запах. А снаружи был ослепительно яркий, голубой, звенящий птицами день, было уже почти лето, был май.

Значит, думал подросток много лет спустя, когда он уже не был подростком, значит, должно было пройти еще около двух месяцев. Повествование — враг памяти. Оно вытягивает ее в нить, словно распускает вязку, и смотрите-ка, дивный узор исчезает.

«Друг мой. Только вы меня понимаете».

Больной повернул лицо в подушках — серые губы, небритые щеки, острый нос, остро-бесцветные таза. В дверях дежурная сестра. Пора уходить. Мальчик был рад ее появлению.

«Еще пять минут, — прошелестел больной, — Марусенька... Что я хотел сказать. Мне надо немного окрепнуть». Обострение пройдет. И мы с вами... о, мы с вами! — Он покосился на соседей. — Они не слышат».

Поманил подростка пальцем.

«Я придумал другой выход, никаких справок вообще не нужно... Это хорошо, что ваша матушка ничего не заметила, лучше ее не волновать... Мне нужно многое вам сказать, многое записать, чтобы не пропало. Я буду вам диктовать... Мою *Histona arcana*... У меня столько важных идей!»

«Друг мой единственный, ведь от этого я и болен. Оттого, что не могу больше здесь жить. Если бы я вернулся в Москву, все слетело бы мгновенно. Я был бы здоров, уверяю вас! Человек — непредсказуемое существо. Он может болеть такой

болезнью, о которой медицина слыхом не слыхала. Это не абсцесс легкого. Это абсцесс души. Исцелить его может только московский воздух. Пройтись по этим тротуарам... От одной мысли можно с ума сойти».

Подросток брел по коридору, в палате кашлял Ченцов, шелестел в ушах вечный голос, уже сколько лет он шепчет» говорит без умолку о том, что скоро кончится война и начнется новая, невообразимо прекрасная жизнь, не довоенная, нет, это только сейчас довоенная жизнь кажется идиллией, но об этом не будем, не надо об этом... Друг мой, мы еще будем с вами вспоминать. Далеко отсюда, за стаканом хорошего вина. Будем вспоминать о том, как мы...

Скоро! Скоро! Никто не знает в точности, где идут бои. Но враг отступает. В такой же лучезарный день они сядут на теплоход. И ведь так и случилось, вернее, почти так или не совсем так; пожалуй, даже совсем не так; но не будем сейчас об этом. Это — будущее, ставшее прошлым. В такой же майский, звенящий, сияющий день они проедут вниз по великой реке мимо далеких берегов, еле видных деревень и дебаркадеров, мимо низких белых стен татарского кремля, мимо башни царицы Сумбеки, которая бросилась вниз головой, чтобы не попасть в полон к русским. И дальше, дальше, до канала, до шлюзов, до Химкинского речного вокзала, и отец, веселый, в распахнутом пальто, встретит их в порту. Он жив, он вернулся целым и невредимым. «А я уж хотела идти за тобой», — сказала Маруся Гизатуллина, маленькая, темноглазая и белолицая, как Сумбека, ей бы еще расшитую золотом шапочку с покрывалом и алые шаровары. «Нельзя так долго сидеть, — говорила она, шагая по коридору, — ему вредно». — «Он поправится?» — спросил подросток. Она направилась в дежурную комнату. Выйдя, она сказала: «А, ты все еще здесь. Ему пора укол делать. Подожди меня».

«Что ж, ты разве не заметил, — сказала Маруся, когда они вместе вошли в дежурную комнату. — Это же такая палата».

Он спросил:

«У него есть родные?»

«У него никого нет. И местожительства нет никакого, иначе давно бы выписали. Чего держать умирающего. А ты, я вижу, здорово вырос за это время!» — сказала она.

Там, где лыжи проваливались в снег, где цепенели леса, бесшумно падали белые хлопья с отягощенных ветвей и время от времени что-то потрескивало, постанывало вдалеке, на холмах, откуда неведомый смельчак скатился, оставив на крутизне двойной вертикальный след,— там теперь все заросло кустарником, там плещут папоротники, ноги топчут костянику, заячью капусту, лес уводит все дальше, посреди поляны стоит пожарная вышка, четыре столба наподобие пирамиды, с березовой лесенкой и площадкой на верхотуре. Оттуда не видно уже ни берега, ни больницы, сплошная чаща, голубоватые верхушки, волнистые дали, и все постепенно теряется в сизо-лиловой дымке. Там начиналась Удмуртия, где обитали древние меднолицые люди в лисьих шапках, где, может быть, еще длился век Грозного и Ермака.

«А-у!» Выкрикали его имя. Звук повторился совсем близко. Подросток вышел к малиннику. «Мы уж думали, тебя волки утащили», — смеясь, сказала Маруся Гизатуллина. «Здесь волков нет», — возразил он. «А в позапрошлом лето, тебя тогда еще не было, — помнишь, Нюра?»

Это звучало так, словно его считали младенцем. Так говорят ты еще пешком под стол ходил.

«Такой волчище стоял, прямо перед воротами».

Что-то он не помнил такого случая. Два года назад они с матерью были уже здесь. Ехали на нарах из неоструганных досок, в товарном вагоне, в июльскую жару, обливаясь потом, женщины копошились, ссорились, качали младенцев, толстая тетка сидела, спустив голые ноги между головами у сидевших внизу, состав подолгу стоял на узловых станциях, пропуская встречные поезда, «эй, бабоньки, куда путь держим?..» — кричали из эшелонов. «И второй с ним, — сказала Маруся Гизатуллина, — волчица, наверно». — «Это были не волки», — сказала Аня, но теперь она снова звалась прежним именем Нюра.

С какой независимостью, с каким величавым спокойствием он приблизился к ним, не моргнув глазом взглянул на вышедшую из кустов Нюру с лукошком. Надо сознаться, она стала еще прекрасней, расцвела невыносимо, в сиреновом легком платье с белым воротничком и «кружавчиками» вокруг коротких рукавов-фонариков, в левый рукав засунут платочек,

и на загорелых ногах легкие тапочки, — да, сказал он себе, он знает, что она здесь, и приближается к ней без волнения, потому что прошли эти томительно-безысходные зимние ночи, все прошло; да, он выздоровел от этой болезни и может спокойно смотреть на эту красоту. Конечно, она не могла не заметить его равнодушия, несомненно, ее снедает тайная ревность. И он почувствовал гордость, тайное злорадство мужчины, который знает, что ради него цветет эта краса; но удостоится ли она его внимания, это уж, извините, его дело.

«Ох, — сказала Маруся Гизатуллина, — умаялась. Мы тут весь малинник обобрали. Пока ты там шастал». Два года назад таким же летом высадились на пристани, шли с толпой, волоча свои чемоданы, прожили в физкультурном зале с большими окнами, с шведской стенкой и сдвинутыми в угол брусьями недели две, пока всех не распихали по учреждениям; теперь-то он знал, как свои пять пальцев, и школу, и базар, где в то лето еще толпился по воскресеньям народ; война еще не чувствовалась в этих местах. Выпряженные лошади стояли вдоль коновязи с мешками сена на мордах, на возах торговали луком, лесным орехом, молодой картошкой; марийки в узких расшитых лодочках под белыми платками, в зипунах, несмотря на жару, в новеньких лаптях и шерстяных чулках, продавали масло, обрызганные холодной водой, блестящие, как слоновою костью, шары на темно-зеленых листьях лопуха. Мать пробовала масло кончиком ногтя. Еще можно было обменивать на продукты городские вещи, шляпку с бантом, кружевную сорочку.

Было или не было, что волки подошли к больнице, да еще в летнее время, но он отлично помнит это первое лето, помнит, как впервые спустился к реке, в это время они уже поселились в больничном поселке; и стоило лишь подумать о реке, как тотчас ковер-самолет перенес его, через осень и зиму, — и опять этот солнечный день, и девушка, остриженная под ноль, с едва успевшими отрасти волосами, с круглыми белыми плечами и началом груди над водой, среди визга и блеска вод. Как и прежде, он не мог связать этот образ с Нюрой. Река унесла его. И так же, как вновь ни с того ни сего перед ним промелькнул этот эпизод, в котором лишь задним числом можно было предположить что-то значащее для будуще-

го, так многие годы спустя вспоминался пикник на поляне, пустяковый разговор о волках, пожарная вышка, заросли малины» щедро уродившейся в тот год.

«Ох, умаялась; надо бы еще разок придти, варенья наварим, чай будем пить». Корзинки с похожими на шапочки темно-розовыми ягодами стояли в холодке под деревом. Маруся Гизатуллина раскладывала харчи на старой больничной простыне, расставляла стаканы, явилась бутылка с водой, заткнутая бумажной пробкой, и пузатая бутылочка. «А вот почему говорят малиновый звон, когда почта едет, все говорят - малиновый?»

«Красивый, значит. Как малина», — сказала Нюра.

Подросток объяснил, что название происходит от города, где раньше отливали колокольчики.

«Ты у нас ученый. Все знаешь. А мы с Нюрой темные, да, Нюра?»

И все-таки было что-то обидное в том, что она цвела, не смотря на то, что они расстались, очевидно, ждала кого-то другого, — кого же? — и сердце подростка царапнула ревность. Словно мимо него по солнечной глади проплывал и медленно удалялся нарядный белый корабль, а он остался стоять на берегу.

«Ты записок ко мне не пиши. Фотографий своих не разда- ривай. Кто со мной выпьет? — Маруся налила больничный спирт в два стакана и развела водой. — Вот Нюра меня под- держит. Да чего ты... самую чутельку. Голубые глаза хороши, только мне полюбились карие!»

«А ты как, попробуешь?» — спросила она.

«Да брось ты, — сказала Нюра. — Ребенка спаивать».

«Какой он ребенок. Скоро усы вырастут. *Полюбились лю- бовью такой...*»

Леса, млеющие на солнце. Нюра — тоненьким голоском: *«Что вовек никогда не кончается!»*

Маруся Гизатуллина: *«Вот вернется он с фронта домой. И па-а-ад вечер со мной повстречается.»*

Выпив спирт, она задумалась. Нюра, сделав глоток, отставила стакан, потянулась к корзинке, — ее грудь слегка колых- нулась, — и положила в рот ягоду. «Ты зажми нос, — сказала Маруся Гизатуллина, — и одним махом, раз!» Подросток гром-

ко и часто задышал открытым ртом. Маруся проворно сунула ему в рот малину.

«Люблю мужчин с усами. Вот мой вернется, я ему велю, чтобы непременно отрастил... На-ка вот еще закуси».

«Это что весной приезжал?» — спросила Нюра рассеянно.

Маруся помотала головой. «Это так... знакомый. Не хочу о нем говорить. *А тебя об одном попрошу...*»

«Понапрасну меня не испытывай...»

Незаметно все изменилось. Как там дальше? *Я на свадьбу тебя приглашу.* Мальчик знал эту песню наизусть, он запом- нил все песни, которые пела за стеной Маруся Гизатуллина, никогда не входил в их комнату, но знал, что Маруся сидит на кровати, поджав ноги в шерстяных носках, и вышивает. Вся комната убрана ее вышивками. А на узенькой раскладушке, где когда-то лежала остриженная голова Нюры, заразившейся тифом, — тогда у ней вообще не было имени, — теперь спала мать Маруси, сморщенная бледная старушонка, всегда ходив- шая в одном и том же белом ситцевом платье с оборками, в вязаных чулках и носках, в белом платке, который в этом краю носили не уголком, а широким прямоугольником до по- ловины спины, из-под которого высывался черный хвостик косички с серебряной монетой. Старуха пела другие песни, тоненьким голоском на своем языке.

«Я на свадьбу тебя приглашу. А на большее ты не рассчи- тывай», — пела Маруся.

Все вокруг изменилось; вокруг, но не в нем самом; он не был пьян, а если и опьянел, то лишь на одну минуту, — брызну- ло струйкой в мозг, и вселенная пошатнулась, но тотчас же мы овладели собой, мы были, что называется, в полном ажу- ре, зато мир вокруг приобрел другое значение, как бывает во сне; мир проникся ожиданием. «Могу и пройтись, пожалуй- ста», — смеясь, сказал подросток, вскочил и замаршировал по поляне. Стало припекать. Нюра в сиреновом платье сиде- ла, сложив руки на вытянутых загорелых ногах, и смотрела на него или, может быть, сквозь него, и от этого взгляда его охватила беспричинная радость, в нем было неясное обеща- ние; темноокая Маруся Гизатуллина, на которой теперь были только черные трусики и бюстгальтер, белая и худенькая, с впалым животом, приподнявшись на локтях, так что обозна-

чились ямки над ключицами, следила за ним насмешливо-испытующим взором; он плюхнулся на траву.

«Давай, давай, для здоровья полезно. Так и просидишь в комнате все лето». Худющий, как Кашей, — приговаривала Маруся, стаскивая с него рубашку. — И брюки; нечего стесняться. Господи, в чем душа только держится». Подросток улегся на живот. «А ты что сидишь? — это Нюра. — Снимай, он не смотрит. Да если посмотрит, тоже не беда. Я загорать буду, а вы как хотите», — сказала она. Подросток перевернулся на спину и увидел верхушки деревьев в ослепительной лазури. Все пело, все смеялось.

Лежа он старался глазами остановить медленно плывущее небо. Женская рука коснулась его руки, «спишь?» — спросил голос Маруси Гизатуллиной. Не сплю, хотел он ответить и вдруг подумал, что пока он так лежал, потеряв чувство времени и, может быть, в самом деле задремав на минуту, Нюра незаметно удалилась, очевидно, ей было неинтересно с ними; белый и нарядный, изукрашенный флагами пароход углыл, а они здесь остались. В тревоге он открыл глаза и, повернув голову, увидел, что она лежит рядом, увидел ее руку, заложенную под голову, рыжеватые волосы под мышкой и высокий холм под белым лифчиком. Все еще сон, думал он, а на самом деле она ушла. Маруся Гизатуллина склонилась над ним, он увидел близко перед глазами ее маленькие татарские груди с черными почками сосков. «Мужичок, — пропела она, — спишь?» Не знаю, может, и сплю, подумал подросток. Он глядел на Марусю сквозь ресницы. А ты, а вы? Она тоже спит, ответила Маруся Гизатуллина, жарко-то как стало, это к грозе. Мы все спим и снимся друг другу, добавила она. Да не съем я тебя, не бойся. Но он не дослышал, что она говорила, в эту минуту он окончательно пробудился, уловил легкое посапывание и увидел, что обе женщины спят.

Лето в разгаре. Новая попытка противника добиться перелома войны, семидневное танковое сражение на широкой дуге, огибающей Курск, на изрытых снарядами полях и в перелесках, где поют соловьи. Наступление захлебнулось. Очередь за нами. Командующий фронтом знает, что если провалится его план ударить одновременно с севера и юга, ему не миновать расстрела. План удался. Группа «Центр» потеряла тридцать

восемь дивизий. Сколько потерял Рокоссовский, никто не знает. На двух половинах гигантской шахматной доски полководцы имеют дело с двойным сопротивлением: огневой мощью противника и некомпетентностью обоих вождей. Война перевалила через зенит. Война катилась назад, к Днепру и в белорусские болота. Армия шла вперед, оставляя широкий кровавый след. От генерала до солдата все знали, во имя чего идет война. Вождь в Москве никогда не выезжал на фронт. Он стал богом, богу не полагается быть на фронте. Сильной стороной московского вождя была подозрительность. Этот дар усилился. Сильной стороной германского фюрера была способность импровизации. Этот дар угас. В главной квартире, в густых лесах Восточной Пруссии, фюрер провозгласил, что немецкий народ окажется недостойн фюрера, если война будет проиграна. Иван Сыч проживал в селе, как оно называлось, никто не помнит. Ночью пришли партизаны, застрелили старуху и двух других, подозреваемых в связях с врагом, забрали телок, поросят и ушли. Священник отслужил панихиду по убитым. Он сидел в огороде, когда прибежала девчонка и сообщила, что немцы пришли сжечь деревню. Два бронетранспортера выехали из леса. Сыч облачился в церкви и, красный от волнения, с непокрытой головой, с крестом в руках вышел за околицу навстречу карателям. Он был скошен автоматной очередью. Это была война. Лето в разгаре. Уже давно освобождены калмыцкие степи, куда теперь вступило новое войско. Стрелок-радист Иван Бадмаев, восемнадцати лет от роду, был сбит в воздушном бою к югу от Сталинграда, остался в живых и получил орден. Триста лет тому назад предки Бадмаева перекочевали в низовья Волги. Этого не следовало делать. Если бы они оставались в Монголии, ничего бы не случилось. В госпитале Иван Бадмаев получил приказ явиться утром на вокзал. Его затолкали в вагон, в спешке он выронил костыли. Вокзал был оцеплен войсками. Сто тысяч степных жителей были посажены в товарные вагоны и отправлены на восток, доехала половина.

Война шла, а мальчик жил своей жизнью. Он не знал, что хотя война шла ради того, чтобы защитить его и таких, как он, она отменила все, чем он жил: сделала ничтожными, смешными и бессмысленными все его переживания, бесполезными все его интересы.

Настала осень. Вечером черная коза по имени Лена не пришла к крыльцу, ее разыскали на другой день, она стояла на дне оврага, по брюхо в тине, и равнодушно смотрела на людей, пытавшихся к ней подобраться. Козу внесли на кухню. С глазами как олово, медленно моргая темными ресницами, она лежала на соломе, у нее отнялись ноги, пропало молоко, подросток, сидя на корточках, кормил Лену листьями почерневшей капусты. И было что-то в этом эпизоде, который все же по счастью закончился благополучно, было что-то предвещавшее череду невзгод. В крошечной тьме (лили дожди, он перешел в следующий класс и ходил во вторую смену), подросток, сбившись с пути, увяз в грязи, упал и, потеряв галоши, промокший до нитки, добрал кое-как до больницы. Поздно вечером, в непроглядную ночь, он вышел однажды из комнаты, чувство надлома, неясной, но близкой беды не давало ему покоя. Слово бич судьбы уже посвистывало над ним. Чувство это гнездились в темной глубине тела, во внутренних органах; много лет спустя ему пришло в голову, что судьба есть не что иное, как упорядочивающее начало, которое мы вносим в расползающиеся клочья существования, бессознательный механизм, цель которого — сохранить единство нашего «я». Ради чего?

Все неспроста, все оказывается неслучайным; все тянет в одну сторону; дождь, и ночь, и одиночество; слабый, стонущий скрип двери в сенях, за его спиной, тень, перешагнувшая через порог. Он стоит на крыльце, вздрагивая от озноба, и вокруг все струится и чмокает. Тень выходит из сеней на крыльцо, долго, сладко зевает, кутается в платок. «Ты чего не ложишься?»

Нелепый вопрос, ведь еще не было и одиннадцати. «Прошлую ночь совсем не спала, — сказала Маруся Гизатуллина, — сперва с припадочной возились, а потом еще этого привезли». — «Кого?» — спросил он скорее из вежливости, весь поселок говорил наутро об этом человеке, который выстрелил себе в сердце из охотничьей двустволки, говорили, что он оказался дезертиром, жил у любовницы в дальней деревне, прятался на сеновале, потом осмелел, стал приставать к хозяйкиной дочке, хозяйка на него донесла. Милиционер, который его привез, в лаптях и в шинели с новенькими погонами, которых

здесь еще никто не видел, вышел покурить на крыльцо общего отделения, да так и не успел допросить самоубийцу.

«Чего ж допрашивать, и так все ясно. А вот ее, наверно, посодят».

Мальчик спросил, глядя в мокрую тьму: за что?

«За укрывательство. Вот любовь-то к чему приводит», — заметила Маруся. После чего наступило молчание.

Казалось, она завидует этой деревенской бабе. Сама того не ведая, Маруся Гизатуллина высказала мысль, которая в близком будущем станет тайной жалобой женщин. То была ностальгия по великому мифу любви, способной пренебречь всем.

Миф любви жив до тех пор, пока общество воздвигает вокруг нее запреты. Всепоглощающая страсть чахнет, если она не наталкивается на осуждение окружающих, репрессивную мораль общества, беспощадность государства. В новом обществе для свободной любви уже нет препятствий. Не осталось и времени на сердечные дела. В такую эпоху только очень юные существа еще способны жить любовью и приносить ей жертвы, и значит, прошлое, о котором подросток вспоминал через много лет, когда он уже не был подростком, — отнюдь не то прошлое, которое тащится, словно пыльный хвост, следом за «настоящим». Наоборот: настоящее есть не более чем его отзвук.

«Простудишься. Ну и погодка». Он молчал, смотрел во тьму. «Ее ждешь?.. Не бойся, никому не скажу. Я ведь все знаю», — добавила она.

Он спросил: «Что ты знаешь?»

«Все знаю. И все понимаю. Сама мучилась, когда любила». Он молчал, остолбенев.

«Хочешь сказать, что больше ее не любишь? Чего ж тогда стоишь — небось весь окоченел. Спать пора, — сказала Маруся Гизатуллина, — пошли домой».

Неужели, думал подросток, Нюра ей все рассказала. Он вспомнил о письме, теперь уже таком далеком, и ему стало стыдно. Тайна его сердца была выставлена напоказ. Они читали вместе и смеялись. Сколько там было нелепых, выпендренных выражений. Он не знал, что женщины иногда берегут такие письма. Вернувшись в комнату, продрогший до костей,

он думал о том, что с наслаждением порвал бы это письмо в мелкие клочки, если бы удалось им завладеть; в конце концов он мог бы потребовать его назад, мог набраться смелости напомнить о нем. Удивительная мысль пришла ему в голову: он представил себе, что каким-то образом через много лет встретился снова с Нюрой и спросил: получила ли она тогда его письмо? Чем больше он об этом думал, тем ясней становилось — не получила! Чем настойчивей он вспоминал, тем очевиднее было, что да, получила. Когда Нюра постучалась в его дверь, разве это не было доказательством, что письмо получено?

Удивительное депо: *он вспоминал будущее*. Что стало с Нюрой? Он пытается представить себе, придумать эту Анну Федосьевну или как ее там по имени-отчеству: наверняка это была ничем не примечательная, тягостно-бесцветная, тусклая жизнь в глухой российской провинции. Этот климат все обесцвечивает. Память старой, изглоданной жизнью женщины в сравнении с памятью того, кто когда-то сидел за столом с коптилкой и клеивал конверт протертой сквозь марлю вареной картошкой, — все равно что мутно-желтая фотография рядом с только что проявленным, четким и влажным снимком. Мутно-желтая фотография — и уже не различишь, кто там изображен.

Как если бы оторвали бинокль от глаз Увидишь смутный, стертый ландшафт прошлого. После всех лет, после того, как Нюра вышла замуж — почему бы и нет? — за кого-то вернувшегося с войны и разрушенного войной, выжившего, чтобы просуществовать еще десяток лет, взятых в долг у смерти, Нюра, прозябающая с детьми и заботами, под конец всеми брошенная и угасающая в каком-нибудь дальнем уральском городке, — после всех этих лет — что могла она помнить? Была война, больница, какие-то люди приехали в эвакуацию.

Бессмысленное занятие: образ будущего не имеет ничего общего с тем подлинным, несмываемым, который мгновенно ожил, едва лишь подросток прикрыл за собою дверь в комнату, где все так же изнемогал на столе желто-голубоватый огонек. Нюра, в пальто, наброшенном на плечи, в шерстяном платке, в белом платье с прямым вырезом, отороченным кружевами, которое на самом деле было не платьем, а ночной рубашкой. Светлые волосы с искрами инея. Должно быть, она

уже легла, но что-то ее томило, любопытство или Бог знает что, бес подмывал. Она попросила что-нибудь почитать и забыла об этом, поинтересовалась, что он пишет в тетрадке, вероятно, тотчас узнав бумагу, на которой написано было письмо. Он спросил, — чтобы что-нибудь сказать, — из какого металла кольцо на ее пальце, и тотчас кольцо сделалось значительным, как все, как огонь на столе, прядь волос, которую она смахнула со лба, как ее руки и грудь; она сняла кольцо, постепенно сдвигая его, это далось ей не без усилий, он попробовал надеть его себе на указательный палец, оба рассмеялись. Он пытается представить себе, что с ней стало, но видит только ту, какой она была. И ему кажется, теперь, через много лет, смехотворным открытие ученых психологов, будто отсутствие мужского органа рождает у женщины чувство неполноценности, будто может существовать какая-то зависть; странная, в самом деле, теория! По крайней мере, в то время, если бы он услышал о ней, она показалась бы ему абсурдной. Жалеть о том, чего нет! Наоборот, темное чувство говорило ему о несчастье быть подростком, о проклятии пола, который делает его неловким, неуверенным, одержимым боязнью, что об этом узнают, проклятии, которое мешает жить. Между тем как девушка, легкая и свободная, без темных помыслов, без тягостных снов, без тени стыда, проходит мимо с независимостью царевны, избавленная от этого позора, и соблазна, и страха оскотления. Для него пол был новостью и скандалом, а для них всех чем-то таким, что разумелось само собой. Он чувствовал, что для девушки, у которой там *ничего нет*, быть такой, какова она есть, значит просто *быть*, что она живет в согласии с миром, что она часть природы, сам же себя представлял подчас чуть ли не вырожденком.

Он услышал в темноте за спиной: «Посижу у тебя маленько, ты не против?..» — пожал плечами, уселся на свое место у окна и прибавил огня. «Хорошо, тепло, — сказала она и поправила платок на плечах. — Что же ты, так поздно, — все еще уроки делаешь?» — «А сколько сейчас времени?» — опросил подросток. И разговор иссяк, в заплаканном окне маячил его двойник, отражался тусклый светоч и в глубине, бледным пятном — лик Маруси Гизатуллиной. Он ждал, когда она уйдет. «Завтра на работу, — проговорила она, — я теперь дежу-

рю через день. Что за жизнь... А ты небось все думаешь о ней?» — «О ком это я думаю, ни о ком я не думаю», — проворчал подросток, вдруг стало ясно, что Маруся ничего не знает и «она» — попросту ничего не значащее слово. Или все-таки знает? «Как это ни о ком, — продолжала она смеясь, — значит, ты уже ее позабыл, вот и верь после этого мужчинам. А небось клялся в вечной любви».

Подросток метнул на нее взгляд исподлобья, игривое выражение исчезло на лице у Маруси.

«Ну, не сердись, у бабы язык — сам знаешь... Я что хотела сказать... — Она уставилась на огонек коптилки. — Вот дура, забыла, что хотела сказать. — Опустила глаза. — Спать пора... Ты в какую смену ходишь, в утреннюю или днем? А это что у тебя, сочинение? Ты в каком классе, в восьмом? Или уже в девятом?» И так как он по-прежнему не отвечал, она сказала: «Ты только не подумай, что я над тобой смеялась. Я ведь знаю, как это бывает». Он взял ручку, ворошил что-то в чашечке горелки.

«Мне цыганка нагадала, — сказала Маруся Гизатуллина, — ты веришь цыганкам? А я верю».

Он спросил, подцепив пером обугленные останки: что же она ей нагадала?

«Еще в Мамадыше, я сама из деревни, в Мамадыше семилетку кончала. Такая была шелапутная, совсем учиться не хотела... Курсы окончила, думала, на фронт попрошусь, а тут похоронка пришла, папу убили, сразу, в первую неделю, нет, думаю, хватит вам одного, вот так мы с мамашей здесь и очутились. Что ж я хотела рассказать-то... Да, цыганка раз ко мне подошла, уже старая, хочешь, говорит, девушка, я тебе открою, что тебя в жизни ждет. Ничего с тебя не возьму, что подаришь, на том и спасибо, только ты, говорит, не старайся сердце от меня скрыть, откройся сердцем... Ты, говорит, много будешь грешить. А жизни тебе будет ровно тридцать лет. — Она помолчала. — Я ей брошку подарила... Зачем это я рассказываю, голову тебе дую?».

Он спросил, как гадают на картах.

«Шайтан его знает, меня учили, да я все равно не умею. Надо сперва карту выбрать, вот ты, к примеру, будешь крестовый король».

«А не валет?»

«Какой ты валет-ты уже взрослый. Проживешь, говорит, на свете тридцать лет. А до той поры можешь веселиться, все тебе будет прощено. Вот я и веселюсь», — сказала она печально.

Подросток поднес перо к огню, он не мог понять ни себя, ни ее, не знал, куда клонит ночная гостья, если она вообще куда-то клонит, а не просто коротает с ним бесконечную ночь. Он скосил глаза на Марусю Гизатуллину, она сидела, сложив руки на коленях, и воистину понадобились годы, чтобы понять, что означал ее взгляд, устремленный вовсе не на него, а в себя, понять ту, которая сидела перед ним на месте, где сидела Нюра, и скорее задумалась, чем задумала что-то. Словом, надо было долго учиться умению видеть людей такими, каковы они сами по себе; но подросток не умел освоиться и в собственной душе.

«Может, пройдемся немного, дождь перестал», — сказала она полувопросительно. И вот, словно не было всех этих лет, словно все еще шаршишь впотьмах: в кухне висят на гвоздях армяки, куцавейки; изодранный, ставший общей собственностью тулупчик, «вот его и надену, — пробормотала Маруся, — мы недолго, пробежимся туда-сюда...» Оба, крадучись, вышли в сырую свежесть ночи. Все еще капало на крыльце, и капало с крыш, дул ветер, серые, как дым, облака неслись по небу, и в просветах, в черной синеве, сверкали, как ртуть, звезды. Бре-ли мимо конюшни к воротам, маленькая женщина уцепилась за руку подростка.

«Одна бы ни за что не пошла, вот дойдем дотуда, и назад». Он спросил, чего она боится. «А всего. Сама не пойму; то, бывает, такая храбрая, все могу, на все решусь. И никто меня не остановит. А то вдруг каждого куста боюсь. Кто его знает, может, правду говорят, что ночью покойники бродят. Да я однажды сама видела. Иду по дороге, летом, ночь светлая, лунная. Вдруг вижу, стоит... И точно: мертвец; весь в белом. Меня поджидает. Ну их, лучше не говорить. А то еще впрямь кто появится. Ты держи меня крепче, — сказала она, смеясь, — поскользнусь, да и повалимся вместе». И они дошли до того места, где дорога из больничного поселка соединялась с трактом, постояв, повернули назад. «Бр-р, к утру подморозит, это

точно, — говорила, разматывая платок, Маруся Гизатуллина, — ну что же ты, согрей девушку...» Она подошла к стопу. «А это нам не нужно, это мы сейчас потушим». Дунула, и острый запах керосина провевал по комнате.

Чувство целокупного времени, похожего на прибой, на стоячую волну, на зыблющиеся воды. И оно тоже пришло с годами. Миг, за который чуть было не пришлось расплатиться жизнью, в накатывающем прибое всеединого времени, этот миг остался таким, каким случился тогда; был ли он точкой просветления, моментом истины — или стал им спустя много лет? Вечный вопрос.

«Чего уж тут, раздевайся, что ли; все равно спать ложиться... Ну? Не съем же я тебя».

Сказано было так просто, что он подумал, ничего такого вовсе и нет, просто она устала, хочет спать, и ей холодно.

Отблеск звезд, смутно-свинцовый свет из окна, казавшегося огромным, лунноликий призрак на его кровати, с провалами блестящих глаз. Что-то она там перебирала вокруг себя, стряхивала и расправляла, сидя, повернувшись, взбила подушку, и просто и естественно, как у себя дома, скрестив руки на бедрах, взявшись за платье и что там еще было, одним движением сняла все сразу через голову, встряхнула черными волосами и подняла тонкие руки к затылку, чтобы собрать волосы. Что там произнесли ее губы, может быть, не по-русски, было невозможно вспомнить, остался голос, приглушенный, почти воркующий, уговаривающий, осталось чувство жгучего стыда; и много лет спустя эта ночная сцена предстала как в замедленной съемке, прокручивалась вновь и вновь. Тебе ведь все равно пора ложиться, говорила Маруся Гизатуллина, только эти слова и запомнились, в нашей деревне да-авно-о-о уже спят, почти пропела она и, справившись с одеждой, не зная, куда ее деть, сложила у себя на коленях, встряхнула головой, подняла к затылку белеющие в сумраке руки с темными впадинами подмышек, и одновременно слегка поднялись темные кружки ее груди. «В нашей деревне, а-а...х», — и она потянулась, точно в самом деле собралась лечь и уснуть.

«Ну, чего ты оробел. Полежим, и все».

«Я не оробел», — сказал он мрачно.

Оба едва успели придти в себя, когда странный звук, невозможный звук раздался в кухне, жалобный стон петель и осадистый вздох вернувшейся в пазы двери. Подросток перекатился на бок. Все стихло. В полутьме отворилась дверь в комнату, и вошел призрак. Призрак подошел к столу. Чиркнула спичка. Язычок копилки взвился и осел, мать подростка прикрутила фитиль. Мальчик лежал спиной к женщине, на краю кровати. Он поднял голову. Но мать смотрела не на него. «Вылезай», — сказала она. Там не пошевелились.

«Вылетай, — повторила мать подростка. — Так я и знала...»

Она наклонилась, подняла с пола то, что там лежало, и швырнула на кровать. Из-под одеяла показалась черная растрепанная голова Маруси Гизатуллиной.

«Развратная проститутка, — сказала мать подростка, — я просто глазам своим не верю».

Маруся голой рукой придерживая одеяло, нашла рубашку в ворохе одежды и, кое-как просунув голову и руки, напялила на себя.

«Чего ругаетесь-то...» — пробормотала она.

«Да я слов не нахожу!»

«А чего такого...»

«Чего такого! Ах, ты бесстыдница. А ты знаешь, как это называется, а?.. Это называется растление малолетних! Нет, я это так не оставлю. Все знают, кто ты такая...»

«А кто я такая?» — спросила Маруся.

«Все знают! Нет, я так не оставлю. Я на тебя напишу!»

«Ну и пишите, — осмелев, надменно возразила Маруся. — Какой он малолетний? Он мужнина. Я его люблю».

«Люблю... Ха-ха. Насмешила. Развратная тварь! Я тебе еще покажу, ты меня будешь помнить. Господи, Гос-по-ди!» — повторяла мать подростка, стискивая руки, между тем как Маруся, прижимая к груди ком одежды, другой рукой подхватив полусапожки, пропала из комнаты.

«Ну вот, — тоскливо сказала мать, кивая головой, подняв глаза на подростка. — Что значит нет отца... А я, как проклятая, день и ночь на работе... Чтоб его сберечь, чтоб его накормить... Что же нам теперь делать?» И это был вопрос, который, как ночной гость, не уходил, сидел на кровати после того, как дверь на кухне захлопнулась за матерью, она при-

бежала с дежурства. Что же теперь делать, повторял подросток, тупо глядя перед собой, он медленно повернул голову, дверь в комнату неслышно отворилась, там стояла Маруся Гизатуллина, он ничего не сказал, дверь закрылась, он смотрел в пол, в одну точку.

Каждая эпоха оставляет свою археологию запретов, подобных надписям на умершем языке; их можно расшифровать, но их истинный смысл остается загадкой, ибо они состоят из иносказаний. Вся область их применения окутана тайной. Таков обычай сверхдобродетельной эпохи. Но, добившись права произносить вслух то, что прежде лишь подразумевалось, наивно было бы думать, что мы вовсе отказались от умолчаний: кажется, что они возникают сами собой, словно они часть нашей природы. Или словно они охраняют некий клад. Ну и что, сказал бы сегодняшний сверстник, *что тут такого*. И все же совсем не просто решить, как повел бы себя этот сверстник сегодня, окажись он на месте подростка.

Мать успела застать его утром, когда он запикивал учебники в портфель, разве вы снова занимаетесь в первую смену, спросила она, подросток не ответил. Хорошо, я все понимаю, сказала мать, то есть я ничего не понимаю, но чаю выпить хотя бы можно?.. Он вышел из дому, дорога слегка подмерзла, в воздухе кружились редкие снежинки, он миновал место, до которого ночью они дошли с Марусей Гизатуллиной, немного погодя, шагая по тракту, обернулся и увидел, что туманная пелена заслонила больницу. Тогда он сошёл с дороги и двинулся через поле к холмам. Пожухлый дерн хлюпал у него под ногами. Вскрабкавшись по скользкому склону, весь мокрый от холодной росы, сыплющейся с кустов, он вступил в лес. Его ученический портфель валялся между опорами пожарной вышки, подросток стоял наверху, на смотровой площадке. Туман становился все гуще, исчезли леса, вокруг был серый, непрозрачный океан. Может быть, к полудню проглянет солнце. Может быть, через несколько дней он почувствовал бы желание вновь повидаться с горячей и жадной, словно зверек, маленькой женщиной. Сейчас он не мог вспомнить о ней без стыда и отвращения. Он был загажен с головы до ног, от мысли о том, что произошло ночью, у него вырвался стон — сейчас, когда он стоял, вцепившись в сырой

дощатый барьер, в промокших ботинках, с лицом, залитым злыми слезами. Все пропиталось горечью, горечь капала с веток. Все оказалось так омерзительно-просто. Он зажмурился, чтобы выдавить эту горечь из глаз, его веки слиплись, нужно было что-то предпринять. Что-нибудь сделать. Бежать! Или, может быть, изувечить себя. Злорадная, сладострастная мысль, взять все в руку - и ножом р-раз. Несколько успокоившись, хлюпая носом, он поднял голову, распрямылся, он набрел на другой выход. Он сам не заметил, как пробрался лесом, спустился с холма возле самой больницы, заглянул домой, зная, что матери нет дома, запасся необходимым; оглядевшись, вышел на крыльцо. Он действовал с безупречной точностью, холодно рассчитав каждый шаг, и все время думал об одном. Несколько мгновений спустя он вошел в конюшню. Кто-то стучал и скреб копытом по деревянному настилу. Он прошагал мимо стойла, где беспокоилась молодая кобыла Комсомолка, на которой выезжал главврач, мимо старой одноглазой лошади по кличке Пионерка, она стояла, понурившись, за загородкой. Каморка конюха находилась в конце прохода. Он постучался.

Узкий подоконник заставлен чахлыми цветами в консервных банках, в углу и под самодельным столом помещались старые картонные коробки с имуществом хозяина, сам Марсуля, в картузе и грязных сапогах, лежал на топчане, накрывшись армяком, под портретом маршала Пилсудского. Мальчик расцепил крючки у ворота, отстегнул пуговицы пальто, которое стало совсем коротким. Поздоровался.

«День добрый», — отвечивал Марсуля.

Мальчик стоял, опустив торчащие из узких рукавов руки.

«Что пан желает мне сказать?»

Гость выгашил из портфеля приношение.

«Так, - сказал Марсуля. — Это что же значит? Это значит, — ответил он сам себе, — что ты от меня чего-нибудь хочешь. Так?»

Мальчик выдавил из себя что-то. Хозяин раздвинул рот в улыбке, подложил руку под голову.

«Nie rozumem», — сказал он внушительно.

Кашлянув, подросток повторил свою просьбу.

«Nie rozumem. Ты хочешь меня подкупить или что ты хочешь?»

Подросток пожал плечами.

«Нет, ты говори прямо. Ты пришел меня подкупить. Я не возражаю».

Марсуля спустил сапоги со своего ложа и указал гостю на полку с утварью. Мальчик достал с полки мутный граненый стакан. Марсуля взглянул на себя, на гостя, молча показал два пальца. Подросток поставил на стол второй стакан и жестяной чайник.

Марсуля развел спирт водой из чайника, стащил картуз с лысой головы и, нахмурившись, провозгласил:

«Na zdrowie!»

Мальчик не стал пить. За стеной был слышен конский храп, стук копытом. Хозяин отдувался, хрустел соленым огурцом.

«А теперь скажи, ты откуда узнал?»

Подросток что-то пробормотал. Марсуля нахмурился.

«Нет, ты скажи. От кого ты узнал, что у меня есть этот przedmiot?»

«Ты сам говорил», — сказал подросток.

«Я?.. тебе говорил? Что-то не помню».

Помолчав, он добавил:

«Я так думаю, что это будет слишком опасно. Не одного меня, тебя тоже могут заарештовать, если увидят. А ты еще молодой. Клянись!»

Подросток поклялся, что никто не узнает.

«А зачем тебе нужно?»

Мальчик объяснил, что хочет поупражняться. Хочет попроситься на фронт.

Марсуля важно кивнул.

«Вот это правильно. — Он посмотрел в окошко. — Скоро, — сказал он сильным голосом и поднял палец. — Скоро затрубит труба. Ту-ру, руру! — Он приставил ладонь ко рту. — Тебе понятно?»

Подросток кивнул. Марсуля усмехнулся. Он покачал головой.

«Не думаю, что понятно. Но ты увидишь. Все увидят! Когда придет час, и Марцули здесь больше не будет. Генерал Андерс собирает армию в поход. Кто такой генерал Андерс, знаешь? Мы им всем покажем. Вам тоже», — сказал он, подмигнув.

«Кому это, вам?»

«Всем вам покажем».

Хозяин каморки обзрел свое жилье и прислушался к перестуку копыт. «Я вообще никакой не Марцуля, если пану угодно знать. Это я только здесь Марцуля... Я подал на регистрацию. Жду приказа. — Он понизил голос. — Теперь тебе ясно, зачем у меня этот?.. Na zdrowie».

Он перелил спирт из стакана гостя в свой стакан, выпил и задумался.

«С другой стороны, ты меня подкупил. Я человек честный. Я пил спирьтус, значит, должен выполнять. И я даже не знаю, умеешь ли ты с ним обращаться?»

«Умею. У нас в школе...» Мальчик хотел сказать, что они тоже проходят военное дело. Трехлинейная винтовка Мосина образца тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года. Затвор служит, р-раз, для досылания патрона в патронник, два, для плотного замыкания канала ствола, три, для производства выстрела, четыре, для выбрасывания стрелянной гильзы. Канал делает три с половиной оборота и служит для придания пуле вращательного движения. После уроков, строем, за-певай! *Краснаarmeeц был герой. На разведке боевой. Да эх! Э-эх, герой.* Он сидит у подножья пожарной вышки, на поляне, прислонясь к врытой в землю опоре, и осматривает «пшедмет», крутит большим пальцем барабан, заглядывает в дуло. У него в запасе три патрона. Он отводит предохранитель, открыв рот, целится в толстую ель. Рот всегда в таких случаях нужно держать открытым. Страшный гром потрясает лед и катится вдаль. Отлетела гильза, барабан мгновенно повернулся, наготове следующая пуля, отлично. Оружие функционирует как полагается. Подростка страшит боль, особенно если стрелять в висок. Кроме того, бывают случаи, когда человек остается жив. В живот, чтобы пробить аорту... о, нет. Ему приходит в голову, что лучше всего это сделать на берегу, тело упадет в воду, и его унесут волны. *На разведку он ходил. Все начальству доносил.* Он как-то странно бодр, его переполняет злобная радость. Несколько времени погодя, поглядывая по сторонам, он подходит к реке, темно-серые, тусклые воды влекутся на всем огромном пространстве под небом туч, далеко впереди, почти вровень с водой чернеет другой берег, мальчик выпрастывается из пальто, бросает рядом шапку, озираясь, усаживается на песок, разувается,

ему холодно. Скорей, больше некогда рассуждать, он и так потерял уйму времени. Слишком медленные приготовления ослабляют волю. Едва успев войти в ледяную воду, стуча зубами, он прижимает холодное дуло к груди, к тому месту, где должно находиться сердце, нажимает на курок, и — никакого результата. Он осматривает револьвер. Барабан повернулся, патрон стоит на выходе напротив ударника с бойком, ничего другого нельзя предположить, как только то, что оружие дало осечку. Такие дела в суматохе не делаются. Спешка унижает достоинство человека. Со стволом, прижатым к груди, преодолевая дрожь в руке, сжимающей рукоятку, вскинув голову, он смотрит вдаль, на кромку берега, на низко стелющееся, серо-жемчужное, холодное небо. После чего проходит неопределенное время, а лучше сказать, время исчезает.

Дневник, начало большой поэмы и что там еще, запихнуто в портфель. Мать хлопчет вокруг чемоданов. Марсуля грузит вещи на телегу. Старая Пионерка моргает единственным глазом, второй глаз, вытекший, слипшийся, зарос седыми ресницами. Их никто не провожает. Темнеет, когда они подъезжают к пристани. Двухпалубный теплоход, очень большой вблизи, скудно освещенный, грузно покачивается у дебаркадера, трутся резиновые покрышки, очередь, давка, трап трещит и качается под ногами, на нижней палубе не протолкнуться. Они стоят в проходе, мать пересчитывает пальцем вещи, медленно отодвигается, отступает, сливается с темнотой пристань. Сколько ночей и дней предстоит еще ехать, пока вдали, на солнечном разливе не покажется высокая, узкая, украшенная звездой башенка речного вокзала — Химки, Москва.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

«Der Sand, der dutch die Uhr der Zeit lauft, ist aus unserer Asche gemacht» (Песок, что сыплется в часах времени, сотворен из нашего пепла). Фраза, с которой Фридрих Зибург начинает свою книгу о Наполеоне, могла бы стать вторым эпиграфом к повести, где вымышленный сюжет вставлен в раму детских воспоминаний.

Лишь дух истории, продолжает Зибург, утоляет горечь сознания, что все в этом мире идет прахом.

Эра исторического оптимизма захлебнулась, и вера в будущее превратилась в исповедание прошлого. История - его священная книга. Вера в прошлое заменила надежду на будущее: вера в спасительную сипу истории, будто бы способной все разъяснить, примирить и оправдать. Вот то, что мне непонятно и чуждо.

Подмена - вот о чем идет речь; под «историей» подразумевается не то, что было, а то, что об атом написано. Смысл истории, как смысл мира, внеположный миру, лежит вне истории. Смысл истории есть артефакт.

Насколько я помню, полубезумный Ченцов, существовавший на самом деле, говорил что-то другое, может быть, вовсе никогда не упоминал о трех временах. Как бы то ни было, я нахожу в разглагольствованьях моего героя крупницу правды. Да, мы на самом деле посетили мир в его минуты роковые; мы были тем прахом, человеческой пылью, которая спрессовалась в сыпучее содержимое песочных часов. Мы видели историю, не ту, о которой написано, но ту, которая была, видели воочию, как солдат видит перед собой медленно вращающиеся гусеницы танка.



Владимир ФРИДКИН

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Невыдуманные рассказы

МАРГАРИТА КИРИЛЛОВНА НАРЫШКИНА

Дорога из Тель-Авива в Хайфу идет морем на север. Море — слева. Низкий берег, пенное кружево у песчаных пляжей. Гирлянды бананов прямо на деревьях увязаны в прозрачные пластиковые сумки. Упакованы как в магазине (может быть, так бананам теплее?). Навстречу — рекламные щиты с тайнописью иврита. На щитах — хорошенькие белокурые девушки (неужели они еврейки?).

Университет «Технион» в Хайфе — на высокой горе. С горы виден залив, холмы Галилеи, похожие на застывшие морские волны, и на горизонте, за облаками, Голанские высоты. А в каких-нибудь двадцати километрах Назарет. Подумать только, Святая земля.

Утром профессор Рауль Вайль водил меня по кемпингу. Был октябрь. Кипарисы, придорожные камни, асфальт — все в раскаленном солнечном золоте. Корпуса физических лабора-

торий в синей тени пальмовых и сосновых аллей. Потом мы сидели в прохладном сумраке его тесной комнаты и говорили под жужжание кондиционера. Кабинет как кабинет; компьютер, факс с телефоном, полка с книгами и исписанная формулами доска. И только нестерпимо яркие щели жалюзи на окне напоминали о полуденном зное, залившем всю эту высокую гору. Изредка звонил телефон. Хозяин извинялся, брал трубку, гортанно говорил на иврите «беседер». Потом клал трубку, снова извинялся и переходил на английский.

Вайль предложил искупаться, а потом съесть ланч где-нибудь на берегу. И мы отправились в Кесарию, летнюю резиденцию Понтия Пилата. От резиденции остались каменный амфитеатр, ступенями спускающийся к берегу, и развалины дворца царя Ирода, огромные тесаные камни и одинокие мраморные колонны. Потом мы сидели на террасе ресторана «Царь Ирод» и смотрели на пустынный пейзаж раскинувшегося перед нами города крестоносцев: серо-желтые каменные стены, выложенная каменными плитами улица пыльные сосновые и оливковые рощицы. Вайль сказал:

— Ирод был человек плохой, хоть и еврей.

С этого и начался разговор. Мы обращались друг к другу по имени, и я спросил Рауля, откуда у него французское имя. И он рассказал мне свою историю.

Родители Рауля, французские евреи, родились в Эльзасе, в Кольмаре. Отец занимался каким-то бизнесом. Он и мать рано уехали в Боливию и осели в Ла Пасе. Там Рауль и родился. Во время войны родные отца и матери, оставшиеся в Европе, почти до единого погибли в Освенциме. Жизнь молодого боливийского физика и его путь на историческую родину были бы, в общем, как и у всех, если бы он не встретил в Ла Пасе Маргариту.

Однажды Рауль, проходя мимо французского посольства, увидел на террасе девушку, поливавшую цветы. Рауль заговорил с ней по-французски. Они познакомились, и Рауль пригласил ее пообедать. Она отказалась. Встречи у террасы продолжались с полгода, пока наконец Маргарита не согласилась пойти с ним в мексиканский ресторан на «чили», острый перец, начиненный мясом и сыром. Потом они поженились. Марго (так звал ее Рауль) была наполо-

вину русской, наполовину француженкой. Ее отец, князь Кирилл Михайлович Нарышкин, после революции эмигрировал из России. Ему было тогда немногим больше двадцати. В Париже он женился и родил четырех дочерей. Так что у Марго живут во Франции три сестры, — Наталья, Анастасия и Мария. Прадед Марго, Иван Александрович Нарышкин, сенатор, приходился дядей Наталье Николаевне Пушкиной и был посаженным отцом на ее свадьбе. 18 февраля 1831 года в церкви у Никитских ворот он стоял за ее спиной. Пушкин часто бывал в его доме на Пречистенке. Как известно, сватал Пушкина граф Федор Иванович Толстой (по прозвищу «Американец»). Он тоже имеет прямое отношение к предкам Марго. В «Рассказах бабушки» Д.Благово вспоминает, что Федор Толстой убил на дуэли Александра Нарышкина, старшего сына князя Ивана Александровича (старшего брата деда Марго). Это было года за три до войны двенадцатого года. Пушкин был в то время лицеистом. Убив Нарышкина, Толстой, скрылся, долго странствовал по Сибири, потом перебрался в Америку. Свое прозвище «Американец» он получил, уже вернувшись в Россию. В России Толстой-Американец сумел повздорить с Пушкиным. Александр Сергеевич в день своего приезда в Москву из ссылки (8 сентября 1826 года) через Соболевского послал Толстому вызов. Слава Богу, их помирили. И через каких-нибудь три года Толстой-Американец сватал Пушкина. Вот так, среди аристократических предков Марго оказались люди, близко знавшие Пушкина. Тесно в дворянской истории России. И все рядом. От Москвы до Хайфы три с половиной часа полета. От Гончаровых и Пушкиных до гражданки Израиля Марго Вайль всего три поколения.

Князь Кирилл, отец Марго, рано умер, еще до второй мировой, оставив в нужде большую семью. После войны Марго совсем молодой девушкой уехала из Парижа в Дамаск работать во французском посольстве. Потом из Сирии — в Беливию. Поженившись, Рауль и Марго уехали в США, где Рауль работал в одном из университетов. И вот уже двадцать лет как они переехали в Израиль. Теперь они принадлежат к кругу, который здесь называют «ватикиим», к евреям-эмигрантам, давно осевшим в стране (в отличие от «олим», недавно сюда приехавшим). У них два взрослых сына, Эфраим и Да-

вид. Сыновья живут отдельно. А с ними в доме живут две собаки. Рауль и Марго дома говорят по-французски, с детьми на иврите и по-английски. Собаки почему-то понимают только английский. А русский Марго забыла или никогда не знала.

Наш ланч растянулся до вечера. Быстро стемнело. Море и берег растворились в теплом влажном сумраке. В Кейсарии, справа от террасы, зажглись одинокие огоньки, а город крестоносцев исчез, ни огонька. Словно отошел на тысячу лет назад. На ужин Рауль пригласил к себе домой. Машина долго поднималась обратно в гору, петляя по шоссе по серпантину, обсаженному пальмами и кипарисами, ныряя на поворотах в низкое со звездами небо. Марго с собаками встретила нас на пороге. У нее были светлые глаза и гладко зачесанные русые волосы, собранные сзади в пучок.

Я спросил:

— ЭТО у вас овчарки?

Марго ответила:

— Нет, это простые дворняги. Их где-то подобрали наши дети. Здесь много разных породистых собак. Но немецких овчарок в Израиле нет....

Она приготовила праздничный стол: белая скатерть и свечи. Когда мы сели за стол и Рауль прочел молитву, я спросил у Марго, нравится ли ей здешняя жизнь.

— Конечно — сказала она. — Это моя страна. И потом... я всегда хотела выучить иврит, чтобы говорить с Богом на его языке.

МОНА ЛИЗА ГАЛИЛЕИ

В один из следующих дней Рауль повез нас на своей машине по Галилее. Целый день мы слонялись по холмистой библейской пустыне. Белые городки, как мираж, террасами вырастали из оливковых роц, сосновых перелесков и россыпей серо-белых камней. Всюду было тихо и пустынно. Редко-редко попадался араб-погонщик с собакой и стадом овец. В городках было не многолюднее. В опрятных еврейских поселках — много зелени и цветов. В арабских деревнях зелени совсем нет, один камень. Дома стоят вдоль глухих выложен-

ных из камня заборов. Перед некоторыми домами — по несколько дорогих автомашин. А на выезде из деревни — помойка. Пообедали у знакомого Раулю бедуина Иосефа Майсура. Хозяин угощал пловом и питой, плоскими лепешками, которые поливал из кувшина струей тяжелого, как ртуть, оливкового масла. Мы сидели в палатке под плоской матерчатой крышей на фарши, низкой тахте, поджав под себя ноги. Ветер хамсин, долетавший из пустыни, надувал крышу как парус и хлопал ею громко, как из пушки.

— «Хамсин» — по-арабски пятьдесят, — сказал Иосеф. — Он может дуть пятьдесят дней в году.

После Назарета Рауль показал нам развалины древнего города Циппори. Циппори — одна из еврейских святынь. Здесь работал синедрион после разрушения Храма в Иерусалиме, сюда перенеслась тогда культурная жизнь. Во втором веке нашей эры рабби Иегуда написал здесь одну из священных книг, Мишну, а еще через двести лет здесь был написан Талмуд.

В начале второго тысячелетия в Циппори пришли крестоносцы. На фундаменте римских вилл, где покоились саркофаги, они построили цитадель. Под цитаделью на полу одной из вилл сохранился мозаичный портрет прекрасной женщины. Ее прозвали Моной Лизой Галилеи. Полагают, что картину создали в третьем веке нашей эры. Так что галилейская Мона Лиза старше леонардовой более чем на тысячу лет. По преданию Леонардо написал портрет жены флорентийского купца Джирокоэндо. Ее собственное имя было испанским, Констанца д'Авалос. О ее галилейской сестре не сохранилось и предания. Кто был художник? Кто была эта прекрасная женщина, еврейка, римлянка?..

Мы стояли вместе с другими туристами на галерее, окружавшей мозаичный пол и смотрели вниз. Молодой американец рядом со мной фотографировал. Я спросил у него, зачем он это делает. Ведь открытку с портретом можно купить в любом киоске. Американец ответил:

— Один Бог знает, что может случиться здесь, рядом с сирийской границей. А вдруг она навсегда исчезнет от взрыва ракеты Хусейна. Здесь все как на вулкане. А я сфотографировал ее вместе с моей женой. Теперь у нее что-то

будет от моей жены, а у жены что-то от нее. И что бы ни случилось, она будет висеть на стене у нас дома, в Омахе. Дайте ваш адрес, я пришлю вам фотографии.

И я дал ему свою визитную карточку. Там же, на галерее, я познакомился с бизнесменом из Риги и с его женой, очень полной надушенной «шанелью» дамой. Они тоже фотографировали. Дама сказала:

— А если честно, она мне не нравится, — она кивнула в сторону мозаичного пола. — Что в ней находят? Мы этим летом в Лувре были. Но мне и тамошняя Мона Лиза не понравилась. И чего народ с ума сходит?

Я сказал:

— Значит, вы ей не показались.

— То есть как?

— А так. Жила в Москве одна великая актриса, Фаина Раневская. Так вот она говорила про Сикстинскую мадонну Рафаэля, что та повидала за свои полтысячи лет столько народу, что теперь сама выбирает, кому ей нравится, а кому нет. А эта дама еще старше...

А американец не обманул, прислал-таки в Москву конверт с фотографиями. На одной он умудрился запечатлеть свою милую веснушчатую подругу из штата Небраска рядом с древней галилейской красавицей. И меня тоже. Я смотрел на фотографии и напевал из Окуджавы «На фоне Пушкина снимается семейство...» Глядя на фотографии, вспомнил наш отъезд из Циппори. Полную луну в еще светлом небе, розовые холмы, оливковые рощи вдоль гладкого фосфоресцирующего под лунной шоссе. И острый камень у меня в кармане, резавший ногу. Он выпал из стены древней виллы, и я подобрал его где-то под цитаделью. На память. Ведь ему как-никак две тысячи лет... И подумал, что в фотографиях все-таки что-то есть. Что-то есть... Но что?

ПЕРЕНЕСЕННЫЕ В ПРОСТРАНСТВЕ

В Израиле много говорят о судьбах переселенцев. И каждый раз я вспоминаю Иосифа Бродского, который сказал, что он сам не переселился в США, а просто перенесся в пространстве. Переселяясь в Израиль, люди не меняются. Они уносят

с собой привычки, вкусы, любовь, болезни, характер, одиночество... Вот только с профессией дело обстоит сложнее. В новой стране не каждый профессионал может найти работу. Евреи, недавно переселившиеся в Израиль (алия) видят страну через собственную судьбу. Сколько судеб, — столько и мнений. Здесь не место объективности.

Гена Розенман, способный физик из Екатеринбурга, уехал в Израиль несколько лет тому назад. Я знал его в России большим энтузиастом. Он всегда был увлечен очередной научной идеей и с пеной у рта говорил о своей работе («И это мы делаем в нашей глухой провинции. В вашей Москве об этом можно только мечтать»). В Израиле ему повезло. Он получил место профессора в Тель-Авивском университете. Узнав о моем приезде в Хайфу, он позвонил в первый же день и пригласил немедленно приехать и прочесть у него лекцию.

— Вы увидите, как вас примут в Тель-Авиве. Израиль — это не ваша паршивая Италия (до этого я год работал в Италии). Гонорар будет большой, достойный вас. И билеты оплатят.

В университете перед лекцией Гена водил меня по кемпингу. Среди финиковых пальм — красивые белые здания с арками и террасами. Я впервые увидел, как на пальмах гроздьями растут финики, сначала оранжевые, потом, когда созреют, — темно-коричневые. И убедился, что Гена как был энтузиастом, так и остался.

— Вы не представляете, какие работы мы здесь делаем. В России об этом можно было только мечтать. У меня в кабинете целых два компьютера, четыреста восемьдесят шестых. Две тысячи долларов в год только на зарубежные конференции... В этой стране лучшая в мире армия, лучшие танки, лучшие экологически чистые продукты, лучшая служба безопасности...

О службе безопасности я вспомнил через несколько дней, когда какой-то религиозный фанатик с двух метров застрелил премьер-министра Рабина. Потом Гена позвонил мне в Хайфу.

— Спасибо за прекрасную лекцию. Чек придет к вам через пару дней. Не беспокойтесь.

Я не беспокоился. На следующий день он снова позвонил мне и попросил назвать номер паспорта. Я назвал. Прошло еще два дня. Гена снова позвонил, сказал, что забыл спросить дату выдачи визы. Добавил, что, к сожалению, дорогу не оплатят. Еще через какое-то время, в день моего отъезда в Реховот, в институт Вейцмана, Гена позвонил и сказал:

— К сожалению, из гонорара вычтут пятьдесят процентов налога. Но вас это не должно огорчать. Налоговая политика здесь — лучшая в мире.

Я не огорчился. Прошла еще неделя, и Гена сам привез в Реховот чек на пятнадцать шекелей (пять долларов) и сказал:

— Распишитесь здесь, и пожалуйста — сумму прописью, только на иврите.

Увидев мою растерянность. Гена смягчился.

— Ладно, понимаю. Напишу за вас.

И отсчитал мне пятнадцать шекелей.

Паша, сын моих московских друзей, катал меня на машине, принадлежавшей хозяину, у которого он работает. Про себя он говорил:

— Я — марксист. Работаю в торговой фирме Джеральда Маркса, еврея из Англии. Его девиз — тоже из Маркса: товар — деньги — товар.

Товар — это занавески. Паша развозит образцы по магазинам. Бизнес идет туго, и Паша с семьей плохо сводит концы с концами. Ему под сорок. В Москве он работал хирургом в одной из районных больниц.

— Врачей и музыкантов здесь слишком много, работы им не найти, — говорит Паша. — Тут говорят так. Если вы встречаете в аэропорту человека, прилетевшего из Москвы, и он не несет скрипку, — значит, он пианист.

Мы проезжали городок Бней Брак. Паша комментировал. Сказал, что это самый религиозный и одновременно самый грязный город в Израиле (городки, которые я видел до этого, были очень опрятными). В переводе с иврита «бней брак» — дети света.

— Почти «дети солнца» по Горькому, — заметил Паша. — Когда приехал, я мыл здесь в ресторане посуду. Обслуживал свадьбы на тысячу человек.

Из ресторана Паша вскоре ушел и с семьей переселился в кибуц. Кибуц не пришелся ему по сердцу, а кибуцников он вскоре тихо возненавидел. Паша вспомнил такой случай. Однажды в Израиль приехал Федор Поленов, искусствовед и писатель, внук великого художника. Федя был школьным другом Пашиного отца (и моим тоже). В это время в кибуце, где жил Паша, организовали музей и приобрели за солидные деньги несколько полотен Левитана, певца русской природы и друга Фединога деда. Разумеется, Федю тут же привезли в кибуц показать эти картины. При первом взгляде на них (река, осенний лес, озеро, поросшее ивняком) Федя объявил, что это не Левитан. Кибуцники были очень расстроены, а Паша торжествовал.

По Бней Браку во множестве бегают религиозные евреи: черный лапсердак, черные брюки, черная шляпа, иногда сдвинутая на затылок, белоснежная рубашка с черным галстуком, пейсы, свитые в ленту, и борода. Бегают быстро-быстро, тонкие, высокие, я бы сказал, элегантные. Вся эта старомодная чернота, и лапсердак, и пейсы, как-то не вяжутся с гибкостью и быстротой их движений. В большинстве своем — это молодые люди. По городу развешаны портреты благообразного старика с добрым лицом и седой бородой, в черной шляпе. Я подумал, что это какая-то реклама.

— Да нет, — сказал Паша. — Это портрет Любавического ребе. Нынче его окончательно считают мессией, а раньше сомневались. Дело в том, что сам ребе лет сорок категорически это отрицал. Но после третьего инсульта, когда его, парализованного, еще раз спросили, не мессия ли он, ребе как-то странно дернулся и замигал. Это тут же восприняли как положительный ответ. Теперь, после смерти, он — мессия и скоро вернется, чтобы построить третий храм... Здесь требуют жить по законам Торы. По русскому радио выступает некий комментатор, который занимается кабалистикой. Дескать, в Торе все сказано наперед, до скончания мира. Если какое-то место в Торе прочесть через два слова, получим то, а если в другом порядке — это. Все это, видите ли, имеет глубокий

смысл и, если еще не случилось, то непременно случится в будущем. И заметьте, это толкование ведется на крохотном клочке земли. Вы выезжаете из Иерусалима и через каких-нибудь 20 минут въезжаете в Вифлеем. А это уже не Израиль, а его «территории». Представьте себе, что в Москве занимаются только толкованием «Слова о полку», а Тула, Воронеж и Екатеринбург — это «территории»...

— Ну, а если серьезно, если по большому счету, — как тебе здесь?

— Иногда говорят: хорошо там, где нас нет. Так вот. Мне здесь так плохо, так плохо, что плохо даже там, где меня нет.

С Марком Блюминым меня познакомили московские поэты Александр Городницкий и Юлий Ким. Перед моим отъездом Саша позвонил мне и попросил привезти книги, его и Кима, изданные в Израиле Марком Блюминым. Марк не только издает книги русских авторов. Он еще и политический деятель, член ЦК партии алии. Теперь, когда эта партия получила место в кнессете, Марк совсем пошел в гору. Его жена Марина — физик. Она работает в университете Технион в Хайфе. Марина и привезла меня из Хайфы к себе домой в Акко.

Сначала мы побродили по старому городу. Крестоносцы и здесь построили крепость, вырастающую прямо из моря. Тут же восточный базар с лабиринтом узких улочек, пропахших рыбой, шафрановым пловом, манго и огромными, с человеческую голову, грейпфрутами. Толпа плывет мимо мешков с кардамоном, имбирью и орехами, мимо лавок с бусами и посудой, где в глубине в прохладной тени дремлет хозяин. Мимо бесконечной декорации из джинсов и маек. Сквозь толпу проносятся босоногие мальчишки с подносом на голове. На подносе — лепешки, кувшин, кофейные чашки. Иногда толпа расступается перед отрядом христианских паломников. Впереди — человек в черной сутане и черном клобуке с белым крестом. Он громко стучит о мостовую деревянным посохом, кованым железом. Кажется, все это я уже видел однажды. Где? Может

быть в фильме «Багдадский вор», шедшем у нас после войны? Или не видел, а читал в «Тысяче и одной ночи».

А потом из сказки Шехерезады мы перенеслись в московскую квартиру. Блюмины живут в двух шагах от старого города в четырехэтажке без лифта, типичной «хрущобе». Как и положено, обильный стол накрыли на кухне: закуски, жирная вкусная селедка, малосольные огурчики, водка «Кеглевич». И тогда Марк рассказал свою одиссею.

В перестройку он был директором какого-то крупного объединения в Рязани. На партийность и «пятый пункт» тогда уже меньше обращали внимания. Но когда дела пошли хорошо, и рэкетеры обложили данью и начали угрожать расправиться с детьми, Блюмины решили уехать. Авиабилетов тогда было не достать. Они продали квартиру и дом в деревне, купили старую «тойоту» и на ней отправились в путешествие. В Одессе на таможне у них отобрали оставшиеся доллары. На какие деньги они добрались на пароме до Варны, а оттуда через Болгарию и Грецию до Афин, — Марк даже и не помнит. А потом был снова паром, из Афин в Хайфу. Это три дня морского пути, а у них не было ни денег, ни хлеба. Младший сын, полтора-годовалый Илюша бегал по палубе и его подкармливали добрые люди. По котлете он приносил старшему брату Жене. В общем, Блюмины прошли весь путь белой эмиграции. Разве что без сыпняка.

Марк сказал:

— Израиль — страна с будущим. Сейчас здесь слишком много талантов и слишком мало денег. Отсюда — все проблемы. Но это вопрос времени. Со временем алия должна стать серьезной политической силой. Тогда не будет больше деления на олим и ватиким, и никто не будет вздыхать, как было «там» и как стало «здесь».

Он рассказал такой случай. Недавно к нему приехал в гости приятель из Рязани, один из бывших видных партработников. Марк повез его в кибуц «Здот - Ям», недалеко от Хайфы, на берегу моря. Приятели купались, загорали в шезлонгах, рвали финики. В прохладной зале играли в бильярд, большой как футбольное поле, с огромными

костяными шарами. А потом в столовой кибуца обедали вместе со всеми. Обед приятелю очень понравился. Особенно десерт: гора фруктов на каждом столе и крохотные нежные пирожные в вазах.

— А что, кибуц этот, передовой?

Спросил у Марка бывший номенклатурщик,

— Да нет. Кибуц как кибуц. Обыкновенный. Передовых здесь нет.

— Так ведь это же санаторий четвертого управления! — воскликнул приятель, вгрызаясь в сочный персик и захлебываясь.

— Вот так, — закончил свой рассказ Марк, — я узнал в Израиле, что такое санаторий четвертого управления.

Другой мой приятель, Валерий, талантливый адвокат, вел в Москве крупные денежные дела. Слава о нем гремела по всей стране. Видные дельцы, цеховики и просто жулики из наших виноградных республик старались заполучить его. Дома и среди нас, его друзей, он был немногословен и скромнен, деликатен и мил. Но в зале суда преображался. Когда он выступал, зал, казалось, переставал дышать. Судья и заседатели сидели как провинившиеся на уроке школьники, боясь скрипнуть стулом. Он жил в Москве в большой квартире, обставленной богатой лакированной мебелью, с коврами и горками, в которых мерцала хрустальная посуда с неотклеенными этикетками «moser».

В Кирият Оно под Тель-Авивом Валерий с женой, сыном и внучкой живет в точно такой же квартире с коврами и хрусталем. Только вместо «Жигулей» водит «рено». Он жалуется, что работы для него здесь нет. Да ведь и быть не может. Какой же адвокат без языка? Да еще в его возрасте. Поэтому Валерий метет двор и помогает двум старикам из соседних домов. Не хочет сидеть на шее у сына. Сын, конечно, не так талантлив как отец, но зато молод. Он тоже юрист и преуспевает. Выучил язык, сдал экзамены и работает в полиции. Ради него Валерий и уехал. И еще ради любимой внучки Софочки. Я знал Софочку еще в Москве. Тогда ей было лет во-

семь. А сейчас — тринадцать. За пять лет Софочка очень вытянулась, постройнела и похорошела. А по-русски говорить разучилась. Говорит медленно, растягивая слова, с сильным акцентом.

Днем, когда Софочка возвращается из школы, дед поджидает ее во дворе. Если Софочка идет с подругами, она старается незаметно пройти мимо. Деда она любит, но стесняется, потому что дед говорит по-русски. По-русски говорить стыдно. В школе по-русски говорят только олим, дети, недавно приехавшие из России. Они не умеют одеваться, в классе ведут себя как недотепы, ходят в школу без модного рюкзака и пешком, потому что у родителей нет автомобиля. И хоть Софочка сама недавно сюда приехала, она хочет дружить только с ватиким. Эти дети говорят свободно на иврите и по-английски, всегда одеты по моде и, если живут далеко от школы, родители привозят их на машине.

Дома за обеденным столом я спросил Софочку:

— Дедушка сказал мне, что ты дружишь с одноклассником Гришей. Уж не тот ли это Гриша, что вместе с тобой приехал из Москвы?

— Дружу? Ни за что! Гриша — зевель.

Заметив мое удивление, Валерий объяснил, что «зевель» в переводе с иврита — мусор. Вздохнул и добавил, что сейчас Софочка дружит с Ашером.

— Ты мне говорила, что с Ашером целуешься, — вступила в разговор бабушка.

— Да, — сказала Софочка, — французским поцелуем.

— Целуешься по-французски, — уточнил я. — Как это?

— С языком.

И Софочка объяснила, как это делают.

Потом разговор зашел о моей книжке с рассказами о Пушкине. Я спросил Софочку, не забыла ли она, кто такой Пушкин.

— Да, это поэт. Его убили.

— А каким образом?

— Наверное, писал плохие стихи.

— А кто его убил?

— Не помню. Какой-то иностранец... Кажется узбек.

В Хайфе много ровных песчаных пляжей с кафе, чистыми туалетами и кабинками для переодевания. Я сижу на одном из пляжей, в небольшой бухточке, отделенной от моря моллом, выложенным из серого колотого камня. Море сегодня беспокойно. Волны то накрывают мол пенной шапкой, то уходят, проваливаются назад. А в бухточке тихо. Который день дует с суши хамсин и жемчужно-серое море в тумане. Рядом рыбаки сетью ловят бури, рыбу, похожую на ставриду.

Я только что познакомился с женщиной, приехавшей не так давно из Петербурга. Она целыми днями сидит на пляже. Ее зовут Вера, ей 60 лет. Сидит в халате, накинутом на купальник. У нее длинные ноги, красивые покатые плечи и еще не дряблый живот. Расстелила махровое полотенце, поставила на него транзистор, корзинку с бананами, саброй и мандаринами и большую бутылку с кока-колой. Угощает меня. По транзистору слышна русская речь. Он всегда настроен на «Голос России». В Петербурге Вера работала невропатологом. Несколько лет тому назад ее дочь с мужем уехали в Израиль. В большой квартире Вера осталась одна. Одиночество стало невозможным. Она продала петербургскую квартиру и приехала к дочери. Отдала ей квартирные деньги. Дочь и зять купили на них машину и переехали в новый район. Теперь Вера сидит дома без денег и снова жалуется на одиночество.

Рядом с Верой — худой старик в черных брюках, носках и подтяжках крест накрест поверх майки. Он еще раньше приехал из России с двумя внуками. Внукам он внушал: вы в новой стране, учите иврит и забудьте русский. Внуки выросли, выучили иврит и забыли русский. Сам старик иврит так и не выучил и теперь внуков не понимает. Старик одинок, у него склероз. Вот уже месяц он делает Вере предложение и по целым дням сидит с ней рядом на пляже. Старик смотрит на рыбаков и, вдруг, не поворачивая головы, спрашивает Веру:

— Послушай, а как тебя зовут?

Вера возмущается:

— Как вам это нравится? Я же тебе сто раз говорила.

— Ну ты только напомни...

Туман на море. Из Вериного транзистора разносится по берегу Средиземного моря:

Ой, туманы мои, растуманы!

Ой, родная сторонка моя...

Маленький зеленый городок Кфар Саба. На столбах и стенах домов развешены написанные от руки объявления: престижные курсы русского языка, сдается квартира в престижном районе... Все «престижное» перенеслось сюда из Москвы и Петербурга. Лавочка у подъезда дома в тени банановой пальмы. На лавочке под пальмой сидит старушка, рядом — соседка помоложе. Соседка грызет подсолнухи, сплевывает в кулак и выбрасывает под пальму.

— Вы не поверите, — говорит старушка, — а у нас в Черновцах было лучше. Где вы найдете здесь такую улицу как наша имени Володарского? А наш парк культуры имени Горького?

И потом, почему-то понизив голос, доверительно:

— А баклажаны и кабачки есть невозможно... не вкусные... И вообще... Конечно, некоторые устраиваются. Вот Райзмань, со второго этажа, купили новую мебель...

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ВСТРЕЧИ

Борис Лившиц, скрипач, живущий ныне в Цюрихе, просил меня посетить в Ришон ле Сион, богатом пригороде Тель-Авива, его знакомого, человека уважаемого в художественном мире и со связями.

— Поверь мне, — говорил Борис — он все может. Он и твою книжку издаст. Это финансовый и художественный гений. Ты не успеешь рта раскрыть, как он уже поймет, с кем имеет дело. В России он ворочал такими делами, а уж в Израиле...

Борис вез меня по Банхофштрассе на вокзал. Цюрих готовился встретить новый год, и главная банковская улица пылала от иллюминации и освещенного гирляндами лампочек и тающего под колесами машин снега.

В поезде я вынул из кармана пальто записку с адресом и именем этого человека и переложил ее куда-то в портфель.

А потом забыл о ней вовсе. О записке я вспомнил только в Тель-Авиве, уже незадолго до отлета из Израиля. Я перерыл портфель, но записки не нашел. И как ни старался, фамилии этого человека вспомнить не мог. Помнил только, что фамилия была особенной. Она оканчивалась на «ой» и выражала какой-то физический недостаток, вроде бы даже инвалидность. Но какой именно недостаток, — вспомнить не мог. В общем, повторялась чеховская «лошадиная фамилия».

— Косой? — спрашивала жена.

— Да нет,

— Слепой? Немой?

— Да ну тебя. Не то.

Дальше предлагались фантастические варианты.

— Бухой?

— Что это значит?

— Кажется, пьяный.

— В Израиле нет пьяных евреев. Это тебе не Россия.

— Да при чем тут это? Я же о фамилии говорю.

— И я тоже. Ладно, не будем ссориться...

Наконец жена предложила:

— Может быть, Нагой? У Ивана Грозного одна из жен была Нагая.

— И она была еврейкой? — саркастически спросил я.

— Скажешь тоже!?

— Тогда при чем здесь Иван Грозный?

Чуть не поссорились. Вспомнили фамилию мы только перед отлетом, уже в аэропорту. Нас провожал друг с двухлетней дочкой. Навстречу нам из зала вылета шел одноногий инвалид на костылях. Ребенок спросил папу:

— А почему у этого дяди так мало ног?

Я вдруг вспомнил фамилию и закричал на весь зал:

— Хромой, Хромой!

Мой друг удивился и заметил тихо:

— Он не хромой, а безногий. И чего ты так орешь?

Его звали Хромой, этого финансового и художественного гения. Но было уже поздно, и всю дорогу до Москвы я с досадой думал о том, что теперь надо искать издателя для своей новой книжки. А разве в Москве его найдешь...

Имя другого знакомого, живущего в Иерусалиме, я запомнил хорошо. О нем мне рассказал московский художник Борис Жутовский. Его зовут Нисим. Он — бухарский еврей и родился в Бухаре. В тридцатые годы Нисим пешком пришел из Бухары в Иерусалим. Как это произошло, я так и не понял. Ведь граница у нас тогда была на замке. Молодой Нисим начал с торговли шашлыками на бойкой виа Долорозо. Торговал на вынос. Потом скопил деньги и открыл свой ресторан где-то в старом городе у Львиных ворот. Бизнес шел хорошо, но Нисим был к нему равнодушен. В душе он был романтик, и у него была мечта. В сущности, он и бизнесом занялся ради ее осуществления. И, наконец, время настало. Он купил авиабилет и полетел в Монреаль, а оттуда — на Шпицберген. Там он нанял вертолет и полетел на нем дальше, на север. Через несколько часов полета пилот протянул ему компас. Стрелка компаса болталась как неприкаянная. Пилот спустил веревочный трап, Нисим спрыгнул на Северный полюс и закурил. Постоял, посмотрел на горизонт в серебряной дымке и бросил на снег окурочок. Потом по трапу взобрался на вертолет и тем же путем вернулся в Иерусалим. Позже он стал готовиться к полету на Южный полюс. Не успел. Но не из-за денег. Денег у Нисима всегда хватало. Кто-то ему рассказал, что на острове Борнео в джунглях живет племя, справляющее субботу. Нисим загорелся и, изменив планы, отправился на Борнео. Он остановился в городе Кота-кинап-ило и оттуда стал совершать экспедиции вглубь острова. Вокруг города росли пальмовые рощи, в которых жили орангутанги, бравшие бананы из рук туристов. Нисиму это было неинтересно, и он уходил на поиски все дальше и дальше, в глубь джунглей. Борис Жутовский так и не понял, чем закончилось это путешествие, и разыскал ли Нисим в джунглях единоверцев. Нисим рассказывал ему о своих приключениях за выпивкой в ресторане у Львиных ворот. А на следующее утро Борис поздно проснулся в незнакомом доме и в незнакомом городе. Город звали Эйн Керен. Он был в пустыне в десяти километрах от Иерусалима. А хозяином дома был друг Нисима, выпивавший со всеми вместе накануне. Он сказал Борису, что Нисим утром куда-то уехал.

Борис подарил Нисиму советский полковничий мундир, купленный на старом Арбате: папаху из серого каракуля и

шинель с полной выкладкой орденов. В таком виде Нисим любит прогуливаться по старому городу. Говорит, что шинель хорошо защищает от солнца, вроде стеганого узбекского халата. Американские туристы, отбившись от гида, ходят за ним следом. А друзья из соседних лавок завидуют и просят уступить мундир за хорошие деньги.

В Иерусалиме мне очень хотелось встретиться с этим романтиком из Бухары. Я разыскал его чайхану у Львиных ворот. Но мне не повезло. Сказали, что Нисим отбыл в длительную командировку. И я подумал, уж не на Южный ли полюс. Но спросить постеснялся.

ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

Юра Свердлов, врач-педиатр, и его жена Ира показывали мне Иерусалим. Они уже лет двадцать как приехали сюда из России.

- Скажите, — спросил я, — а вы не из тех Свердловых?
- Возможно, — загадочно ответил Юра.
- Что значит возможно?

— В Нижнем Новгороде их было много, Свердловых. Интересоваться своим происхождением мы боялись. Двадцать лет назад это было опасно. Зиновию Свердлову, брату Якова, было куда легче. Во-первых, его усыновил Горький, а во-вторых, он рано уехал из России и почти всю жизнь прожил в Европе. Заниматься этим сейчас? Фантазировать? Но зачем?

Мы проезжали зеленый район Рехавии. Здесь за соснами и пальмами стояли виллы, сложенные из белого иерусалимского камня. Их окружали такие же белые каменные заборы, обросшие папоротником и бугенвиллией. У одной из вилл мы остановились, и Ира сказала:

— Вот эту виллу зовут «Лея». Видите надпись на камне? Чем фантазировать, я лучше расскажу вам ее историю. Жил в Иерусалиме в начале двадцатого века знатный и очень богатый купец египтянин. Он полюбил еврейскую девушку. Ее звали Лея. Лея была прекрасна. Он построил для нее невдалеке от стен старого города эту виллу. Перед входом вокруг красивого каменного фонтана цвели розы. Вы их видите и

сейчас. Только с той поры розарий расширился, а фонтан умолк. Вряд ли страстная любовь египтянина была взаимной. Но здесь он и Лея прожили вместе несколько лет. Лею окружали богатство и поклонники. Однажды вечером на вилле среди гостей оказался незнакомый англичанин, морской офицер. Вы, конечно, помните, что после первой мировой войны Палестина была английским протекторатом. Англичанин был молод и хорош собой. Прошло сколько-то времени, и Лея оставила свою роскошную виллу и уехала с офицером в Англию. Видимо, на этот раз она полюбила. Судьба ее неизвестна, след затерялся. А египтянин не смог перенести разлуки и вскоре от горя умер. Из Египта никто за наследством не явился. Вилла стояла пустой и заброшенной. Слово проклятие лежало на ней. Новая жизнь пришла сюда недавно. Виллу приобрел израильский фонд «Каэмет». В ней поселились Иосиф Бург, депутат первого кнессета, и всем известный генерал Моше Даян. И сейчас, кроме фонтана, ничто не напоминает о любви несчастного египтянина.

— Жаль, что нельзя сорвать пару роз, — сказал я.

— Это зачем же? — спросила Ира.

— Помните у Пушкина? Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы...

Свердловы с удивлением переглянулись.

— Бахчисарайский фонтан у Пушкина и в самом деле живой. Из него по капле сочится вода, — сказала Ира. — А этот давно высох. Кроме того, рвать цветы в Израиле считается большим грехом. В этой пустыне деревья и цветы взрастили тяжелым трудом.

Потом Свердловы подвезли меня к Золотым воротам старого города. Им нужно было на время отлучиться.

— Где встретимся? — спросил я.

Юра посмотрел на часы и сказал:

— Через полчаса в Гефсиманском саду. Идет?

ВАСЯ ИЗ КАРАВАНА

Вася был русским, хотя родился и вырос в Белоруссии, в Гомеле. И работал там милиционером. В девяностом году он вместе с женой Светланой, тещей Броней и годовалой дочкой приехал в Израиль и поселился в Ашдоде. Ехать в Израиль

Васе поначалу не хотелось, но жена и теща настояли. «Сионисты, — ворчал на них Вася, — агрессоры». Их поселили в маленьком барачного типа домике из гипса, который в Израиле называют караваном. Караванный поселок стоял на холме в оливковой роще недалеко от моря. В караване были все удобства: душ, газовая плита, мазган для отопления. Впрочем, девять месяцев в году в Ашдоде было очень жарко. Вася был добр и у него были золотые руки. Знал и слесарное и плотницкое дело. А работать устроился водителем электрокара на кирпичный завод. Хозяин завода черный марокканский еврей Давид очень ценил его. Вася был безотказен. Подвозил из махсана* и из подсобки оборудование, грузил кирпич, слесарил и, если нужно, чинил электропроводку. Если Давид просил отвезти его на цементный завод или подсобить еще по какому делу, Вася никогда не отказывал. На заводе его любили и звали «Васей из каравана». Своей жизнью Вася был доволен. Дома он говорил:

— Бывало, у нас в отделении милиции Израиль ругали. Вроде как агрессор он, оглол империализма. А я здесь, между прочим, за час две поллитровки зарабатываю.

Платили Васе восемь шекелей в час, а простая водка в то время стоила меньше четырех.

Ранним вечером, когда солнце садилось за оливковую рощу, Вася выносил из каравана баян, садился на скамейку и, перебирая лады, пел приятным баритоном: «Степь да степь кругом. Путь далек лежит. В той степи глухой замерзал ямщик».

Еще было жарко, и поселок был пуст. Васю слушали оцепеневшие от зноя пыльные серебристые оливы. С холма песня летела вниз вдоль пальмовой аллеи, которая шла к морю. Позже, когда жара спадала, и на темнеющем розовом небе выступали звезды, на скамейку подсаживались соседи. Вася пел тогда частушки, подслушанные в поселке:

Как из вашего окна
Иордания видна,
А из нашего окошка
Только Сирия немножко.

Все бы хорошо, да был у Васи недостаток. Пил. И, если уж запивал, то по-черному. Тут его и узнать было нельзя. Не то,

*Склад (ивр.)

чтобы он крепко бил Свету и тещу, а выгонял их из дому и орал на весь поселок:

— Бизона, бизона!* Я вас всех, ляди, на чистую воду выведу, всех под статью подведу!

В эти хмельные часы он был убежден, что теща содержит публичный дом, а жена в нем работает. Когда он расходился совсем, из своего каравана выбегала соседка Фаина и давала отпор:

— Сам ты бен зона, мент вонючий, мусор! Будешь орать тут — замочу!

Когда он запивал надолго, в поселок приезжал Давид и уговаривал Васю выйти на работу. Вася молча выносил из каравана стол, расстилал на нем газету «Едиот Ахранот», ставил бутылку водки «Кеглевич» и нарезал на газете крупными кусками сало и селедку. И сало, и селедку Света покупала в Ашдоде в русском магазине. До встречи с Васей Давид вина в рот не брал. Выпив и закусив, черный марокканец начинал разговор:

— Эйфо Света?***

— Бизона, — уклончиво отвечал Вася.

— Бат зона,*** — поправлял Давид.

Вася напивал еще по стакану и предлагал:

— Давай по новой.

— Ху из ным, — соглашался Давид.

Кроме «бизона» Вася знал на иврите еще несколько слов. Давид по-русски тоже усвоил немного.

Через какое-то время Васина мать в Гомеле серьезно заболела, и Вася поехал ее навестить. Там с ним случилось несчастье. Возвращаясь ночью домой, он, пьяный, свалился и замерз Утром окоченевший труп нашли у самой калитки дома. А в Ашдоде, на берегу Средиземного моря, Давид продолжал пить и спился окончательно. Он продал дело и сейчас работает поваром в Реховоте в институте Вейцмана.

СТРАННОЕ СБЛИЖЕНИЕ

Ту осень, будучи гостем Иерусалимского университета, я жил в самом начале улицы Яффа, рядом с отелем «Цезарь» и недалеко от знаменитого рынка Махане Иегуда. Эта длин-

ная улица проходит через весь город и оканчивается у Яффских ворот старого Иерусалима. Вблизи стен старого города улица вполне современна: высокие дома из белого камня, витрины, тротуар, выложенный гладкими каменными плитами. Но там, где я жил, узкая грязная улица Яффа застроена ветхими домиками, лавками ремесленников, торговцев серебром, фруктами и питой. По улице быстро идут, казалось, бегут религиозные евреи, одетые во все черное: черная шляпа, черный лапсердак с хлястиком. Из-под лапсердака торчат тонкие ноги в черных чулках и черных башмаках. И только рубашка с расстегнутым воротом — кипельно белая. Чем ближе к рынку, тем черная толпа гуще. Издали кажется, что на перерыв распустили симфонический оркестр.

Однажды в пятницу ко мне приехала сотрудница университета Лена, чтобы повести меня на рынок и объяснить, что к чему. Лена давно переселилась из Москвы в Израиль и свободно говорила на иврите. Сейчас уже не помню, почему по дороге на рынок мы заговорили об алгебре и я спросил Лену, известно ли ей такое имя: Шафаревич. Академик Шафаревич, известный математик, много лет борется с русофобией и в наших российских бедах винит евреев, которых он называет «малым народом», Лена задумалась. Потом сказала:

— По-моему, это ваш друг.

— Да что вы, Лена! Как вы могли такое подумать!

— Простите, я спутала с Шендеровичем. А Шафаревича я не знаю.

Помните слова Пушкина о странных сближениях? Сразу после этого разговора у меня состоялась удивительная встреча

Показав мне рынок, Лена оставила меня одного. Я спешил сделать покупки. По рынку ходил бородатый старик с длинными завитыми пейсами, одетый во все черное. Из-под черного сюртука неряшливо свисали нитки цицота. На голове — круглая меховая шапка. Старик трубил в рог, шофар. Приближался субботний праздник, шабат, рынок закрывался, и резкий пронзительный звук шофара напоминал об этом. Старик подошел ко мне и что-то сказал на иврите. Я ответил по-английски, что языка не знаю и что недавно приехал из Москвы. Тогда старик на хорошем английском спросил меня, собираюсь ли я в этот вечер в синагогу. Я ответил, что в синагоге

* Бен зона - сын проститутки (ивр.)

** Где Света? (ивр.)

*** Бат зона - дочь проститутки (ивр.)

никогда не был. И что в Москве иногда хожу с женою в церковь. Старик в отчаянии воздел к небу руки и долго сокрушенно качал головой. Одна его рука была свободна, в другой он держал шофар. Когда он успокоился, я спросил, зачем в жаркую погоду носить меховую шапку. Старик ответил, что шапку зовут штраймел. И что в кругу выходцев из Польши она считается знаком учености и знания талмуда. Мы разговорились. Старик спросил о жизни в Москве, о моих родителях. Сказал, что его отец и мать и он сам родились в Иерусалиме, и что его зовут Бен Шофар. Деда по отцу звали Шофаревич. Дед говорил по-русски. Он в конце прошлого века приехал в Америку из польского города Белостока.

Бен Шофар собирался отойти и снова затрубить в свой рог, когда я напоследок спросил, нет ли у него родных в Москве и вообще в России. Оказалось, что нет. Я пожелал ему счастливой субботы, и мы распрощались.

ИЕРУСАЛИМ

Это не город. Это мировая история в камне. В белом камне. И еще это напоминание о вечности. Пушкин, цитируя Байрона, говорил, что нельзя писать о стране, в которой не побывал и не прожил часть жизни. Думаю, что если прожить в Иерусалиме очень долго, все равно о нем не напишешь. Потому что Иерусалим — это не город и не страна. Это единственное место на земле, где смертному человеку открывается бессмертие.

Впрочем, кому открывается, а кому — нет. Ведь город этот все еще стоит на грешной земле. Если вы богатый турист и у вас в кошельке полно долларов, вас провезут на осле от Гефсимании до шумного восточного базара на виа Долорозо и постараются всучить побольше всякого туристского хлама. Там, на виа Долорозо, на крестном пути к Голгофе, в тесной толпе ваш набитый долларами кошелек могут и украсть...

Булгаков унес с собой тайну. В «Мастере и Маргарите» он описал один день древнего Ершалаима, один день весеннего месяца нисана. Описал, не увидев этого города ни разу. И вот, бродя по Иерусалиму, я ловил себя на мысли, что срав-

ниваю. Сравниваю то, что вижу, и то, о чем читал в романе. Роман стал путеводителем.

Вот крепость Антония, где жил Понтий Пилат. Вот колоннада, где он в белом плаще с кровавым подбоем допрашивал Иешуа Га-Ноцри. Вот, похоже, старый фонтан. Он высох, больше не поет. Здесь, у фонтана, в кресле на мозаичном полу сидел Понтий Пилат. Мозаики нет, наверное, не сохранилась. Сюда, к фонтану, прилетала всеведущая ласточка. Сегодня что-то ласточек не видно... Может быть, из-за осени. Стоит октябрь, а тогда, «четырнадцатого числа весеннего месяца нисана», ласточки кормили птенцов. А может быть, потому что сейчас им негде вить гнезд: над колоннадой нет крыши, у колонн нет капителей. Помнится, что у той самой ласточки гнездо было где-то за капителью колонны... А колонны и вправду чуть розовые, как в романе. У которой из них стоял Иешуа? Сейчас утро. В романе тоже было утро и солнце «подползало к стоптаным сандалиям Иешуа». Может быть, по солнцу и определить ту самую колонну? Да нет, тогда колоннада была крытой, и потолок над ней был золотым. А сейчас синее небо над головой, и вся колоннада залита солнцем... Да что это со мной, о чем я думаю? Что за наваждение! Ведь с тех пор прошло две тысячи лет... Но где и как все это увидел Булгаков? Прочел у Флавия? У Флавия этого нет, нигде этого нет и быть не может. Увидел во сне? В вещем сне в коммунальной квартире жилтоварищества на Садовой? Как известно, в этой московской коммуналке случались чудеса.

...Крепость Антония хорошо видна с горы, с того места, где синедрион приговорил Иешуа к смерти. Я смотрел с этой горы на Святой Город и думал, что вот также Волянду открылась Москва с крыши дома Пашкова. Кстати, почему Москву до сих пор зовут белокаменной? Была когда-то. Сейчас белокаменный Иерусалим...

Потом я вспомнил, как Иешуа, избавив Пилата от мучительной головной боли, предложил ему вместе погулять в садах на Елеонской горе. Он хотел поделиться с прокуратором Иудеи своими мыслями. И, кто знает, не стал бы жестокий прокуратор его новым учеником. А у Пилата возникли свои планы. Он был умен и практичен. Он подумал, что перед ним великий

врач. И в его ясной, остывшей от боли, голове возник план сослать Иешуа в свою резиденцию в Кесарии. Ведь там великий целитель был бы рядом, и навсегда избавил его от ужасной болезни гемикрании. Я вспомнил нашу прогулку по Кесарии, мраморные колонны и плиты дворца на берегу моря. И здесь было где прогуляться им двоим... Но вот ласточка неожиданно влетела на балкон, срезала круг над фонтаном, скрылась за колонной, и в то же мгновение секретарь подал Пилату кусок пергамента. Иуда из Кириафа доносил об оскорблении кесаря. И вместо прогулки по Кесарии или в садах на Елеонской горе Пилат отправил Иешуа на казнь на Лысую Гору. Все произошло так, как и должно было произойти, да и не могло произойти иначе, и всеведущая ласточка бдительно несла свою службу.

Я прошел по дороге на Елеонскую гору. Может быть, когда-то здесь и цвели сады, теперь их нет. Дорога круто поднимается вверх от древних гефсиманских олив, нынче окруженных высокой железной оградой. Слева — пустырь, камни, редкие кипарисы и оливы, справа невысокий каменный забор, из-за которого виден сосновый и оливковый лес, и зеленые луковки русской церкви Святой Магдалины. С Елеонской горы хорошо видна городская стена с Золотыми воротами и древнее еврейское кладбище, белыми террасами спускающееся к ущелью Кедрона. Оно похоже на здешние города в пустыне. Города живых и города мертвых... На город опустился шараф, а с моря пришла мгла. Мгла закрыла солнце и за серой пеленой исчез, потух золотой купол мечети Омара. Я подумал, что сады отцвели здесь навсегда, а вот шараф свирепствует по-прежнему. Также как в тот самый день, точнее, к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана. Стало быть, и шараф, и тучи с моря приснились Булгакову: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город... Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете».

Через год я встретил Гену Розенмана на международной конференции в Голландии. Он, как всегда, сделал там прекрасный доклад. После доклада я прочитал ему эти

несколько страниц из моего израильского дневника. Спросил его мнение. Гена помолчал, потом сказал:

— Вы знаете, как я вас уважаю... Но что вы написали? Подумайте сами... были в кибуце. Вы видели энтузиазм людей, сады, возвращенные в пустыне. Где это у вас? Где передовая наука? Где образ строителя новой жизни, нового государства, о котором евреи мечтали тысячи лет? И эта русская княгиня, принявшая гиюр... Как ее? Нарышкина? Это не типично. А ваши местечковые герои... И при чем тут Иисус? Извините, но вы льете воду на мельницу...

Тут один немец прервал наш разговор, чтобы передать мне чье-то поручение. Я отошел, а когда вернулся, Гена водил пальцем по графику на плакате и с присущим ему энтузиазмом объяснял кому-то свою работу. Разговор мы так и не закончили. Я часто вспоминаю Гену. С его способностями и энтузиазмом в старое советское время он мог бы быть еще и литературным критиком. Даже будучи евреем.



Тобайес ВОЛФ

САМЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Перевод с английского Лии Левиной-Бродской

В назначенное время ему надо было быть в похоронном бюро и ему не терпелось выйти на улицу. Умирала его мать, здесь, дома, в своей постели, при нем, как она хотела. Он вкладывал ей в рот крошечные кусочки льда. Единственное, что еще он мог для нее делать. Сейчас она, казалось, опять уснула, но перед тем как решиться уйти, он все-таки заставил себя немного подождать.

Он уселся на диване, на котором проводил теперь ночи, и стал листать один из ее фотоальбомов. Мальчиком он любил именно этот альбом больше всех других, потому что здесь его мать была девочкой, в цвета сепии мире платьев со складками, купальных костюмов в оборках и больших, шестиместных открытых автомобилей. Вот она на первом причастии, точный портрет его собственной

дочери. Сходство вызвало в нем тоску по дому, так они были похожи. Мать стоит, подняв глаза к небу в елейно благочестивой позе, наверняка, подсказанной фотографом, потому что ни елейность, ни благочестие не были присущи ее характеру. Она всегда относилась с явным недоумением к его приступам религиозности.

Вот она немного постарше, на корме корабля, рядом с ней — ее хрупкая, нежнолицая мать и отец, низкорослый мужчина в морской форме, со сложенными на груди руками, этот хрен моржовый. Неумный резонер, скряга, скандалист. Когда ее мать умерла, он заставил дочь бросить школу и превратил ее в домашнюю рабыню. В семнадцать лет она бежала из дому, после того как он стрелял в мальчишку, который дожидался ее, спрятавшись у них на заднем дворе. Она редко говорила об отце и всегда, поджав губы. На его похоронах ее лицо не выражает ничего, кроме редкостной, откровенной холодности, почти триумфа. Зачем, вообще, она пришла? Просто, чтобы самой убедиться?

А вот и эта, самая лучшая, его мать стоит перед длинной доской, воткнутой в песок на Вайкикском пляже на Гавайях, где ее учил кататься на волнах сам принц Каханамоку. Тонкая, прелестная, она позирует перед аппаратом почти с бравадой, побуждающей его сейчас пристально взглядываться в нее. Она была самым большим другом его юности, эта беззаботная красотка. В его присутствии, (он обычно подначивал ее), поднимала ставки в игре, гоняла их мрачную машину по дорогам страны под любым предлогом — хорошая погода во Флориде, надежда разбогатеть на урановых разработках в Юте, необходимость избавиться от неприятного ухажера. Всякое движение воспринималось ею как движение ввысь.

Он уже опаздывал на свое деловое свидание. Конец дня, пятница, если он не уйдет сейчас, ему придется дожидаться понедельника. Мысль о том, что он не выйдет на улицу, вызвала у него почти панику. Он постоял над матерью, глядя на ее тонкие, белые волосы, туманность над черепом. Ее плечи поднимались и опускались с ее коротким скрипящим дыханием. Он пошептал над ней. Подождал, пошептал опять. Ничего.

Выйдя из квартиры матери, он зашел в комнату медсестер и попросил Фелицу, дежурившую молодую женщину, время от времени заглядывать к матери и давать ей кусочки льда, если мать проснется до его прихода. Фелица кивнула, но он почувствовал ее нежелание. Она была новенькой и боялась привыкшего к наркотикам тела его матери, так же, как и он сам. Этим утром, когда они вдвоем обтирали губкой тело матери, он заметил в Фелице робость и заподозрил, что она заметила то же самое и в нем.

— Пожалуйста, — сказал он, — я не надолго.

— Да, хорошо, — сказала она, уклонившись от его взгляда.

Господи, как хорошо вырваться отсюда — включить зажигание взятой напрокат «миаты», цвета красного леденца на палочке, и дать полный газ, ощущая солнце на своем лице. Транспортный агент, оформлявший ему полет в Майами, заказал для него по сбавленной цене среднего размера «бьюик», но выйдя из аэропорта в теплый вечерний воздух, он загорелся идеей взять машину с открытым верхом; а когда он вошел обратно в аэропорт и красивая кубинка, за конторкой проката машин сказала ему, что у них есть «миата», он, не задумываясь, согласился, хотя машина была неоправданно дорогой, и принимая во внимание причину его приезда, пожалуй, слишком нарядной.

Он никогда раньше не водил спортивной машины, и ему понравилось сидеть близко к земле и под открытым небом. Все часы, проведенные в затемненной, пахнущей лавандой комнате, он помнил о стоявшей снаружи машине, и мысль о ней была ему приятна.

Не многое мог найти он приятным, и менее всего — долгие часы бесполезного свидетельства умирания матери — не будучи в состоянии пробудить в ней никакого отклика, не зная, ни что сделать, ни что сказать. Желать ей умереть, покончить с этим? Он ощущал свое униженное положение, как в ту ночь, когда обшаривал квартиру в поисках ее драгоценностей. Он сделал это после того, как директор одного похоронного бюро сказал ему, что другие, кто имеет доступ, — няньки, служащие по дому — позаботятся об этом. «Такое случается постоянно», — сказал этот человек печально. Это было от-

вратительным делом — шарить по ящикам, на полках, пока его мать, свернувшись калачиком, лежала в своей кровати. Время от времени она вздыхала, и он замирал, как вор, сдерживая дыхание, с рукой в кармане ее костюма или под пачкой свитеров. Все оказалось на месте, во всяком случае, все, что он помнил, и ничто не стоило быть сворованным — его дочь будет надевать что-нибудь из этого, придумывая наряды в своих играх. И он только получил лишний повод чувствовать себя морально униженным перед этими низкооплачиваемыми женщинами, которые смотрели за его матерью, симпатизировали ей и теперь просто и беспомощно печалились о ней.

Похоронное бюро находилось в нескольких кварталах от дома. Четвертое похоронное бюро, которое он намеревался посетить. Его требования — самые элементарные: кремация, прах в стандартной урне, заверенные бумаги о смерти. Его мать хотела быть кремированной и, определенно, одобрила бы его намеренье сравнить цены. Она сама с жестокосердным пренебрежением относилась к благоговейному трауру. Через две недели после смерти ее последнего мужа она отправилась в путешествие на корабле по Эгейскому морю. Когда ее чау-чау, Магси, бывшую для нее дорожке любого из мужей, переехал грузовик, она купила, чтобы отметить на своем заднем дворе место захоронения собаки, в натуральный размер скульптуру, но не чау-чау, а эрдель-терьера, приобретя ее по случаю, за бесценок, поскольку человек, заказавший эту скульптуру, почему-то от нее отказался.

«Гролье и сыновья, колониальная* мемориальная капелла» выглядела, как испанская миссия, и это его немедленно насторожило. Кто, кроме понесших тяжелую утрату, оплачивал эту декоративную, покрытую керамической плиткой крышу с имитацией звонницы? Он уже успел выяснить, что за одни и те же услуги, цены колебались от одиннадцати до восемнадцати сотен баксов. Интересно проверить, каковы нервы у Гролье с сыновьями?

В дверях его встретила высокая женщина в черном костюме. У нее были коротко остриженные черные волосы,

*Аллюзия на времена, когда Америка была колонией Великобритании (примеч. переводчика).

с седой полоской над одним виском, и губы, покрашенные темно-бордовой помадой. Она смотрела на него так пристально, пока они представлялись друг другу, что он занулся на собственной фамилии и тут же забыл ее имя.

— Входите, — сказала она, и он последовал за ней по коридору в трене духов с чуть подмешанным запахом пота. В здании было прохладно, и не раздавалось ни звука. Полнейшая тишина. Женщина сказала, что никого, кроме нее, нет, все — при исполнении своих обязанностей. У них сегодня двое похорон, и она покинула вторые похороны, не дожидаясь конца, чтобы успеть встретиться с ним. Если она кажется ему ... как бы это сказать ... неподобающей, да, неподобающей ... то это потому, что она застряла в большом движении и только сию минуту вошла, волнуясь, что уже опаздывает. Она боялась, что он мог уйти. С ее стороны так непрофессионально! Но, по-видимому, он и сам опоздал? Не так ли? Так что они квиты. Никто не в обиде.

Женщина провела его в маленький кабинет, и когда они уселись, стала слушать описание состояния его матери и что бы он хотел от них. Пока он говорил, она пристально смотрела на него своими темными глазами. Он опять почувствовал неловкость от ее упорного взгляда.

— Это самое трудное время, — сказала она. — Мой старый папенька умер в прошлом году, и я знаю, как это нелегко. Вы были близки со своей матерью?

— Мы были близки.

— Да, я вижу, — сказала она.

Он спросил, сколько «Гролье и сыновья» берут за те услуги, которые нужны ему.

— Итак, — сказала она, — к делу. Несколькими привычными рывками она сняла с себя черные перчатки. Скинув жакет, она взяла из корзинки на столе напечатанный лист и стала отмечать фломастером разные строчки. У нее были пухлые пальцы, без всяких колец. Конечно же, — перчатки. Блузка на ней была без рукавов, и его поразила белизна ее рук. Ее зовут Эльфи. Он вдруг вспомнил так же внезапно, как поначалу забыл. Эльфи. Имя не шло к ней. В ней не было ничего от эльфа, ничего легкого или неуловимого. В этой маленькой комнате он явственно чувство-

вал сквозь духи ее запах, более соленый, чем кислый. Ее груди натягивали материю блузки, ее руки были тяжелыми и округлыми, не толстыми, но полными сорокапятилетней-пятидесятилетней полнотой. У нее был большой, почти вульгарный рот. Она морщила губы, пока подсчитывала свои цифры, затем отложила в сторону бумагу и откинулась в кресле.

— Вы можете найти что-нибудь более для вас подходящее, — сказала она. — Я могу порекомендовать вам другие похоронные дома, которые больше вас устроят.

Он бросил взгляд в нижний угол листа. Двадцать три сотни. Он не позволил себе выразить никаких эмоций.

— Я подумую, — сказал он.

— «Гролье и сыновья, колониальная мемориальная капелла» — это обслуживание по высшему разряду. Все — по самому высокому классу. Вы хотите похоронить вашего дедушку в лодке викингов — вы идете в «Гролье и сыновья, колониальную мемориальную капеллу». Не смейтесь. Я могла бы рассказать вам немало историй. Ах, стыд-позор! Простите, что я до сих пор не предложила вам ничего в такую жару. Апельсиновый сок? Минеральную воду?

Он подумал было отказаться, но ему захотелось апельсинового сока, и он сказал об этом.

— Или пива? У меня есть пиво.

Он заколебался.

— Хорошо, — сказала она. — Я присоединюсь к вам. Она откатила свое кресло к маленькому холодильнику в углу. — Вода, — сказала она, — шаря на полке. — Вода, вода, вода.

— Вода, очень хорошо.

— Нет, слишком поздний час дня для воды. Пойдемте.

Она повела его дальше по коридору и ввела в большой кабинет, обшитый темной деревянной панелью и обставленный, как джентльменский клуб. Восточные ковры. Красный кожаный диван, такие же кресла, книжные шкафы, уставленные книгами в кожаных переплетах. Эльфи указала ему на кресло. Она взяла бутылку и два высоких стакана из встроенного в панельную стену холодильника. Аккуратно налив пиво, она подала ему стакан и сама уселась за

массивный письменный стол, уставленный фотографиями в серебряных рамках.

— *Салют*, — сказала она.

— *Салют*.

Она выпила все одним долгим глотком и языком облила губы. Затем, резко наклонившись вперед, положила одну из фотографий лицом на стоп.

— Хорошее, — сказал он.

— Чешское, «Пилзнер». Лучшее.

— Вы чешка?

— Вы бы сочли меня японкой, если бы я предложила вам «Асахи»? Нет, я из Wien. Вы когда-нибудь там бывали?

— Дважды. Красивый город. Он почувствовал удовольствие от своего знания, что Wien — это Вена.

— Я полагаю, вы ездили из-за оперы.

Он ощутил искушение соврать, но передумал.

— Нет, — сказал он. — Я не люблю оперу.

— И я не люблю. Мне кажется опера нелепостью.

Она протянула руку и перевернула другую фотографию.

— И как это вы кончили этим местом?

— Майами, США? Или «Гролье с сыновьями, колониальной мемориальной капеллой»?

— Тем или другим. Обоими.

— Это долгая история.

— А, старый прием Иностранного Легиона*.

Она вскинула голову и посмотрела вопросительно.

— Когда спрашивают легионера о нем самом, он всегда говорит: *Это долгая история*. У них обычно истории, которые не выносят детальных расспросов.

— Как у нас у всех.

— Как у нас у всех, — сказал он, не испытывая неудовольствия, что она может подумать, что и он обладает подобной историей.

— Вы были легионером?

— Я? Нет.

— Но вы были солдатом. Я это вижу.

— Очень давно.

*Французская наемная армия, состоящая преимущественно из иностранцев, в традицию которой входит хранить в секрете прошлое своих солдат и офицеров (*примеч. переводчика*).

— О, очень давно! Вы такой старый.

— Тридцать лет назад.

— Это оставляет след, — сказала она. — Я всегда могу сказать.

— Действительно?

— Всегда.

Они разговаривали так, и все время ему казалось, что они ведут другой разговор. В этом параллельном разговоре он сказал: *Мне нравится ваш способ разговаривать*, а она сказала: *Я знаю, что вам нравится, и что еще вам нравится?* Он ответил: *Мне нравится ваш рот и как вы смотрели на меня из-за стакана, пока вы пили пиво*, а она сказала: *Со мной случаются минутные слабости, и я думаю, вы могли бы стать одной из них, ну как?*

Он знал подобного рода ситуации и раньше, время от времени, когда был моложе. Теперь он ощущал подобное реже, а если ощущал, склонен был сбрасывать со счета как желаемое, принимаемое им за действительное. Очень скоро он будет смеяться над собой, что вообразил себя объектом вожделений этой женщины, по сути дела, всего лишь немного поболтавшей с ним в конце долгого жаркого дня, и наслаждавшейся — игриво, — это правда, — его интересом, который он не мог скрыть.

Так он будет смотреть на это позже, оставляя *некоторое* место для неуверенности, естественно. Но в данный момент у него не возникало сомнений, что он в самом деле был ее теперешней слабостью, что встань он, сними очки, она улыбнулась бы ему: *Да, и что?* Он не сомневался, что если бы он обошел стол, она бы встала и встретила его со своим беспутным ртом и опустилась бы с ним на пол, на этот красивый восточный ковер, с рукой на его ремне, ее дыхание обожгло бы ему ухо — *А, мой легионер!*

И почему бы нет? Оба они реалисты, оба ненавидят оперу, и оба знают, что ожидает их через двадцать, тридцать лет, если не завтра. Почему бы им не скинуть одежду и не сойтись друг с другом, и не заняться любовью — нет, не любовью, совокуплением! Как победители при свидетельстве земли и неба, просто потому, что хотят этого, без всяких мыслей в голове, кроме: «да, да, да!»

Все, что ему надо сделать, это снять очки и встать.

Почему же тогда он не сделал этого? По разного рода причинам, разумеется: давняя привычка верности, если и не настоящая добродетель; абсолютная вера в отца его дочери; может быть даже, детское чувство стыда перед Всевидящим, в которого он как-то лениво верил. Любая из этих причин могла оказать влияние за горизонтом его сознания. Но что он *осознал*, и мгновенно, так это раздражение, обнаружив себя играющим роль в неприятной ему пьесе, пьесе Фрейда. Фрейд! С какой стати ему было думать о Фрейде? Однако он видел перед собой венского всезнайку, поглаживающим себе бородку в самодовольном узнавании разыгрываемой перед ним роли: желания отдаться Эросу, — чтобы уничтожить страх смерти. Великий Толкователь имел бы классический пример в подтверждение своей теории: и похоть перед лицом смерти, и возникшее вдруг утонченное наслаждение от пищи и питья, и образовавшаяся привычка поздно ночью исчезать из материнской квартиры и ездить вдоль Коллинс-авеню в красной спортивной машине, глаза на девиц в обтягивающих платьях и на высоченных каблуках, переходящих из одного клуба в другой покачивающейся, фокстротной походкой.

Он увидел себя, так сказать, персонажем самого истощающего и унизительно хрестоматийного клише. Это оскорбило его. Это остудило его. Он допил свое пиво, поблагодарил женщину за потраченное на него время и пожал ее руку у двери кабинета. Он настоял, чтобы она не провожала его; тогда она не будет за его спиной наблюдать, как он, пересекая пустую стоянку для машин, направляется к своей «миате».

Приближаясь к квартире матери, он услышал высокие голоса женщин, говоривших по-испански. Дверь в квартиру была открыта. «Нет,— подумал он,— нет, не в мое отсутствие». Но мать была еще жива; она умерла только поздно вечером, в то время как он вышел съесть на этой же улице тарелку жареных бананов. Сейчас, когда он вошел, она металась между Фелицей, холодно посмотревшей на него, и женщиной постарше, по имени Роза. Его мать кричала одно и то же слово:

«Папа!» «Папа!» Ее открытые глаза не видели. Роза протяжно напевала ей что-то по-испански, пока Фелица пыталась держать ее руки.

— Папа!

— Он здесь, — сказала Роза. — Ваш папа здесь.

— Папа!

Роза посмотрела на него, умоляюще.

— Я здесь, — сказал он, и мать, откинувшись на спину, взглянула на него. Он занял место Фелицы, с боку на постели. — Я здесь, — сказал он и погладил материну руку. Рука была косточками, обтянутыми кожей.

— Папа?

— Все хорошо. Я здесь.

— Где ты был?

— На работе.

В комнате был полумрак. Обе женщины двигались, за его спиной, словно тени. Он услышал, как захлопнулась дверь.

— Я была одна.

— Я знаю. Теперь все хорошо.

— Ты здесь.

— Я здесь.

Ее пальцы сжались на его пальцах.

Он уже не умел быть сыном, но он все еще умел быть отцом. Он держал ее руку в обеих своих.

— Все хорошо, моя любовь. Все будет хорошо. Ты — моя единственная, моя сладкая, моя хорошая девочка.

— Папа, — прошептала она и закрыла глаза.



Римма КАЗАКОВА

ВОПРЕКИ

Мне говорили: нервы береги!
И не мудрили: напряги мозги,
гльпть по теченью — и верней, и проще...
Есть правила пути, закон реки.
Зачем наперекор и вопреки,
не прямо, а зигзагом и наощупь?

А я бесспорных не люблю вещей.
Не выношу уверенных речей.
И ничего не ясно там, где ясно.
Любой предмет попробовать на зуб,
испить до дна, познать —
безумный зуд,
неизлечимо жалящая язва!

Должно быть, так художнику велит
все, что молчит, печалится, болит, —

не узнано, не признано, забыто.
И вот, дорожным знакам вопреки,
талантливые ищут дураки
в болоте слез того, чья карта бита...

Пьяняще, как гитары перебор,
зовет перемахнуть через забор
мой каждый день, такой обычный, вроде.
И музыки его упрямый хор
звучит не в лад, кричит наперекор
и вопреки приличьям и погоде.

Мне, может, до конца и не понять:
зачем прямую линию ломать,
внезапно усомнившись в деле правом?
Зачем в конце успешного пути
совсем в другую сторону грести
наперекор соображеньям здравым?

Но знаю: в громыханье жарких ссор
к согласию приводит честный спор,
раздор, а не когда все в меру, впору.
И чья-то доля — жить наперекор,
терпя непониманье и укор,
навстречу ветру, вопреки укору.

Роняет календарь свои листки.
Буравят грунт зеленые ростки.
И, не мирясь с указом и указкой,
иду наперекор и вопреки,
чтоб на холсте веселые мазки
намалевало время новой краской.

Там, где и камень расплавится,
мне приходилось встречать
зло, не способное каяться,
каинову печать.

Там не слышна Божья лютня,
там не темно, а серо.
Значит, и зло абсолютно,
как абсолютно добро.

Демон и ангел хрустальнейший —
двое в смертельном бою.
Кто победит в том ристалище,
зная лишь правду свою?

Я не оракул пророчества,
слепо рискну головой.
Но, даже если захочется
выйти из схватки живой,

буду без сна и без жалости
биться, чтоб мне повезло.
Знать бы лишь только: сражаешься
ты за добро или зло?

Когда я маленькой была,
я помню: жарко было
и, жизнерадостно гола,
я в трусиках ходила.

А взрослых аж кидало в жар,
их зной сжимал в объятьях,
и мне их было очень жаль
в их пиджаках и платьях.

Теперь, как правила велят,
прилично я одета,
и косточки мои болят
от жарких вздохов лета.

И лишь когда со мной любовь,
а не над умной книжкой,
я становлюсь с восторгом вновь
малышкой и голышкой.

Светло или темно,
само движенье — чудо.
Не думаю давно:
куда или откуда?

А просто пью и пью
бесценные мгновенья
и колкий жар ловлю,
пульсирующий в вене.

И даже боль дает
свидетельство на деле,
что прежний дух живет
в слегка усталом теле.

Любовь моя щедра,
она, как вечность, длится,
она спешит с утра
на целый мир пролиться.

Пусть будет торжество
громады и осколка!
Неважно: отчего,
а важно: что и сколько.

Веселые дела!
Быть добрым не постыдно.
И я свой путь нашла
и многое постигла.

И зря не очерню:
будь лев ты или мушка...
Неважно: почему,
а важно: потому что.

ЗАЩИЩАЮСЬ

Р. Рудашевскому

С пестротой своей жанровой
время нас не голубит,
век упорно не жалуется...
А сосед меня любит!

Тот есть, как и желаемо,
нет добрей и верней.
И ключи я дала ему
от квартиры моей.

А еще продавщица
из отдела молочного
на концерт протащиться
жаждет так озабоченно.

Я ей выдам билетик,
подарю свою книжку
и ничем не унижу
в барахолке столетья.

А еще эти птицы —
на балконном перильце.
Да и небо: до мига —
неоткрытая книга.

В общем, Бог с ним, и с веком,
и со временем тоже.
Ведь себя человеком
ощущаю я все же.

И в карман опустевший
день червонцев нарубит.
И земля еще держит!
И сосед меня любит.

БОЛЬ

Ю.Карякину

Боимся боли. Даже пустяка:
болит ли зуб иль тихо ноет печень.
А боль — благой сигнал из тайника,
суровый знак, что ты не безупречен.

Нам проще спать, чем встать и — прямо в бой!
Нам легче в норке, чем во чистом поле.
Ах, если б мы умели слушать боль,
и слышать боль, и не бояться боли!

Что делать с болью? Как перенести?
Поймете, если с нею не порвете:
подскажет, что искать, куда идти,
укажет, что нуждается в ремонте.

От боли можно медленно сдыхать,
а можно вырвать боль по доброй воле.
Еще она умеет утихать,
коль сможете вы стать сильнее боли.

Боль — компас, боль — маяк в ночном
фугас в заплывшем ряскою застое.
Я с болью в сердце по земле иду.
Но пусть — больное, лишь бы не пустое!

РОДНАЯ РЕЧЬ

Мы рождены родною речью.
Она других не безупречней,
а лишь яснее и родней.
И суть земную человечью
мы постигаем с ней и в ней.

В раю, в чистилище, в застенке
до фоба, до расстрельной стенки
родная речь всегда жива!
И все души моей оттенки —
ее словечки и слова.

Когда пред ней себя склоняю
и слезы чистые роняю,
от этой красоты пьяна,
ликую, зная: речь родная,
хмельная, нами рождена!

Лепили, строили, строгали,
всем напряженьем окликали
и нарекали всем трудом.
В ней — наше ныне, наши дали,
она — отечество и дом.

И вот живем на белом свете
мы, как родители и дети,
и неизменно день за днем,
за каждый вздох и слог в ответе,
мы с ней друг друга создаем.

Какая сладкая работа!
 Как у врача, как у пилота,
 как взмах крыла, как тяжесть с плеч!
 От лет житейского болота
 спасает нас родная речь.

С ней, будто к брату, я кидаюсь
 будь он зулус или китаец —
 к любому, кто, подобно мне,
 владеет таинством из таинств
 в своей единственной стране.

Кто обо всем со мной хлопочет,
 захлеб по-своему лопочет
 про общее житье-бытье,
 понять и быть понятным хочет
 и сохранить во всем свое.

Везде — от трав до высей млечных —
 мы рождены родною речью.
 Она растопит в горле ком,
 она одарит нас, как вечность,
 бессмертным звездным молоком.

И мы дарить готовы сами
 и буднями, и чудесами,
 всю душу выплеснув до дна,
 в ребячьей жажде сдать экзамен,
 ту речь, что нами рождена!

ПИСЬМО ИЗДАЛЕКА

Обними меня, мой милый!
 Я письмо твое нашла.
 Извлекла, как из могилы,
 из далекого тепла.

Столько лет оно валялось,
 сохранив забытый миг,
 где бумаге доверялось
 все всерьез и напрямик.

Даже память не поможет
 оживить погасший пыл.
 Ты любил меня, быть может.
 Да не «может», а — любил!

И, хотя тобой забыта
 и забыт моей тоской,
 я поглядываю сыто
 на блудливый пол мужской.

Через все, что разломила,
 разгромила, разнесла,
 обними меня, мой милый!
 Потому что это было,
 и любовь
 у нас была.

Доктору В.Д. Григорьевой

В лечебнице для всех скорбящих
 мне нравился огромный банщик,
 ну а сказать точнее — ванщик:
 он ванны наполнял водой.
 Ходил он валко и кургузо,
 свое торжественное пузо
 воздевал над общею бедой.

А у болящих ныли кости,
 трещали костыли и трости,
 надежда тлела, чуть жива.
 Вставайте в очередь на ванну!
 Боготворите Мариванну!
 Она сурова, но права.

Смирялась костная разруха
 от лазера и ультразвука,
 терзал мучитель-костоправ,
 смущали ценные советы
 о вере в разные приметы,
 о пользе бесподобных трав.

Порой несчастье отпускало
и душу бедную ласкало
воспоминание, что ... он
любил... Любовь еще, быть может,
ходить по улице поможет
с простым прохожим в лад и в тон.

Врачам несли свои хондрозы,
артрозы, розы и мимозы,
угрозы, слезы и слова,
твердя себе в утешной злости:
и у страны — больные кости,
она горбата и хрома.

Ее недуг отметил грозный...
Стыдась осанки сколиозной,
она былую помнит стать,
скрипят, хрустят в преодоленье
ее ослабшие колени.
Как ей с колен навеки встать?!

Наверное, схожу с ума я
и, ничего не понимая,
смешной бальзам на раны лью
и вижу в снах, смешных, свербящих:
в целебных водах молодящих
купает добрый толстый банщик
больную родину мою.

А может, вправду воды, грязи
отмоют и отбезобразят
лик истины, лицо любви
и вся природа, вся погода,
все, что есть дух и суть народа,
вернется в берега свои.



Елена ИСАЕВА

НЕ МЕШАЙТЕ ЖИТЬ СВОИМ ЛЮБИМЫМ

Памяти Великой Княгини Елизаветы Федоровны

Да что ж она — дармштадская принцесса —
Могла бы изменить в моей стране? —
Где в очаге вселенского процесса
Внутри себя — любой — как на войне.
Где словно в прорву — красоту и нежность,
Где даже милосердьё и любовь
Не переселят эту безнадежность —
Террор, и революцию, и кровь.
Где вечно буераки и окопы,
Где ничего не знаешь наперед,
Где первая красавица Европы,
Смиренная, в монахини идет.
И кто б здесь только не искал дорогу,
Свернет он кверху, прочие забыв.
Куда идти в России, как ни к Богу?
Во все другие стороны — обрыв.

Быть может, лучше в Штатах вилла,
 Но от сравнений удержиись.
 Ведь ты сама себе варила
 И этот суп, и эту жизнь.
 Быть может, лучше в Аргентине —
 И в это искренне поверь.
 Но яркозубому мужчине
 Ты также открывала б дверь,
 И так же бы смеялась точно
 На авеню или на стрит,
 И так же плакала бы ночью,
 Проверив - крепко ли он спит.

Как оставить без ответа
 Фразу, брошенную залпом:
 «Ты пошла бы на край света,
 Если б я тебя позвал бы?!»

Как же объяснить, мой милый,
 Чтобы не смотрел нахмурясь?
 Я туда уже ходила —
 Постояла и вернулась.

Перебирали абрикосы —
 Варили на зиму варенье,
 И проходило воскресенье
 Не просто как-нибудь, а с пользой.
 Впуская в форточку прохладу,
 Я пенки желтые снимала
 И где-то как-то понимала,
 Зачем все это было надо
 Я знала, знала, что варенье
 Еще наслушается споров,
 Интеллигентных разговоров
 И философских словопрений,

За милую проскочит душу
 Под выгнанных и убиенных,
 И скажет мама непременно:
 «Поэтам тоже надо кушать».
 Его съедят, почти не глядя,
 Как оно дивно янтарится:
 «Да вы окститесь, Бога ради —
 В России страшное творится...»
 Подружка абрикос подцепит
 И ловко в рот себе положит
 «Ведь он меня совсем не ценит.
 Он — сволочь», — тихо подытожит.
 В отечестве темно и страшно.
 И так уютно в доме нашем.
 Чтоб было счастье полной чашей,
 Глотайте горе полной чашей,
 И эти баночки тугие
 Я растаскаю по больницам,
 Где будут гнить, а не лечиться
 Любимые и дорогие.
 И кто-нибудь из них без силы
 И как простое откровенье
 Мне скажет: «Вкусное варенье».
 И я скажу: «Сама варила».

Прости, что не легла дорожной пылью
 К ногам твоим, отвергнув благодать.
 Я не смогла б и дня прожить Рахилью
 И с завистью за Лией наблюдать:
 Как сыновей она тебе рождает,
 Как обжигает мясо на огне
 И как тебя ночами убажует,
 Хоть ты при ней тоскуешь обо мне.
 Нет лучше уж своя судьба другая.
 И муж, и сын. И звездный вечер тих.
 И я гляжу на звезды не мигая,
 И этим взглядом обжигая их.

А чтоб душа не маялась в пустыне,
Дитя смеется, зеркальцем слепя.
Прости меня, быть может, от гордыни
Из нас двоих я выбрала себя.

Не попытаюсь заглянуть
В судьбу свою по снам и звездам.
Но знаю, что когда-нибудь
Все будет хорошо и просто.
И я увижу дальний свет,
И дом, и ласточку над сливой.
И я пойму, что горя нет —
Есть неуменье быть счастливой.
Загляшут капли по листам.
Меня простят, как я простила.
И все со мною будут там,
Кого бы здесь не совместила.
И слезы, как дожди, звеня,
Уйдут в поля и водостоки.
И вы — любившие меня —
Не будете ко мне жестоки.

Сколько раз я этого боялась,
Чтоб вот так расцветивался мир! —
Чтоб сквозь боль, отчаянье, усталость
Из мужчины возникал кумир,
Чтоб менялись блики тьмы и света,
Вдруг преображая все и всех».
Я же знаю, отчего он — этот,
Этот неумный глупый смех...
Хорошо, что никуда не деться,
Что замки все сорваны, и вот —
В женском израсходованном сердце
Восьмиклассница вдруг оживет.
И случайным солнышком согрета
После всех Кассандр, Елен и Федр...
Господи, спасибо и за это!
Как же ты неистощимо щедр!

А жизнь — она ведь не пропала,
А только поздно началась,
Когда уже я ждать устала,
Когда смирилась и сдалась,
И не надеялась на милость...
Но победитель был такой! —
Что мне казалось: все случилось
С какой-то женщиной другой!
Да, все случилось, как хотелось
И как мечтать я не могла.
Жизнь закружилась, завертелась,
Как в детстве синяя юла,
Как аномалия в природе,
Как солнца к вечеру восход...
Случайный «Чардаш» в переходе
Волною счастья захлестнет,
И остановишься, устало,
Чтоб вдруг понять, оборотясь,
Что жизнь — она ведь не пропала,
А вдруг взяла и началась!

Ты! Появленье твое ударом
В грудь! Ты опять — ничей!
Сколько ночей пропадало даром!
Боже! Каких ночей!
Чайных, медовых, московских, выюжных,
Снег забелит висок,
И виноградных, цикадных, южных,
Словно вино в песок.
Словно уходит вода меж пальцев,
И не напиток, нет.
Самый пропащий из всех скитальцев,
Самый далекий свет.
Сколько же можно до дрожи в теле
Ночью бояться дня?
Сколько же можно, на самом деле,
Так не любить меня?!

Но никакая твоя измена
 Мне уже не страшна:
 Я не из тех, кто вскрывает вены -
 И без того грешна.
 Я промолчу - ты вернешься снова
 Что-то еще понять.
 Я-то ведь знаю, что только Слово
 Может судьбу менять.

Была весна. Я шла к "Новослободской".
 И месяц май, вступивший, словно альт,
 Блуждал во мне улыбкой идиотской,
 И солнцем пахнул треснувший асфальт.
 Я шла, на небо синенькое щурясь,
 Где арки оглушительный проем,
 И мне само собою вспомнялись
 Все те, с кем я бродила здесь вдвоем.
 Один, пропавший из виду с полгода,
 (Я вышла на дорогу, как в астрал),
 Вдруг вынырнул на радио "Свобода",
 Где свой красивый голос продавал.
 Другой, на популярность обреченный,
 Проделавший в ОВИРе чудеса,
 Теперь морочил головы ученым
 В одном из южных штатов Ю-Эс-А.
 По бабам и друзьям шатался третий,
 Грустя что не находит свой причал.
 Он не был, к сожалению, в ответе
 За тех, кого случайно приручал.
 Четвертый бился с язвою желудка
 И кипятил на кухне молоко.
 Он был поэт, и в коммуналке жуткой
 Его душа парила высоко.
 А пятый на гастролях был. Бездушный,
 Но совершенней не встречала тел.
 А по шестому плакала психушка -
 Он слишком сильно чувствовать умел.

Седьмой сидел на даче одиноко,
 И, не боясь заглядывать вперед,
 Писал он пьесу с точностью пророка —
 О том, как все со мной произойдет.
 Я их любила. Много или мало —
 Кто установит эту планку мне?
 Я шла к метро. Моя душа играла,
 Как солнечные блики на окне.
 Ну, отчего мы, господи, трепещем,
 Когда известен нам расклад любой?..
 И я ловила взгляды встречных женщин,
 Довольных солнцем, маем и собой.

Не мешайте жить своим любимым.
 Это так понятно и так трудно.
 Что застыли? Проходите мимо.
 Здесь ведь и без вас довольнолюдно.
 Не смотрите грустными глазами,
 Не молчите преданным молчаньем,
 Отпускайте, уходите сами,
 Оставляя пропасть за плечами.
 Как без кислорода, задыхайтесь,
 Но, давясь последними словами,
 За руки любимых не хватайтесь,
 Чтоб они не утонули с вами.
 Необъяснено, необъяснимо —
 Господи! — за что, за что такое?
 Не мешайте жить своим любимым,
 Умирайте, ради их покоя.

Когда я в какой-то витрине случайной
 С тобой отражусь,
 Такой незнакомой и необычайной
 Себе покажусь.
 Как-будто все это не может случиться,
 А только - в стекле.
 Как-будто я лишь начинаю учиться,
 Как жить на земле.

И словно впервые, всему поражаюсь
 И диву даюсь.
 И я хорошею, и преображаюсь,
 И не узнаюсь!
 Того, что с тобою я делаюсь лучше,
 Никто не лишит.
 И прошлое больше не жжет и не мучит,
 И будущее не страшит.
 Меня не пугают и желтая крона,
 И птиц перелет,
 И надпись на перстне царя Соломона:
 «И это пройдет».

Нарушив долгих дней закономерность,
 Я покупаю платье без примерки.
 Не надо проверять меня на верность.
 Я, может быть, не выдержу проверки.
 Я, может быть, не выдержу разлуки
 И побегу за первым за похожим,
 И буду говорить: «Какие руки...»
 А он мне будет говорить: «Какая кожа!..»
 И буду с ним ходить по ресторанам,
 Заказывая очень дорогое,
 Довольствуясь мучительным обманом
 И письмами тебя не беспокоя.
 И это платье розовое, в блестках
 Надену и пойду легко и гордо.
 Он раздражится, скажет: «Слишком броско».
 А я ему скажу: «Пошел ты к черту!»
 И он ответит мне такую скверность,
 Что даже не хочу запоминать я.
 Ведь я-то знаю, что такое верность —
 Ночь, музыка и розовое платье.

Не трави мне душу, не трави!
 Не заставляй рыдать ночами.
 Не такой хотела б я любви —
 У меня такая за плечами:
 Там, где безысходность и тоска
 Горло перехлестывали туго,
 Где себя искали по кускам,
 Вдребезги разбившись друг о друга,
 Где глухая мучила вина,
 Не давая счастья и покоя...
 Этого-то было дополна!
 Ты бы предложил чего другое —
 Ты бы предложил меня любить
 Без тоски, без боли, без надрыва,
 Чтобы я могла с тобою быть
 Беззащитной, глупой и счастливой!
 Ты бы предложил готовить щи.
 А на эти грусти и печали
 Ты другую дуру поищи,
 У которой счастье за плечами.



Ной РУДОЙ

ТЕНИ

Мне привиделся неандерталец
(Слава Богу, что это лишь сон) —
Поучительно поднятый палец
И такой назидательный тон...
Был и я среди многих страдальцев,
Осужденных внимать и молчать...
До чего же у неандертальцев
Велика эта страсть — поучать.

Пришла весна в полупустыни,
проснулись чахлые кусты,
И запестрели в этой стыни
Недолговечные цветы.
День прожили — одно мгновенье,
Всего до ранней темноты,
Как будто в этом запустенье
Своей стыдились красоты.

ТЕНИ

Человек, родившийся красивым, —
Почему ему не быть счастливым?
Этот дар он с детства получил,
Ничего пока еще не сделав,
Без вмешательства небесных сил,
А в случайном сочетанье генов.

Человек, родившийся уродом,
Сызмалу приговорен к невзгодам.
Этот крест он с детства получил,
Ничего преступного не сделав,
Без вмешательства небесных сил,
А в случайном сочетанье генов.

Но порою их судьбы несходство
В облике нежданном предстает:
Тихим счастьем светится уродство,
Красота тускнеет от невзгод.

Я чувствую невольный страх,
Теряя чувство ожидания.
Причина, видно, и в годах:
немилосердно увядание.
А ведь любил смотреть вперед —
В грядущий день, в грядущий год,
Где скрыта радость обещания...
Душа, когда уже не ждет,
Обречена на обнищание.

Прозреваешь. С годами уходит туман —
От беды бесполезное средство.
Много лет усыплял твою душу обман
И баюкал сознание с детства.
Но постигнув, что правда по сути одна,
Молвил старости, чуть ли не плача:
«Неужели ты немощью только страшна,
А не тем, что пронзительно зряча?!»

«Цель не оправдывает средства», —
 Ему внушали это с детства.
 Он к ней — заветной — напрямки
 Всегда с открытым шел забралом.
 Где можно, словом воевал он,
 Где в ход пуская кулаки,
 Хоть знал — неверная удача
 И тех способна привечать,
 Кто, кулаки в карманы пряча,
 Умеет всех перемолчать.

Что может быть стремительней ракеты,
 Космический корабль несущей ввысь?
 И физик тотчас бросит: «Скорость света!»
 Философ же воскликнет: «Только мысль!»
 Не отрицая утвержденья эти,
 Мы сознаем в преклонные лета,
 Что нету ничего быстрее на свете,
 Чем жизнь, что человеком прожита.

Меня ощущение бездомности
 Преследует непрестанно,
 Как будто в небесной бездонности
 Лечу и никак не пристану
 К планете, звезде иль туманности,
 Иль самой невзрачной комете.
 Неужто ни фана гуманности
 Уже не осталось на свете?
 С мольбою куда не потянешься?
 Молчание, все онемело.
 О, сжался и дай мне пристанище,
 Любое небесное тело!

Зима без снега, лето без дождей...
 Что для земли, для горемычной хуже —
 От зноя ли потрескалась, от стужи?
 Какая рана глубже и больней?

У каждого живого существа
 Свои заботы и свои невзгоды,
 Но в самые безрадостные годы
 Надежда, слава Богу, не мертва.
 С ней многое под силу превозмочь,
 Не упустить отрадную примету,
 Ведь даже нескончаемая ночь
 Неотвратимо движется к рассвету.

Конечно же года свое берут,
 Влекут тебя к развязке неминуемой.
 Подъем отвесный был совсем не крут,
 Теперь пологий кажется все круче.
 Убавить шаг, присесть, передохнуть
 Повелевает шумное дыханье,
 И обжигает ноющую грудь
 Заката ледяное полыханье...
 Держаться бы достойно до конца,
 Ни в жертву не играть, ни в мудреца.

То было в середине февраля.
 Куда морозы подевались, право?
 Зазеленели островками травы,
 Оттаяла до времени земля,
 И ласточки шептались меж собой:
 Природа, мол, сменила гнев на милость,
 И, наконец, (кому такое мнилось)
 Покрылись ветки робкою листвою.
 Но очень скоро сгнули зазря
 При первой стуже, не в пример растениям,
 Что верили не ласточкам весенним,
 Не травам, а листкам календаря.

Грустные осенние поля,
 Грустные осенние сады,
 Грустью вся засеяна земля,
 Словно в ожидании беды.

Столько раз ты падал с высоты,
 Столько настрадался с малых лет,
 Что не в силах отрешиться ты
 От дурных предчувствий и примет.
 А ведь надо научиться жить
 С верою, что близок час иной,
 Всем, чем обладаешь, дорожить,
 Даже пусть бессонницей ночной.

Природа не скупится на цвета.
 Я не о ливнях красок на экваторе,
 О тех, что, увидав в иллюминаторе,
 Ты восклицал: «Какая красота!»
 О крае говорю, где все мертво,
 Пустынно, в вековечный лед заковано.
 Ему навек природою даровано
 Полярного сиянья торжество.
 Стыдясь того, что всюду мерзлота,
 Что только худосочные растения,
 Природа словно ищет искупления
 И вот - не поскупилась на цвета.



Леонид ГОМБЕРГ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ РЕФОРМ И НАРКОТИЧЕСКОГО ДУРМАНА

Взгляд обывателя

НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ИДЕАЛИСТЫ, ИЛИ ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО ЧУБАЙСУ

Российские экономические реформы начались в январе 1992 года, когда назначенный Ельциным и.о. премьера Егор Гайдар ввел в стране свободные цены. Эта мера хоть и способствовала наполнению давно пустующих магазинов товарами, подхлестнула и без того разнузданную инфляцию.

Впрочем, и до Гайдара дела шли из рук вон плохо. В конце восьмидесятых последнее поколение советских вождей едва не ввергло страну в экономический коллапс: какие бы то ни было товары исчезли с прилавков, в то время как денежная масса бесконтрольно росла.

Обобранные до нитки россияне, потерявшие свои жалкие сбережения, накопленные за всю жизнь, попали в гайдаровс-

кий капкан капитализма, как кур в ощи́п. Это было уже изрядно потрепанное войско необученных и безоружных солдат, которых отчаянные командиры послали в бой с неведомой и гибельной стихией, что-то там промямлив про вхождение в цивилизованный мир.

Со времени внезапного и принудительного введения капитализма в России вплоть до августовского кризиса 1998 года в российской экономике случилось только одно примечательное событие — так называемая «приватизация по Чубайсу». Взамен трудовых сбережений людям раздали некие непонятные бумаги, издевательски названные «ваучерами», оценивавшие стоимость произведенного ими в течение всей жизни продукта примерно в килограмм колбасы среднего качества.

Впрочем, и этот суррогатный эквивалент вскоре был изъят по причине внезапно наступившего «момента истины». Оказалось, что никто не собирался шутить: в результате этой вселенской аферы у кого-то оказался металлургический завод, а у кого-то (разумеется, у подавляющего большинства) — шиш с маслом.

Опытные экономисты, вроде Гайдара и Чубайса, не могли не знать, что выдернутые из общей системы, отдельно взятые реформаторские акции, не подкрепленные другими экономическими и политическими шагами, неизбежно приведут к катастрофическим последствиям. Преодолеть пропасть несколькими прыжками, растянутыми на годы, удалось, разумеется, немногим.

Какие же мотивы двигали нашими отчаянными реформаторами? Да в общем-то, правильные. Они надеялись с помощью резких и решительных мер, во что бы то ни стало, как можно скорее сломать коммунистическую систему, сделать ее распад необратимым, а возврат к прошлому невозможным. Последовательное решение насущных экономических проблем могло растянуться до бесконечности. А это было опасно: коммунизм был еще силен, — ох, как силен! Реформаторы видели свою первоочередную задачу в том, чтобы, не взирая ни на что, срочно перераспределить собственность, выбив тем самым опору из-под ног старой госпартноменклатуры. Нашими новыми либералами двигали, как видим, вполне прагматические соображения (впрочем, скорее политические, чем

экономические). И надо сказать, своей цели они добились: коммунистический монстр был тяжело ранен и так и не смог больше оправиться.

Однако вместе с химерой социалистической собственности было сокрушено и само общество, зиждившееся на этой собственности, во всяком случае, значительная его часть оказалась на задворках нового социального устройства, которое досужие литераторы окрестили свободной Россией.

Никому из либералов гайдаровско-чубайсовского замеса и в голову не пришло задать себе простой вопрос: чем обернется их «шоковая терапия» для миллионов и миллионов сограждан? Идеалисты и прагматики коммунистического толка, какими были в ту пору (и даже в большой степени до сего дня остаются) наши либералы, никогда не думают о конкретном, отдельно взятом человеке — их он просто не интересуется. Как там у Маяковского: «единица — ноль...»

Сразу оговоримся: этот номенклатурно-прагматический идеализм никогда никому не мешал пользоваться общественными благами — дачами, персональными автомобилями, спецраспределителями и т.д., и т.п. — прежде, а сегодня, плюс к этому — круглыми счетами в иностранных банках, гонорарами за несуществующие книги и многими другими преимуществами, традиционно установленными в нашей стране для хранителей и распределителей национальной собственности.

Беда наших реформаторов в том, что они начинали свои карьеры при большевистском режиме, который по ошибке, по привычке или злему умыслу называют социализмом. Только мы могли позволить себе выиграть войну, принеся в жертву около 30 миллионов человек, и долгие годы с бездумным ликованием и щенячьим восторгом радоваться такой победе, и громко, не стесняясь, распевая, что нам, мол, «нужна одна Победа, одна на всех, мы за ценой не постоим...» И не постоили. Не постоили в Афганистане — на чужой земле. Да и теперь вот в Чечне, тоже, вероятно, не постоим. Так же с помощью огромного количества жертв мы сокрушили коммунизм. Если в течение более чем полувека никто не считал погибших, кто же станет теперь считать изломанные человеческие судьбы. Что такое «судьба»? Химера. Вымысел.

«НОВЫЕ РУССКИЕ»

Становление нового, некоммунистического социального строя, естественно, обусловлено формированием класса собственников. Причем по замыслу реформаторов такой класс должен был сформироваться в пожарном порядке, за год-два, а то и несколько месяцев. Кто же это смог подняться и встать в полный рост за столь короткий срок? Во-первых, партийная и комсомольская номенклатура, сохранившая старые корпоративные связи и оказавшаяся ближе к кормушке. Во-вторых, многочисленные «флибустьеры и авантюристы» ушедшей эпохи, в прошлом являвшиеся мелкими и крупными жуликами, давно усвоившими навыки умело нарушать и обходить законодательство. Именно эти две группы стали основой нового класса собственников — пресловутых «новых русских». Многие из них уже к осени 1992 года сумели перебраться из обкомовских кресел, а также центральных городских туалетов (где в прежние времена шла бойкая торговля «фирмой») в роскошные офисы с кондиционерами, зимним садом и иномаркой у подъезда. Цинизм, по определению присущий их деятельности, теперь красиво, «по науке» был назван прагматизмом и стал основой их нового мировоззрения.

ЛИСЫ В КУРЯТНИКЕ

Казалось бы, нашим либеральным деятелям уже в первые годы реформ стоило бы предусмотреть некоторые экономические меры для того, чтобы дать хоть какой-то шанс — тем, кто не входит в эти особо «продвинутые» группы, но составляет подавляющее большинство населения. Ничего подобного сделано не было. Лисы оказались в курятнике. Но поскольку выход из курятника теперь был открыт, то курам перестали давать корм и предложили охотиться наравне с лисами.

Да, конечно, исторически реформаторы правы, им есть чем гордиться: они буквально за пару лет сокрушили одряхлевший коммунизм, и не только в отдельно взятой стране. А что такое, на самом деле, этот коммунизм? Горько признаваться, но это были мы все. Вот нас-то и сокрушили эти симпатичные, умные, социально и ментально близкие нам, российским интеллиген-

там, ребята. Нам объясняют: все к лучшему, наши шансы на выживание сильно вырастут через два-три поколения. То есть куры, конечно, не превратятся в лис, — это антинаучно. Просто лисы нажрут до такой степени, что куры перестанут их интересоваться и как личности, и как конкуренты, и даже как объекты охоты. А пока большинство оказалось под двойным прессингом — дышащего на ладан государственного монстра, все еще отчаянно цепляющегося за жизнь, и новой элиты, кадавра, неумоимо пожирающего все вокруг с целью построения светлого капиталистического завтра. Все это «высоким штилем» называется первоначальным накоплением капитала. Оба чудища быстро сообразили, что легко взять средства можно только у нищих, отчаявшихся, деморализованных людей, больше ведь негде.

ЛЕНЯ ГОЛУБКОВ, М М М И «РУССКАЯ РУЛЕТКА»

Начисто ограбленные в конце восьмидесятых «массы» государство поставило под пресс гиперинфляции, ценового беспредела, хронических неплатежей... И тут началось строительство финансовых пирамид. Не имея никакого опыта жизни в «свободном» обществе, ничего не понимая в происходящих на их глазах передерягах, люди сами, добровольно, понесли свои деньги «новому классу собственников», надеясь на фантастические дивиденды, обещанные и даже поначалу выплачиваемые. Эти обезумевшие рядовые строители капитализма обирали себя сами с каким-то даже веселым отчаянием, с «гибельным восторгом», как сказал бы поэт, несли и несли, несли последнее, продавая автомобили, квартиры и даже (были, были такие случаи!) свои внутренние органы.

Разумеется, в итоге краха очередной социальной авантюры, не все оказались «на бобах»; кое-кто, вовремя предупрежденный «своими людьми» или развитой интуицией, нажил значительный капитал.

Я сам видел, как перед крушением МММ, самой знаменитой из пирамид, деньги увозили мешками; прямо так, в мешках, они и лежали на складе фирмы, прежде чем их решались пустить в дело.

Телевидение, радио, вся российская свободная пресса взапуски крутили рекламу сладкой жизни. Дегенерат и прощельга Леня Голубков стал фольклорным героем, символом новой

России. Государство, гарантирующее неприкосновенность собственности, хранило гробовое молчание, до тех пор, пока вконец разоренные люди не начали выходить на улицы. Ситуация грозила выйти из-под контроля и привести к непредсказуемым последствиям. Тогда власти начали вяло привлекать к ответственности некоторых наиболее одиозных мошенников. Теперь СМИ злорадно пытались объяснить разоренным и разграбленным согражданам, что, мол, они сами виноваты, включившись в традиционную отечественную забаву под названием «Русская рулетка»: «А что вы ожидали? В номерах служить — подол заворотить. Хотели, стало быть, на елку влезть и жопу не ободрать — не вышло!»

НЕСТЫКОВКА ЖЕЛАЕМОГО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО

Финансовые пирамиды стали важным катализатором формирования олигархического капитала. Это у нас он называется «олигархический», а везде в цивилизованном мире — попросту «криминальный». К этому времени российская экономика уже прочно сидела на игле дотационных вливаний. К традиционной финансовой «халяве» в виде доходов от экспорта топливных ресурсов прибавились западные кредиты. При такой ситуации стало особенно выгодно вкладывать деньги в банковские аферы, а не в реальный сектор экономики, где только и производятся товары с высокой добавленной стоимостью. При почти полной анемии промышленного производства финансовый капитал пух, как на дрожжах.

Большая часть населения, разумеется, не имела никакого отношения к распределению и перераспределению финансовых потоков. Но, так же как и держатели капитала, народ отнюдь не был заинтересован в интенсификации производства в реальном секторе. Поскольку еще с советских времен люди привыкли получать зарплату, не зависящую от результатов их труда, никто из рядовых производителей не знал и не желал знать о судьбе произведенной продукции. Что с ней случилось? Продали ее с прибылью, или она сгнила на складе, так и не превратившись в товар? Сдал изделие — получи «бабки», а там хоть трава не расти! Отчужденность от конечного результата труда породила производство фантомов — большого количество некачественных и ненужных товаров, оплаченных по некоей

фиктивной тарифной сетке, спущенной «сверху». Впрочем, деньги, как и сами товары, носили призрачный характер, поскольку имели хождение только на отдельно взятой одной шестой части суши, а к концу 80-х годов вообще приобрели характер суррогатов в виде разного рода талонов и других «неуставных» платежных средств — от цековских до жековских.

С начала девяностых годов ситуация изменилась. Свободные цены оживили рынок. На «деревянный» рубль все-таки можно было приобрести значительный ассортимент импортных товаров, закупленных государством за нефтедоллары или «челноками» за свои кровные, а в случае необходимости и поменять его на конвертируемую валюту. Иными словами, рубль, пусть и «деревянный», все-таки стал подобием некоего реального платежного средства. Но никто из так называемых «отечественных производителей», в том числе и государство, не хотел за призрачный продукт, так и не ставший товаром, расплачиваться реальными деньгами. Такая нестыковка «желаемого и действительного», естественно, породила кризис неплатежей. Люди не получали «денежное довольствие» по полгода и более. В обществе возникла напряженная ситуация. А тем временем близились президентские выборы 1996 года, самые драматические в новейшей истории России. Острая борьба за власть никогда не способствует серьезным экономическим переменам в обществе, ибо влечет за собой популистские декларации и меры, призванные решить сиюминутные политические вопросы. Но и после нового избрания Бориса Ельцина президентом никакого укрепления и развития либеральных экономических преобразований не последовало. Нашпигованная кредитами и нефтедолларами экономика пребывала в оцепенении. Говорили о стабилизации, но стабилизация больше походила на стагнацию. Тем не менее, статистические данные свидетельствуют: 1997 год стал наиболее благоприятным с экономической точки зрения за весь период «реформ».

«КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНА»

И все-таки кризис настал. Сегодня все наблюдатели и политики хором твердят: при сложившейся в ту пору экономической ситуации катастрофа была неизбежна. Но это сейчас, а тогда, как это не покажется странным, кризис выглядел полной

неожиданностью и для властей, и для специалистов, и для подавляющего большинства граждан. Президент Ельцин в бодром, оптимистическом духе комментировал происходящий прямо на глазах финансовый обвал, уверяя, что серьезной девальвации рубля ожидать не стоит и что «все под контролем правительства». Когда кризисные явления захлестнули страну с головой, и скрывать происходящее стало более невозможно, как всегда, начался поиск виноватых. Не причин, а виноватых. Впрочем, причины лежали на поверхности и для мало-мальски внимательного наблюдателя секрета не составляли.

За годы «реформ» оборотные средства в экономике сократились почти в 20 раз. Сфера обращения, в том числе и банковско-кредитная, переполнилась платежными средствами, среди которых, впрочем, наиболее ликвидными были не только доллары, но и рубли. Однако ни те, ни другие не покидали сферы обращения и не шли в реальный сектор, который, собственно, и является основой всякой нормальной экономики. И это понятно: операции в сфере обращения давали (и дают) гораздо большую прибыль, чем любой инвестиционный проект в реальном секторе. Перестав обслуживать реальный сектор, сфера обращения стала самодостаточной. Пока цены на нефть на внешнем рынке были высокими, государству удавалось балансировать и затыкать бюджетные дыры. Когда цены на нефть упали, государство, помимо внешних кредитов, вынуждено было также прибегнуть к внутренним заимствованиям. В результате сфера обращения раздулась от так называемого фиктивного капитала, представленного денежными суррогатами, прежде всего, государственными, ГКО (государственными краткосрочными обязательствами) и ОФЗ (облигациями федерального займа), которые в сумме составили 70 миллиардов долларов. Следует помнить: когда у государства дела идут хорошо, стоимость кредита на рынке бумаг для правительства не высока. В предчувствии же кризисной ситуации, когда правительству позарез нужны были деньги, цена долговых обязательств обычно подскакивает до небес. Так было и на этот раз. Дело дошло до того, что за каждый рубль, взятый в займы, государство должно было выплачивать по 4, а то и по 6 рублей. Но помимо внутренней задолженности образовался еще и гигантский внешний долг, который составил 140 миллиардов долларов, включая и долги СССР. Общий объем государственного

заимствования составлял, таким образом, 40% от годового валового продукта. Возникла реальная угроза так называемого суверенного дефолта, после которого государство объявлялось банкротом со всеми вытекающими последствиями в виде международных санкций.

Поскольку виновным в происходящем был назначен «молодой либеральный экономист» Сергей Кириенко, то все выглядело таким образом, будто бы кризис едва ли не спровоцировали и уж точно прошляпили либералы. Старый газпромовский волк, «крепкий хозяйственник» Виктор Черномырдин был вовремя убран (или сам убрался) в тень. Разумеется, начисто был забыт очевидный для всякого непредвзятого наблюдателя факт: за несколько месяцев своего руководства правительством, Кириенко не успел сделать ни одного вразумительного шага вперед, продолжая линию (точнее, топтание) Черномырдина, при котором, собственно, и началось возведение государственной пирамиды ГКО, разлетевшейся в августе, словно карточный домик.

В создавшейся критической ситуации назначение на пост председателя правительства старого царедворца советских времен, бывшего шефа разведки и министра иностранных дел Евгения Примакова оказалось тем счастливым кадровым решением Ельцина, которые с годами случались у него все реже и реже. Несколько месяцев «примаковщины», как любил выражаться популярный телеведущий Сергей Доренко, стали моделью нынешнего общественного устройства России, именуемого в политике «управляемой демократией», а в экономике — «китайской моделью».

Конечно, правительство Примакова хорошо сумело использовать тот небольшой задел, который за считанные дни успела создать команда Кириенко, в пожарном порядке девальвировавшая рубль на несколько сот процентов. Панику западных кредиторов медленно, но верно гасил опытный «переговорщик» Михаил Касьянов. На внутреннем рынке государство объявляет мораторий по выплатам задолженностей по займам. И тут — удача! — поползли вверх мировые цены на некоторые продукты сырьевого экспорта. Как это слишком часто случается в российской экономике постсоветского периода, последствия оказались совершенно неадекватными ни причинам, ни предпосылкам, ни первоначальным намерениям.

В результате девальвации рубль импорт перестал приносить прежние дивиденды, и многие импортеры с российского рынка ушли. Но, как давно известно, «свято место пусто не бывает». Эту нишу потихоньку начали замещать отечественные производители со своим менее качественным, но более дешевым товаром. Особенно заметно оживились автомобильная промышленность и производство продуктов питания. Такие процессы специалисты называют импортозамещением.

Кто еще обычно выигрывает при девальвации? Разумеется, экспортеры. Не надо слушать правительственных чиновников и представителей частных корпораций, занимающихся экспортом сырья и некоторых видов товаров, которые льют крокодиловы слезы по поводу убытков от кризисных процессов в экономике. «Кому война, а кому мать родна». Девальвация и, соответственно, инфляция не выгодны только потребителю. Экспортеры же покупают сырье на внутреннем рынке за удешевленный рубль, а продают на внешнем за незыблемый доллар, получая при этом сверхприбыли. Да еще, как мы уже говорили, начался рост мировых цен на нефть, газ, лес, металлы и другие традиционные российские экспортные ресурсы.

«КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ» ИЛИ «ПРИМАКОВЩИНА»

Сочетание трех названных факторов — девальвации, импортозамещения и оживления экспорта — позволили начаться росту экономических показателей уже через несколько месяцев после кризиса, к началу 1999 года. И вот тут-то пригодился «железный нарком» Евгений Примаков. Несмотря на огромную инфляцию в сотни процентов, несмотря на падение уровня жизни людей с фиксированными доходами в два раза (по официальной статистке, а на самом деле — в несколько раз) правительство Примакова ни разу не провело индексации доходов населения. А кто такие эти «люди с фиксированными доходами»? Прежде всего, так называемые бюджетники: учителя, врачи, военные, ученые, большая часть рабочих. Благодаря трогательному единению с «оппозиционной» (т.е. прокоммунистической) Государственной думой Примакову удалось сделать то, что до него никогда не могли бы позволить себе ни Гайдар, ни Черномырдин, ни тем более Кириен-

ко. Получается, таким образом, что именно «красному» Примакову впервые в России удалось провести в жизнь последовательную либеральную экономическую политику исключительно советскими методами: игнорируя действительные нужды людей и руководствуясь политической и экономической целесообразностью.

Как бы там ни было, но благодаря такой политике удалось сдержать денежную массу и подавить инфляцию. Поразительно, но даже сегодня по прошествии трех лет российская экономика все еще катится по накатанной колее кризисных процессов 1998 года.

А что, собственно говоря, в этом плохого? Растут некоторые экономические показатели, наметился рост прожиточного уровня населения, пенсии и зарплаты бюджетников увеличиваются и выплачиваются в срок почти повсеместно. Правда, с начала 2001 года экономический рост замедлился и почти приблизился к нулевой отметке, уровень жизни так и не достиг докризисного, увеличение пенсий и зарплат не перекрывает уровня растущей инфляции и, стало быть, выглядит простой индексацией, позволяющей едва поддерживать прожиточный минимум. И все-таки обществу кажется, что худшее позади. Чтобы экспортеры и дальше процветали, чтобы импортозамещение в некоторых областях промышленности продолжало набирать темпы, казалось бы, надо еще немного, постепенно девальвировать рубль. Через какое-то время загрузятся практически все маломальски пригодные мощности, остановившиеся в конце 80-х — начале 90-х годов. Промышленность начнет производить отечественную продукцию, не только мясомолочные продукты и автомобили, но и одежду, обувь, мебель, бытовую электротехнику, а потребители станут все это покупать, потому что сократившийся импорт просто не оставит им другого выхода. Конечно, это утопия, но сегодня мы все еще живем в ее цепких объятиях.

В ЦЕПКИХ ОБЪЯТИЯХ УТОПИИ

Что ждало бы нас впереди, если вдруг правительство решило бы реализовывать подобный экономический сценарий? Очередной кризис, покрупнее прежнего, поскольку изношенные,

морально устаревшие производственные мощности в скором времени пришли бы в окончательную негодность и вышли из строя. Чтобы модернизировать старые производственные мощности и запустить новые, необходимы инвестиции. Без этого невозможно производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, т.е. жить собственным трудом вместо того, чтобы эксплуатировать быстро исчезающие природные ресурсы.

Для инвестиций нужна благоприятная макроэкономическая ситуация. Кто ж станет инвестировать средства в разрушающуюся экономику с неустойчивой валютой? Стало быть, срочно необходимы структурные реформы, и прежде всего должны быть обеспечены надежные гарантии собственникам, в том числе и от возможного пересмотра итогов приватизации. А ведь об этом пересмотре сегодня говорят многие политики, и не только левые популисты. Нужны гарантии равных условий работы на рынке вне зависимости от дружбы с властями и «братвой». Необходима социальная реформа. Государство должно срочно уйти от социалистической распределительной системы. Ни одна экономика не выдержит такого положения, при котором на 150 миллионов населения более 100 миллионов имеют социальные льготы от государства, в том числе и в виде денежных субсидий. Власть должна, наконец, понять, что главная забота государства в области экономической политики — создание рабочих мест для тех, кто хочет и может заработать себе на жизнь. А помощь нужна только тем, кто заработать на жизнь не может — детям, инвалидам, пенсионерам. Иными словами, льготы должны получать только те, кто в них нуждается *объективно*.

Начавшееся совершенствование налоговой системы внушает некоторый оптимизм, но до серьезного прорыва в этой области пока еще далеко. Ни власть, ни общество так до сих пор и не осознали ключевой задачи налоговой реформы: перенесение центра тяжести собираемости налогов с доходов юридических лиц на доходы физических лиц. Эта мудреная формулировка расшифровывается просто: чем больше граждане будут зарабатывать, тем больше они будут платить налогов. То есть — чем больше зарплата работника, тем лучше для государства. Платя работникам нищенскую зарплату, государство вынуждено выкачивать из экономики более 40% ВВП

вместо приемлемых 15-20%, тем самым окончательно обескровливая реальный сектор.

Конечно, налоговая и социальная реформы — вещи необходимые, но совершенно недостаточные: без пенсионной, военной, судебной и других реформ государство увязнет в трясине демагогической болтовни.

ПСИХОЛОГИЯ СЫРЬЕВОГО ПРИДАТКА

Через несколько месяцев, в январе 2002 года, российскому обществу было бы в пору отметить десятилетие экономических реформ. Однако, подводя неутешительные итоги, приходится с горечью констатировать, что эти десять лет безвозвратно упущены. Наиболее очевидной причиной случившегося следует признать отсутствие общественного консенсуса на содержание, формы и цели реформирования. Простой пример: только ленивый не говорит сегодня о необходимости реструктуризации естественных монополий, и в том числе РАО ЕЭС России. Нам объясняют, — и мы готовы в это поверить, — что в противном случае через год-два подача электроэнергии по электросетям просто прекратится из-за морального и физического износа действующих на последнем издыхании мощностей. Угроза остаться без тепла и света будоражит общественное внимание, и вроде бы все согласны: надо, мол, реформировать. Но как только речь заходит о неизбежно сопутствующем реструктуризации повышении тарифов на электроэнергию, в некоторых слоях общества начинается настоящая истерика с перекрытием уличного движения в городах и сожжением чучела Чубайса. Оно и понятно: людям и так нечем оплачивать коммунальные услуги. Или другой пример: всем ясно, что с железнодорожными перевозками надо что-то делать, но на повышение оплаты проезда не согласен никто.

При отсутствии общественного консенсуса единственным способом структурного реформирования экономики остается жесткая воля центральной власти. При Ельцине вся его политическая воля уходила на борьбу за эту самую власть, потом на удержание власти, потом на передачу власти некоей приемлемой для его окружения фигуре. На это ушли годы.

Понятно, что стартовав в избирательной компании 1996 года с поддержкой не более пяти процентов избирателей, ельцинской команде потребовался весь имеющийся в распоряжении властный ресурс, чтобы, буквально изнасиловав сознание граждан, заставить их «голосовать сердцем» или каким-то другим внутренним органом произвольного действия. Не дурно было бы израсходовать такой потенциал на общественно полезные нужды. После кризиса августа 1998 года, когда президент Ельцин, демонстрируя свою сугубую компетентность в происходящих процессах, буквально накануне обвала твердил, что никакой инфляции правительство не допустит (хотя девальвация тогда была единственным реальным способом избежать полного коллапса), все поняли, что до истечения ельцинских президентских полномочий, как говорится, «кина не будет», потому что «спился или заболел», как кому больше нравится. Полная прострация президента явилась для общества очередным свидетельством несбывшихся иллюзий. Все стали ждать «конституционного окончания президентского срока».

«МЫ С НАРОДОМ СЧИТАЕМ...»

И дождались. Новая власть, опираясь на беспрецедентную поддержку значительной части общества, взялась за дело круто. Конечно, здоровый прагматизм, объявленный политическим кредо этой власти, на общественный консенсус плевал с высокой колокольни. Лихая формула президента Путина «мы с народом считаем...» как бы уже заранее предполагает, что такой консенсус имеется. Власть демонстрирует политическую волю к реформированию, но при этом создается впечатление, что она никак не может решить, в какую сторону надо грести.

Нерешительность в области экономических реформ сопровождается шумными политическими демаршами на грани скандала, а иногда и за гранью оного. После превращения Совета федерации в марионеточную структуру под маркой укрепления вертикали власти, началось формирование устойчивого пропрезидентского большинства в Государственной Думе.

Надо думать, что фактическое слияние фракций «Единства» и «Отечество — Вся Россия» — решительный, но далеко не после-

дний шаг в сторону унификации недоношенного российского парламентаризма. Важным стратегическим направлением укрепления кремлевской власти стала борьба за равноудаленность олигархов, разумеется, не всех. Самые равноудаленные, такие как нефтяной магнат и начальник Чукотки Роман Абрамович, наоборот, как получали, так и получают всемерную поддержку Кремля. Другие, менее известные капитаны российского бизнеса, быстро поняли намек и сами встали под знамена «равноудаленности».

Гораздо сложнее дело обстоит с популярными медиа-магнатами. Их публичность при «наезде» автоматически включает рычаги общественной защиты. К этим пришлось применить удачно апробированную на полях сражений тактику выжженной земли. Впрочем, такая тактика прошла испытание не только в ходе военных, но и политических баталий. Подобно тому, как несколько лет назад из-под Горбачева во имя номенклатурной победы убрали разрушенную страну, так же и сейчас разобранную на части медиа-империю убрали из-под Гусинского. Ее уничтожили, невзирая на протесты интеллигенции, на многотысячные митинги в Москве и Санкт-Петербурге, просто наплевав на волеизъявление подписчиков печатных изданий, а также рейтинги телеканалов, что, по сути дела, и есть то же самое волеизъявление.

Интересно, что в многочисленных теледебатах, репортажах и интервью, в которых оскорбленная «прокремлевская невинность» рассуждала о нарушении прав собственности, никто почти не говорил о нарушении прав граждан, проголосовавших за НТВ и другие СМИ Гусинского рублем и свободным временем. Но и это мы уже проходили: лес рубят — щепки летят. Казалось бы: ну что вам еще надо, дорогие наши реформаторы! Плацдарм для экономических реформ расчищен полностью: губернаторы отлучены от Совета федерации и больше не способны влиять на законотворчество; новая «верхняя палата парламента», замершая в ожидании дармовой московской жилплощади, готова на все; застывшая в почтительном поклоне — «что изволите?» — Государственная Дума, сливает фракции в едином порыве... А всевидящее око спецслужб! А карманная прокуратура! А митингующая в поддержку Путина молодежь! А железный кулак «кремлевского пула»

средств массовой информации! Добавьте к этому громкие имена либеральных экономистов в правительстве, фактически подержанных президентом. Пора, пора начинать, наконец, созидательные процессы! Чего ждем-то? Нового кризиса?

ПЕРВЫЙ ГОД ПУТИНСКОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА

Представители почти всех вменяемых политических сил в один голос твердят, что первый год путинского президентства был удачным для российской экономики. При этом совершенно игнорируется «немотивированный» рост инфляции с начала 2001 года, превосходящий в два-три раза плановый уровень, а это не может означать ничего иного, кроме роста денежной массы за счет очередного включения печатного станка. При этом совершенно не упоминается о том, что официальная цена минимальной продовольственной корзины в Москве, например, выросла до 1054 рублей, существенно превысив реальную заработную плату многих категорий работников, и стало быть, процесс фактического обнищания населения не остановлен. Все это свидетельствует о том, что впервые принятый в прошлом году и широко разрекламированный «бюджет с профицитом» оказался очередной экономической иллюзией. При перечислении конкретных достижений этого года, кроме начавшейся налоговой реформы, кроме того, что, несмотря на отчаянное сопротивление лоббистских групп, не до конца искореженные земельный и судебный кодексы уже циркулируют по кабинетам Госдумы, сказать, по существу, нечего.

Каждая сделка на продажу оружия с маргинальными режимами, вроде иранского или северокорейского, обставляется шумной рекламной компанией, призванной превознести торжество российской военной техники, а также здоровый прагматизм кремлевских лидеров, демонстрирующих наплевательское отношение к мнению мирового сообщества. И даже решение о захоронении зарубежного отработанного ядерного топлива представлено как выгодная экономическая сделка, чуть ли не благодеяние скандально известного Минатома жаждущему не заработанного дохода обществу.

Главная причина некоторой стабилизации экономики все та же: высокие мировые цены на нефть, газ, металлы. Теперь это

очевидно не только маститым экономистам, но всякому не ленищемуся пораскинуть мозгами обывателю. Так почему, несмотря на благоприятный макроэкономический фон, несмотря на вроде бы имеющуюся у властей политическую волю к реформированию и многочисленные декларации о начавшихся преобразованиях, не только не предпринимается никаких реальных экономических мер, но даже не принимается никаких серьезных решений, которые должны этим мерам предшествовать?

А дело, похоже, в том, что за десятилетие наркотического дурмана от не заработанных вливаний в общественном сознании произошли необратимые изменения: психология некогда маргинального меньшинства благополучно распространилось на все общество и даже на значительную часть политической и экономической элиты. А президент, между прочим, не вождь, не наставник и учитель, а всего лишь один из институтов социального устройства, который, по существу, отражает общественные интересы или, во всяком случае, чутко реагирует на настроения в общественном организме.

В обществе произошел существенный поворот: после крушения чаяний и надежд перестроечного и ельцинского периодов новейшей истории началось активное становление и успешное развитие психологии сырьевого придатка развитых стран, в зависимости от конъюнктуры внешних цен, но ищущего свою опору не в реальном экономическом потенциале, а в идеологических химерах вчерашнего дня.

Отсюда неоправданная спесь, казалось бы, совершенно неуместная после краха империи и в контексте занимаемого ныне весьма скромного положения в клубе цивилизованных стран (мы — все еще великая держава), в сочетании с полной покорностью уготованной участи (у России свой особый путь) и младенческой драчливостью великовозрастного хулигана (и в сортире будем мочить). В этой трансформации сознания заключается, пожалуй, самый наглядный урок и самые существенные итоги десятилетия российских реформ, завершившихся первым годом путинского президентства.



Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

ВСЯ ВЛАСТЬ ЗЕЛЕНЫМ!

Если бы я вдруг решил делать политическую карьеру, я бы не примкнул ни к либералам, ни к консерваторам, ни к белым, ни к красным — я бы обязательно стал зеленым. И только зеленым.

Причины?

Они, на мой взгляд, ясны и вполне убедительны.

Прежде всего, у зеленых замечательные идеалы. Они хотят, чтобы трава вокруг была всегда свежей, небо над нами — синим, вода в реках — прозрачной, а воздух пах луговыми цветами и больше ничем. Но ведь и я хочу того же самого.

У зеленых практически нет идейных противников. Ну-ка, найдите человека, который против свежей травы, синего неба и прозрачной воды. Покажите, пожалуйста, оригинала, который предпочитает, чтобы ветер приносил к его дому кислотные дожди и дым химических фабрик. Я, например, таких не знаю.

Есть и еще причина, почему начинающему политику лучше всего выбирать успокаивающий цвет майских листьев и свежих газонов.

Никакая иная идея не дает возможности столь красивой и стремительной карьеры. На любых митингах белым аплодируют белые, красным красные — и только зеленых с восторгом принимают все. У чистого неба нет оппонентов. Чтобы стать героем нации, начинающему защитнику первозданной природы не нужно изучать историю или социологию, нет ни малейшей необходимости сочинять экономическую программу — ему вполне хватит десятка лозунгов. Что вода без хлора, а тыква без нитратов полезней, аудиторию убеждать не придется.

Моя личная проблема состоит, однако, в том, что политикой я никогда не занимался, впредь заниматься не собираюсь, и ни к каким выгодам в этой сфере не стремлюсь. Я никуда не кандидат, на всех выборах только избиратель, и на партии любой расцветки смотрю исключительно со стороны. А со стороны видно очень много интересного.

Green peace — в переводе с английского «зеленый мир» — это, может, самая сладкая мечта человечества. Ведь Рай, каким его веками изображали великие художники — он тоже зеленый.

Но если green peace как мир нетронутой природы полностью отвечает и моим личным идеалам, то «Greenpeace» как политическое движение вызывает у меня не столько восторги, сколько вопросы.

Дело тут главным образом в практике. «Зеленые», очень быстро окрепнув, уже успели основательно повлиять на жизнь целых стран. Вот и россиянам не раз приходилось пожинать плоды их активности. Митинги и демонстрации в защиту окружающей среды от угольных разрезов, тепловых и атомных электростанций, линий электропередач срываются, строительство отменялось или замораживалось — зато через месяц или год в городах отключался свет, останавливался транспорт, начинались перебои с водой — и те же «зеленые» лидеры на новых митингах винули в страданиях горожан энергетиков, правительство, масонов, олигархов, а то и агентов ЦРУ...

Особенно остро и наглядно все это выглядело в некоторых бывших республиках СССР, где защита природы удачно сочеталась с борьбой за национальную независимость.

В Латвии мужественно и последовательно боролись против бумажной фабрики в Слоке — достаточно грязное производство на чистой Даугаве поблизости от курортной Юрмалы очень раздражало патриотов родной флоры. Рижские газеты требовали немедленно закрыть зловерное предприятие, рижские и московские писатели бок о бок стояли в пикетах с решительными лозунгами. Я спрашивал местных журналистов, на чем они собираются печатать свои издания, когда фабрика закроется. Коллеги отвечали оптимистично: мол, как-нибудь образуется. В крайнем случае, бумагу завезут из России.

С тех лор прошли годы, лучшие митинговые ораторы давно заседают в парламенте и ездят в экологически благополучную Европу обмениваться опытом. А зловерная фабрика? Рижские друзья говорят, что она работает, как и прежде: свои личные проблемы «зеленые» лидеры решили превосходно, а проблемы многострадальной родины могут и подождать. Газетчиков же экология волнует лишь в одном плане: как бы не остаться без бумаги, а, значит, и без работы...

Еще энергичней проявили себя самодеятельные экологи в Армении.

Ереван буквально сотрясали многотысячные митинги. Мишени было две, и обе не слабые: огромный химический комбинат и, прежде всего, атомная электростанция. Можно ли терпеть такую угрозу рядом с миллионным Ереваном? Конечно, нельзя! Горожане должны дышать чистым воздухом и не опасаться радиационной катастрофы...

Мощное общественное движение дало быстрый результат АЭС была закрыта, а инженеры-атомщики, в большинстве своем русскоязычные, мстительно уволены. Победу над индустриальным монстром, глубоко чуждым местным традициям, праздновали по южному темпераментно.

К сожалению, радость оказалась короткой. Пришел декабрь, и совершенно неожиданно оказалось, что зимой

холодно. Такого коварства от неблагодарной природы, как выяснилось, никто не ожидал,

Самым ходовым товаром в Ереване стали кустарного производства «буржуйки». Знаменитые парки энергично вырубались. Обстановка в квартирах становилась все аскетичней: оставалось только необходимое, прочее летело в топку. Один из красивейших городов Закавказья быстро терял лицо, а дома превращались в бомжатники.

Уже без всяких митингов, так сказать, в рабочем порядке, было принято вынужденное решение: восстановить атомную станцию. Но, увы, строить — не ломать. Специалисты, которые всегда в огромном дефиците, разъехались по тем городам, где движение «зеленых» еще не приобрело сокрушительную силу, и назад отнюдь не рвались. Подпускать к реактору дилетантов было более чем рискованно. В конце концов станцию все же запустили — но кто подсчитает, во что обошлись Армении патриотические игры чересчур амбициозных политических «отморозков»?

Понятное дело — ошибаются все. Но вы слышали, чтобы кто-то из «зеленых» вождей хоть раз в чем-нибудь покалялся? Вот и я не слышал...

Как-то увидел по ящику выступление Александра Сокурова — одного из самых талантливых и тонких наших кинорежиссеров. Сокуров говорил о своем видении будущего России — она представлялась ему в грядущем как огромный национальный парк. Зеленая страна с чистыми реками...

Слушал его, и вставало перед глазами мое любимое Подмосковье: березовые холмы Рузы, высокие берега узкой быстрой Истры, грибные леса вокруг Фрязево и Петушков. Да и не только Подмосковье — я ведь всю страну объездил, на Камчатке был, на Сахалине, на Байкале, в фантастически красивом горном Алтае. Национальный парк - какая судьба может быть лучше и естественней для столь красивой страны?

Но потом возник у меня унылый практический вопрос: а кто же будет этот прекрасный национальный парк содер-

жать? Бельгия, Голландия, Тайвань? А, может, Швейцария с ее бесчисленными банками? Ведь национальный парк — предприятие очень дорогое: леса надо чистить и беречь от пожаров, за реками следить, многочисленным служащим платить зарплату. А жилье для них? А гостиницы для туристов? А дороги? А автобусы, чтобы не рычали, не дымили и не портили чистый воздух над чистыми реками?

Национальный парк — это уйма денег, это высочайший уровень науки, это всесторонне развитая сфера обслуживания. Хотим мы того или нет, позволить себе настоящие национальные парки могут только благополучные страны — такие, как Америка, Швеция, Япония, ЮАР. Беднякам, увы, такие роскошества не по карману. И сберечь уникальную природу России мы сможем лишь в том случае, если сумеем создать в стране высоко технологичную современную индустрию и мощную энергетику. Иного пути просто нет — по крайней мере, пока еще человечество его не придумало...

Впрочем, в защите нуждается не только природа...

Одно из самых ярких моих впечатлений в жизни — посадка маленького индийского самолетика в Катманду. Плавное снижение в долину — и за круглым окошком бесконечная гряда сверкающе-белых сахарных голов. Теплый южный апрель, но тут снег не тает и не растает никогда: ведь это Гималаи, самые высокие горы на Земле.

Непал — невероятно интересная страна. Узенькие улочки Катманду, где весь день шумит азиатский базар, и рядом, прямо на пыльной земле, десятилетние мальчишки обтачивают блестящие камешки — то ли изумруды, то ли бутылочное стекло. Роскошные бусы из «тигрового глаза» можно выменять за носки подольской фабрики, потому что красивых камней в Непале завалились, а русские носки тут — импорт. Непальские пагоды, если верить местным патриотам, старше китайских, а резные двери одноэтажных храмов вызывают восхищение у историков и этнографов. Но резьба щербата от времени, стены храмов выветриваются, горный воздух, льющийся с Гималаев, испохаб-

лен выхлопами рассыпающихся от старости машин — древние развалюхи, которые колесят по улочкам непальской столицы, в Европе не отыщешь даже на свалке.

А что делать? Непал прочно входит в пятерку самых бедных стран планеты...

В гостинице был телевизор. Передача выглядела странно: дама в короткой юбке и двое мужчин в белых брюках, полосатых пиджаках и плоских соломенных шляпах ритмично чеканили степ. Дело, насколько я понял из глуповатых куплетов, происходило в Чикаго.

Первой моей реакцией было возмущение. Что за бред: я, россиянин, в кои-то веки попал в удивительную горную страну с самобытнейшей историей и культурой — но и здесь меня достает секонд-хенд американской эстрады! Почему, в конце концов, пляшут «яблочко» и поют русские частушки только в России — а американскую чечетку и куплеты (те же частушки) пропагандируют даже в Гималаях? Ведь у культуры тоже есть своя экология — почему она так беспардонно нарушается?

Вторая реакция была поспокойней.

А что меня, собственно, возмутило? Посредственные плясуны проникли аж в Гималаи? Но ведь и у нас в стране самый «раскрученный» певец вовсе не обязательно самый лучший. Может, и худший. Может, и вообще не певец: кто-то с голосом записал десяток шлягеров, а кумир старшеклассниц просто извивается в такт и шевелит губами под чужую фонограмму...

Но к чему все это? Я, ведь, вроде бы, о другом?

Да нет — печальней всего, что о том же самом.

Хотим мы того или нет, но нынешняя мировая культура развивается по законам шоу-бизнеса. В безголосую девочку вгоняют триста тысяч долларов, и она становится «звездой». Вы ее не любите? И я не люблю. Но какая разница — мы ведь оба знаем ее имя!

Вот так же точно в свою культуру — любую, и великую, и убогую — богатейшая Америка, совсем о том не думая, вложила огромные деньги. И мы читаем не только гениального Хемингуэя, но и среднего детективщика потому, что за обоими стоят американские машины, американские

компьютеры, американские самолеты и американский доллар, принимаемый на всех рынках планеты. Всем интересно знать, как живут люди в процветающей стране, всем хочется походить на них хотя бы внешне — вот и учат английский, вот и носят джинсы, вот и смотрят вживую или по телеку третьесортную, но американскую эстраду.

Наши «зеленые» очень любят рассуждать о самой качественной в мире российской духовности. Но забывают добавить, что само существование этой духовности напрямую зависит от промышленной, энергетической, вообще, экономической мощи России. Не поднимем экономику — не на что будет снимать кино и печатать книги. И великие архитектурные памятники развалятся не в результате вандализма большевиков, а потому, что реставрация старинных построек по карману только денежным странам.

Насколько я знаю, подобное исследование специально не проводилось. Но рискну высказать такую гипотезу: чем выше в стране производство энергии на душу населения, тем защищеннее ее культура и история, ее традиции, ее духовность.

И — ее природа.

Разве случайно экологическая ситуация быстро улучшается в энергетически развитых странах? И — только в энергетически развитых странах! Аутсайдерам тут ничего не светит.

Американцы сумели расчистить Великие озера до того уровня, что там вновь ловят лосося. Швеция владеет самыми чистыми лесами в Европе. В крохотной Дании, которую на карте закроешь копеечкой, холят и лелеют каждую свою травинку, потому что у них есть на это средства: ведь это мы едим их масло и пьем их пиво, а не они наше.

Не знаю, как в мире, но в России точно не было ни одной крупной электростанции, по поводу которой «зеленые» не подняли бы «ярость масс». По их мнению, любая вредна и опасна.

Возможно, в какой-то степени так оно и есть. Но вот я думаю: а существует ли на свете хоть один абсолютно безвредный вид энергии?

Тепловые станции выбрасывают в небо бесконечные тучи угольной пыли, жгут органическое топливо, запасы ко-

торого весьма ограничены. Гидростанции губят леса и пашни, а водохранилища довольно быстро превращаются в болота. Об атомных и говорить нечего — столько сказано. В цивилизованной Великобритании именно дым каминов породил печально знаменитый английский смог. Деревенские печи с лежанками опасны для жизни — сколько людей в России угорело насмерть! Даже романтические костры, трогательно воспетые геологами и туристами, каждый год вызывают катастрофические пожары.

Цивилизация — это прежде всего энергетика. С чем мы пойдем в будущее? С лучиной? Но и от лучины не однажды горела Москва.

«Зеленые», как настоящие политики, мыслят глобально: запретить все атомные электростанции, закрыть химзаводы... Я же, рядовой обыватель, привык упираться взглядом в мелочи. И радуют меня вещи очень простые: вот небо посинело, вот снег сошел, вот листва брызнула... И, чем ближе май, тем больше тянет за город.

Я уже признался, что люблю Подмоскovie, особенно западное. Наверное, не зря Звенигород и Рузу называют подмосковной Швейцарией. Я в Швейцарии никогда не был, но раз ее сравнивают с Рузой — наверное, прекрасная страна.

Ехать по Подмоскovie на машине — великая радость. Посмотришь вверх — удивительное небо, где голубое, где дымчатое. Посмотришь вперед — озера, холмы, вечная зелень елей, вечная белизна берез. Посмотришь вниз... Впрочем, тут лирика кончается: вниз лучше не смотреть.

Вдоль любой дороги, хоть грунтовок, хоть вполне приличного шоссе, метров на пятьдесят в обе стороны — бутылки, банки, пластиковые пакеты, обрывки газет и прочее гнилье и рвань, которым наш соотечественник метит места своего пребывания, как временного, так и постоянного. На крутом повороте шоссе год назад свалилась под откос легковушка. Там и ржавеет. Метрах в пяти — та, что сверзилась два года назад. Чуть подальше — остов грузовика, когда рухнувшего, уже не помнит никто. К останкам техники привыкли, они стали как бы частью пейзажа...

На толстом стволе векового дуба вырезано: «Здесь был Петя». Впрочем, мог бы не трудить лапку, не тупить нож, и так ясно, что здесь был не Пьер, не Питер, не Педро, а именно Петя: Пьер с Питером такую помойку под дубом после себя не оставят.

Пройдите по всем опушкам наших песенных рощ, наших могучих дубрав, по широким лугам и лесным полянам, по крутым и пологим берегам рек и озер — везде был Петя и везде отмечился. Когда-то острили, что нашу родину в любом ее уголке можно узнать по типовой пятиэтажке. Нынче строят куда разнообразней. Но вот по битым панелям, по ржавой арматуре, по грудам строительного мусора и нынче узнаешь отечество в любом его уголке.

А Москва, мировая столица? Не считано людей, не считано машин, не считано помоек. Я говорю не об официальных, огороженных кирпичными барьерами — я о самодельных, так сказать, добровольческих. Их-то сколько! На улицах, во дворах, в подъездах. На всех подоконниках пепел — здесь курил Петя. А здесь, судя по промасленной газетке, Петя жевал бутерброд. А здесь, судя по пробкам, пил «правильное пиво». А здесь, судя по запаху, пиво стало для Пети проблемой...

Зачем я про это? Из любви к чистоте? Но я же не иностранец, я абориген, я ко всему привык, и к виду, и к запаху. Так что я не о чистоте — я о России. Из года в год, невинно и буднично превращая ее в огромную помойку, мы на десятилетия вперед программируем ее невеселое будущее. Ведь помойка — это не просто мелкое бытовое неудобство. Это тест, показатель, знак тревоги для миллионов людей, которые готовы прийти с добром. И зарубежный инвестор остережется вкладывать деньги в землю, которую не видно под слоем мусора. И наш «новый русский», хоть и русский, но дом в двадцать комнат, на обустройстве которого заработала бы вся деревня, выстроит там, где почище — на Кипре или Мальте.

Еще с советских времен дотлевают на крышах гордые лозунги: «Коммунизм — светлое будущее всего человечества». Аршинные буквы ввали и врут: помойка не может быть светлым будущим человечества. И детям нашим, выросшим в наших загаженных дворах, трудно будет на равных войти в цивилизованный мир: обувь сменяют, а запах останется.

Я не верю нашим крикливым «зеленым патриотам», которые на всех углах вопят о любви к отечеству: настоящие патриоты дома не свинчат. Не верю, когда они горласто протестуют против превращения России в ядерную помойку — что же они не замечают, как Россия, начиная с их собственных улиц и дворов, превращается в помойку обычную?

Все мы очень разные: кто любит классику, кто попсу, кто сочувствует монархистам, кто анархистам, кто аплодирует Путину, кто ненавидит его — но почему мы все оставляем консервную банку там, где съели ее содержимое, а газету выбрасываем там, где прочли?

Давно известно: народ у нас самый лучший в мире, самый добрый, самый отзывчивый, самый духовно богатый. Замечательный народ — жаль, что власть хреновая. Вот я и пытаюсь понять: какая лучше в мире народу нужна власть, чтобы он, наконец, перестал превращать родину в помойку?

Когда-то Ленин торжественно объявил, что управлять государством может каждая кухарка. Наверное, в этом была роковая ошибка Владимира Ильича: кухарка управляет государством плохо, потому что привыкла выплескивать помои прямо с крыльца. Уж если государством непременно должен управлять человек из низов, пусть это лучше будет дворник...

Во всех странах, где развито экологическое движение, «зеленые» находятся в оппозиции. И это очень жаль. Мне хочется, чтобы хоть где-нибудь они пришли к власти. Чтобы и президент, и премьер были «зелеными».

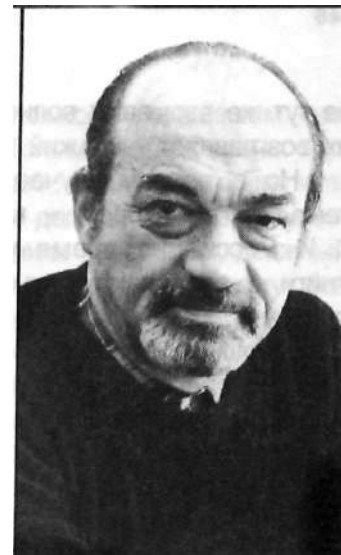
Ведь постоянная прописка в оппозиции порождает самую оголтелую безответственность. Легче легкого проводить эффектные «акции» с протестом против всего на свете, не предлагая никакой альтернативы. Когда политики с экологическим уклоном шумно требуют запретить в сельском хозяйстве удобрения и пестициды, они не уточняют, чем станут кормиться миллионы людей в стране. Местных активистов, настаивающих, чтобы на месте снесенных пятиэтажек не строили жилье, а разбили парк, не заботит, где найдут кров выше-

ленные из порушенных «хрущев» жильцы. Едва ли не самый популярный лозунг агрессивных защитников природы — немедленно запретить все атомные электростанции на Земле! А что взамен? Можете их не спрашивать — не ответят. Но что станет делать человечество, когда и без того на слишком богатые запасы традиционного топлива окончательно истощатся? Топить печки кизяком?

Увы, «зеленые» способны только требовать — за результаты их деятельности отвечают другие.

Словом, мой лозунг — вся власть «зеленым». Пусть на деле совершат то, что требуют от других. И — пусть за это ответят в полной мере. Ибо очень скоро на сотысячных митингах будет звучать только один призыв: долой «зеленых»!

Одна лишь оговорка: я хочу, чтобы «зеленые» пришли к власти в любой стране мира за единственным исключением — не в России. Великая держава им достанется или малая, северная или южная — лишь бы не моя родина. По части глобальных экспериментов Россия в двадцатом веке свое с лихвой отработала...



Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

ГЕНЕРАЛЫ, ИНТЕЛЛИГЕНТЫ И ГУЛАГ

1. ГЕНЕРАЛЫ

О том, что Россия после ухода Ельцина будет подморожена, я знал давно. Это не вывих истории, а неизбежность. Замораживание — радикальное средство от гниения, разложения и распада. И сегодня это не политическая метафора, а медицинский термин.

Распад географический и демографический, распад промышленности и деревни, и что важнее всего — крушение национальной духовной вертикали (на первом месте, наверху — идея, а все остальное — комфорт, богатство — далеко внизу) должны были привести к этому.

Пришлось, как всегда, принять крутые меры. На чахлам демократическом болоте ирригация длилась бы еще сто лет. И потому распад решили взять за горло, поскольку постепенно меняться Россия не научилась. И если вдруг по Божьему велению выпадает *тихая* глава в истории, то

ее туг же взрывают волнения, бунты, восстания, неважно, кто их возглавляет — яицкий казак или высшее дворянство.

Но в первом случае казака не поддерживают интеллигенты, а во втором — казак не поддерживает их.

И Россия на время успокаивается: интеллигенты пишут книги и преподают в университетах (что и есть их прямое дело), а мужик (казак — тоже мужик) берется за соху.

Нынешнее похолодание идет сверху. Систему подморозивания регулирует власть. И делает она это с волевым напором, достойным людей, на чьих плечах еще вчера были погоны. По существу, страну вот уже год управляет хунта, правда, пока без расстрелов инакомыслящих и отправки их в лагерь. Военизация власти, военизация всех сфер жизни и военизация сознания — вот «апрельские тезисы» Путина на 2001 год.

Не зря его правление началось с военной акции, не зря вместо гражданских губернаторов в провинции воцаряются генералы. Их задача — *силой* удержать распад и, может, насилием, впрочем когда не брезгуют силой — это и есть насилие.

И здесь обнаруживается парадокс новейшего времени. Генералам, откомандированным в регионы с театра военных действий, противостоит не народ, не разъяренная голодная толпа, не отдельные мятежники, а генералы — только вместо войска имеющие в подчинении нефтяные скважины, алюминиевые и никелевые комбинаты. И этот *класс*, который родился, вырос и окреп при Ельцине, ни за что не отдаст «своего», хотя и владеет этим «своим» всего лишь несколько лет.

Народ можно держать на голодном пайке, народ можно в прямом смысле вымораживать (зима 2000-2001 года), а *эти мерзнуть не станут*, голодать тоже откажутся, тут сила натолкнется на силу и еще неизвестно, чья сила возьмет верх. Государство пока слабее капитала, и это не могут не учитывать Путин и его отнюдь не сплоченное войско. Кроме того, на стороне капитала стоит капитал, где бы он ни обретался: в Европе, в Азии или в Америке. Долларовое родство ничуть не слабее семейного или национального родства, богатство — это тоже национальность, которая сегодня правит миром.

В одном журнале с глянцевою обложкой, издаваемом «новыми русскими», я прочитал: «Мы больше не намерены горбатиться на коммунистический общак». Язык наших капитанов бизнеса — воровской язык. Они делают свои заявления на языке урок, и это ответ собственника генералам, должный вызвать у них страх. Народ покорить генералы еще могут (он давно покорен, у него нечего взять), но с богатыми им придется повозиться.

Но большой войны между ними не будет. Политическая элита (будь это депутаты Думы или администраторы) прочно повязана отношениями с бизнесом. А нужна ли последнему абсолютная диктатура? Думаю, что не нужна.

Путин пока не президент военных и не президент хозяев жизни. Если Ельцин был президентом интеллигенции, создававшей ему имидж и всем, чем можно, попользовавшейся от него, то Путин не в состоянии стать президентом только тех или только этих. Ему придется ходить по канату и думать о равновесии, хотя его профессиональное прошлое и характер нацелены на жесткость, жесткость и жесткость. Так что он будет и президентом военных, и президентом королей бизнеса. Выкорчевать их (как Сталин — крестьянина) он не сможет, сослать всех в Сибирь или на Лазурный берег, как это он сделал с Гусинским, — тоже. Да и его аппарат ему этого не позволит, ибо он сложился и выпестовался в ельцинскую «грязную» эпоху. Он связан большими деньгами, как некогда большевики были связаны большими идеями.

А от больших идей отказаться легче, чем от больших денег. Такова уж природа человека.

Никакая реставрация сталинизма — в виде восстановления старого гимна, или предоставления президенту права без согласия парламента вводить чрезвычайное положение, или в факте переориентации приоритетов (впереди армия, за ней — народ) — в этих условиях невозможна.

Есть, правда, одно зловещее исключение: узаконивание анонимок. Отмененные при Ельцине, анонимки вновь входят в силу. Их теперь будут рассматривать как законный документ, а это — поощрение доноительства и самых худших нравов советской эпохи. Ничего более отвратительного, развра-

шающего одновременно как власть, так и народ, придумать нельзя. Мы делаемся беззащитны перед наветом негодяя, завистника, антисемита, кого угодно. В этом питательном бульоне можно с успехом выращивать новых павликов Морозовых, калеча человека уже с детства.

И все же, если мы получим диктатуру, то диктатуру с оглядкой на новых русских, на их вкусы, их аппетиты, но отнюдь не с оглядкой на народ, который, как прежде, будут гонять своенравные генералы.

2. ИНТЕЛЛИГЕНТЫ

Но есть и еще один парадокс: рейтинг Путина у народа зашкаливает за 70%. Стало быть, народ поддерживает Путина, а оппозиция исходит не из народа, а из рядов интеллигенции, тоже, кстати, не чуждой нежных отношений с капиталом.

Об этом говорит история с НТВ, которую на Западе трактуют исключительно как противоборство «светильников» с «гасильниками» (по определению Валерии Новодворской), праведных — с грешными. Меж тем это обыкновенные *игры денег*, а не борьба за свободу слова или вообще за свободу. На улицы в защиту НТВ высыпал не народ, а та же интеллигенция, свято верящая, что власть посягает на лучших из лучших. И, как это уже не раз с ней случалось, была обманута — не властью, а ее оппонентами.

Что же касается народа, то нищее население не поддержало бунт богатых. Страдалец за права народа, разъезжающий в «мерседесе», как-то не смотрелся на фоне помоек, в которых роятся ветераны труда.

К тому же наши «светильники», взлелеянные в недрах МГИМО и других вузов, готовящих кадры для спецслужб, мало походили на гонимых слуг Божьих, способных жизнь отдать за веру и идею. Они тут же перепродались другому хозяину и перепрыгнули в кресла ТВ-6, выбросив оттуда прежних сотрудников, ничуть не думая об их будущем.

Так кончилась революция, поднятая нашими «светильниками».

Интеллигенты, поддерживавшие их, думали, что те вот-вот выйдут на Красную площадь, обольют себя бензином (не дай Бог!) и т. д., но никакой Красной площади, никакого бензина, а вновь все на местах: кто на НТВ, кто на ОРТ, кто на ТВ-6. И всюду мягкие кресла, высокие оклады, право говорить что хочешь. Плюс к этому пожизненная ласка Запада.

Эта история — не только история конфуза телевизионного, а конфуза целого периода в истории современной России, начавшегося с громогласной «перестройки», перешедшего затем в торжество «демократии» и жиреющей на глазах интеллигентской «элиты».

Сравнивая фигурантов недавнего противостояния: Коха (Газпром) и Киселева (НТВ), я не вижу между ними различия: оба — постсоветские буржуа, только один — циник, не скрывающий того, что он циник (что делает его отчасти даже привлекательным), а другой — тоже циник, но изо всех сил притворяющийся праведником. Первый отталкивает от кассы второго и говорит: я отнимаю твои деньги, другой, хватаясь за те же деньги, уплывающие из его рук, кричит: в России нет свободы!

А на деле они нажились на одном развале, на одном горе и, поделив роли, сыграли в одной грязной пьесе.

И оба представляют тот класс, который, не освободившись от психологии советского люмпена, уже заимел все приоритеты буржуа, а поскольку это последнее качество передалось им не по наследству, то смесь вчерашнего люмпенства с амбицией новейшего Штольца приобретает карикатурные формы.

И здесь есть смысл сказать о ложной роли журналистики, которую она пыталась играть все последние годы. В стране, где на первом месте в деле влияния на общество стояла литература, эту функцию присвоила периодическая печать и телевидение. Телевизионные ведущие сделали не просто магами экрана, как некогда артисты кино или оперные певцы, а стали управлять страной! во всяком случае заявили свои права на этот род деятельности. Но и этого им показалось мало. Телевизионные и газетные олигархи (я имею в виду вещающих и пишущих олигархов) стали занимать ту нишу в отечественном духоведении, которая раньше была абонирована, по крайней мере, Толстым и Достоевским.

На горизонте замаячили новые «властители дум», быстро взявшие под опеку все виды жизни в стране. Толстому и Достоевскому пришлось потесниться, отныне какой-нибудь газетчик (вряд ли читавший полного Толстого) не просто сообщал читателю о случившемся в стране и в мире, но и учил его, как жить, во что верить, куда идти. Равняться, естественно, следовало на «цивилизованный мир», расположенный не так далеко — по ту сторону границы.

Идеал был выработан, и теперь его надо было внедрять. Отсюда — варварская приватизация, ограбление народа, вспухание богатой верхушки (неважно какой — бандитской или интеллигентской) и необыкновенное высокомерие по отношению к так называемым массам, которые ни в чем не разобрались.

Это одна из капитальных черт эпохи — дистанцирование интеллигенции от народа, точней сосредоточение на *своих* задачах (та же свобода слова), которые страшно далеки от задач большинства (скажем, владение землей, социальная защита), и есть не что иное, как свирепый эгоизм элиты. Отсюда ее безумная политизация, никогда не являвшаяся приоритетом для прежних властителей дум: сошлюсь на тех же Достоевского и Толстого.

Дилетантство той прослойки бывшего советского общества, которая подготовила события 1991 года, произошло из причины, названной Солженицыным «образованщиной», а за сто с лишним лет до него Пушкиным — «пагубной роскошью полупознаний».

Эта прослойка ненавидела советскую власть, но ее знание истории простиралось от 17-го года, и высшей точкой благосостояния народа был НЭП, изобретенный в начале 20-х Лениным. Во всяком случае, Горбачев приступил к перестройке, ориентируясь на работы Ленина, написанные им полупарализованной рукой. Ни Горбачев, ни Ельцин, ни ельцинский президентский совет, состоящий из советчиков-интеллигентов, никогда не читали Карамзина, Соловьева и Ключевского и не знали русской истории.

Перед ними возвышалась одна незыблемая святыня — Запад, его социальные институты, его идеал комфорта, его свободы и торжество закона.

Рывок к нему они собирались сделать по-ленински: в два-три года, через штурм Белого дома и захват газет и телевидения. Но еще Пушкин предупреждал об опасности «влияния чужеземного идеологизма». Задолго до «западников» и «славянофилов» он ставил вопрос о том, каким путем должна пойти Россия, и отвечал на него ссылкой на записку Карамзина «О древней и новой России», которую намеревался напечатать в своем «Современнике».

В этой записке историк предупреждал Александра I об опасности повторения ошибки Петра — переименовании обычаев и государственных установлений России по западному образцу. В статье «Джон Теннер» сам Пушкин писал: «С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, дныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим положением, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских... Уважение к сему новому народу и его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)».

Политическая программа Пушкина была ясна — Россия идет своим путем, отличным от пути той же Америки, но берущая из опыта других стран только пригодное для нее. Ни в каком случае *никакого форсирования истории*. Не «тайные общества», не «заговоры», не «замыслы более или менее кровавые и дерзкие» нужны России, а «долгосрочное приготовление».

Задолго до Герцена, до его «Писем с того берега», Пушкин подверг критике идеологию радикализма. Не безумная мечтательность (основа всякого революционаризма), не «упорство в тайном недоброжелательстве», а «соединение с правительством» в труде просвещения и воспитания — вот открытая дорога для каждого русского.

«Недостаток просвещенности и нравственности», — «пагубная роскошь полупознаний» толкают молодые умы (а их-то и хотел защитить от крайностей Пушкин) на искание быстрых и эффектных решений. Но гораздо выше многолетний «*подвиг улучшения*».

Очевидно, эта программа и до сих пор остается актуальной для России.

Революция 1991 года, совершённая по рецептам теории крайностей, теории немедленного обновления и улучшения, принесла разрушения. Но один (опять-таки стремительный) откат к старому, предпринимаемый сегодня Путиным, не способен вернуть общество в состояние спокойствия.

Нам не нужны резкие рывки то назад, то вперед, а потребно стратегическое зрение, которое позволяет соединить интуицию, здравый смысл и полное знание. Этот синтез — и есть та единственная теория, которая даст возможность России выйти наконец к свободе.

3. ГУЛАГ

Недавно у нас вышла книга о ГУЛАГе.

Погружаясь в эту книгу, я — в который раз — погружаюсь в собственную жизнь.

В середине августа 1941 года пожилой милиционер с кобурой на боку вывел меня из ворот московского приемника-распределителя ГУЛАГа НКВД. Наш путь лежал через весь город на Павелецкий вокзал, оттуда на станцию Барыбино, а далее — тридцать километров пешком до села Большое Алексеевское.

Там он должен был сдать меня в детский дом №3 Мосгороно.

В приемник я попал после ареста матери — отец мой уже четыре года находился в неволе — и не знал тогда, что каменные стены, обнесенные поверху колючей проволокой, и церковь, на холодном полу которой стояли привинченные к плитке кровати, есть не что иное, как самый старый в Москве Даниловский монастырь, превращенный в начале тридцатых в детскую тюрьму.

Не знал я тогда и того, что на счет таких, как я, имеются особые указания, запечатленные в секретных циркулярах и оперативных приказах НКВД. Один из них — от 30 июля 1937 года — гласил: «Все семьи репрессированных взять на учет и установить за ними секретное наблюдение». Другой — от 15 августа 1937 года, названный «Об операции по репрессированию жен и детей изменников родины» прямо касался меня. «При аресте жен, — говорилось в нем — дети у них **изымаются**». Слово «изымать», имея корнем старо-славянское «имати», означает «брать», «хватать».

Так выхватили у мамы и меня.

Читая полвека спустя ее «дело», я был поражен совершенством машины учета, которая бесшумно работала даже тогда, когда немец стоял чуть ли не под Москвой. К толстой пачке бумаг было, в том числе, подшито письмо, адресованное начальнику 1-го спецотдела НКВД тов. Башкатову, где сообщалось, что я «взят на воспитание в детский приемник-распределитель».

С какой стороны мог интересоваться этих людоедов десятилетний пацан? Что им было до него?

И опять-таки я не знал тогда, что уже включен в «именные списки», что на меня, как и на мать, собирались «установочные данные и компрометирующие материалы». А по прибытии в приемник, и позже в детдом, за моим «политическим настроением» будет вестись наблюдение.

Обо всем этом мне поведала книга «ГУЛАГ (1918-1960)», выпущенная Международным фондом «Демократия» и издательством «Материк» в серии «Россия, XX век» (М., 2000).

Около тысячи страниц откровения о самом, может быть, закрытом из учреждений советской карательной системы. Начиная с первых (1918) приказов ЧК о «красном терроре» (доминирующая строка: «расстрелять немедленно») и кончая хрущевскими послаблениями.

Статистика: с 1921 по 1938 год осуждено четыре миллиона восемьсот тысяч человек. Из них к высшей мере наказания приговорено около семисот тысяч. Три миллиона осудили бессудные «тройки» и коллегия ОГПУ. В то вре-

мя как «средняя обеспеченность жилплощадью» (!) в лагерях составляет 2,1 квадратных метра, начальники ГУЛАГа катаются на автомобилях марки «форд», «шевроле» и «паккард». Приказ НКВД от 30 июля 1937 года «Об операции по репрессированию... антисоветских элементов». Операцию закончить в четыре месяца. Дана разрядка на аресты и последующие приговоры. По приговору первой категории (ВМН — расстрел) — столько-то, по приговору второй категории (от 8 до 10 лет) — столько-то. На каждую область, каждую республику — отдельные цифры.

График подобен графикам, составляемым для выполнения плана по углю, по зерну, по отгрузке вагонов. По Московской области расстрелять пять тысяч человек. По второй категории посадить тридцать тысяч. Не названы ни имена, ни фамилии. Просто план.

Всего по Советскому Союзу расстрелять семьдесят пять тысяч да еще в лагерях десять тысяч. «Сохранять в тайне место и время приведения приговора в исполнение». А вообще «сообщать устно», что расстрелянные «умерли в местах заключения».

Подробные инструкции, как сажать, как судить («Дело слушается без участия сторон», просьбы о пересмотре приговора не принимаются, приговор немедленно приводится в исполнение).

И еще один пункт потряс меня: «Аресту не подлежат... жены осужденных, разоблачившие своих мужей и сообщившие сведения, послужившие основанием к разработке и аресту». Какой соблазн остаться в живых! И какой подлый взнос за него! К счастью миллионы жен не пошли на это.

Может, потому к концу войны их количество в Лагерях возрастает и перекрывает число зеков-мужчин. Статистика ГУЛАГа бесстыдна: с 1941 по 1944 год «агентурно-осведомительная сеть» в лагерях «возросла на 186%», причем ряды агентов — на 302%, а резидентов — на 225%. Всего же их армия составляет почти сто тысяч единиц. Делим два миллиона (официальные данные о количестве заключенных) на сто тысяч, получается: на 20 человек один стукач.

Вот она где, сила советского строя! В повязывающей весь народ сети доносительства, в страхе каждого перед каждым, что сильнее страха перед властью, перед государством.

Далее и насчет нас, детей, имеется абзац: «Приступить к вербовке агентурно-осведомительной сети из числа... старших возрастов несовершеннолетних. Каждую вербовку тщательно подготавливать. Личных дел на завербованных не заводить, а ограничиться отображением подписки о неразглашении, не указывая в ней о привлечении к секретному сотрудничеству».

Особое внимание уделить *агентурному обслуживанию* детей репрессированных».

Стоп. Приехали.

На карте страны — кружочки, обозначающие «дислокацию» ГУЛАГа. Не только Сибирь, Дальний Восток, Север, но центральная Россия как будто побиты черной оспой. И всюду, где какая-нибудь стройка века, ГЭС, завод, алюминиевые или никелевые гиганты, каналы, новые железные дороги, шахты, где нефть, газ, золото, молибден, уран, — эти самые оспины.

Дорога на Воркуту, Куйбышевская плотина, самолетные заводы, аэродромы, радиостанции, целлюлозно-бумажные комбинаты, железнодорожные мосты, заводы по производству подводных лодок, лес, рыба, уголь — и повсеместно колючая проволока, вышки, особые лагеря, штрафные зоны, карцеры и бесплатный труд голодных рабов.

Недавно я прочитал в журнале «Наш современник» (№3, 2000): «Советский строй сложился в определенных природных и исторических обстоятельствах. Исходя из них, — утверждает автор статьи С.Кара-Мурза, — поколения, создававшие советский строй, определили главный критерий выбора — сокращение страданий».

Что можно сказать по этому поводу, кроме того, что сказанное — ложь. Конечно, народ не может стремиться к увеличению собственных страданий, но «создатели строя» как раз к этому стремились, считая страдания благом, закаляющим советских людей.

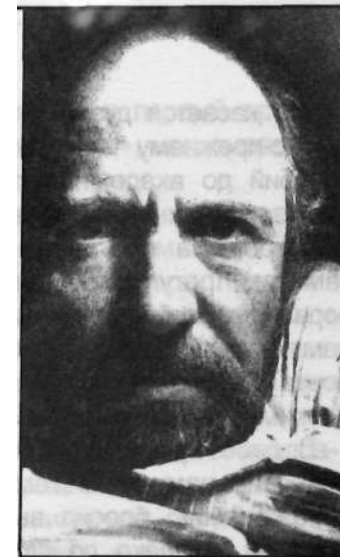
Сокрушительное тому свидетельство — свод документов ГУЛАГа, которые, явись они лет двадцать пять назад, могли бы произвести взрыв, подобный тому, что случился в Степном лагере в мае 1954 года и поставил на уши всех — от высших чинов МВД до вождей партии.

Сейчас мы уже, кажется, привыкли к оглашению страшных фактов и цифр, и оттого — когда речь идет о прошлом — делаемся глухи к не нашей боли, к не нашему страданию. Но они наши. Потому что изживать их придется нам. Мы носим эту боль и этот страх в подкорке, как неминуемо носим вину перед мертвыми.

Иногда мне кажется, что я хожу не по земле, а по костям, и они, попираемые мной, кричат «Помни!»

Изживание боли — не линька и не сбрасывание кожи, которая у некоторых видов укладывается в минуты, а душевный труд нескольких поколений.

Мы никогда не будем счастливы, если станем жить по принципу «однова живем».



Юрий ДРУЖНИКОВ

НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ ИЛИ НЕВОЛЬНИК СМЕРТИ?

Боже мой, до чего политизирован «наше все» Александр Сергеевич! Шага ему не шагнуть, не зацепившись о пропагандистский силочок. Прошли времена изданий, в которых строка «За морем житье не худо» в сказке о Царе Салтане убиралась по космополитическим причинам. Не пишут, что в стихе «Октябрь уж наступил», поэт, конечно же, предвидел Октябрьскую революцию. Но и по сей день недалеко ушла пушкинистика от агитпропа. Преодолели декабриста и тираноборца, сделали фанатика-христианина. После распада Советского Союза власти назвали его «объединителем России». Из Америки видно, как в новых обстоятельствах поэта-всечеловека опять превратили в националиста. И с удвоенной силой он, якобы, зовет куда-то. Как недавно заявил пушкинист-администратор Е.Челышев, Пушкин у него «пробуждает любовь к России, гордость за ее великое прошлое, веру в будущее». Видно, своей гордости не хватает, коль скоро надо пробуждать извне, а насчет веры в будущее лучше бы нынче помолчать.

Что касается дуэли и смерти поэта, невольника чести, то тут по-прежнему — от низшей до высшей школы, от детских пособий до академических рассуждений — раскалено добела политическое противоборство поэта с монархическим монстром за прогресс, за наши светлые идеалы, хотя и, заметим, регулярно меняющиеся в зависимости от смены осрамившихся властей. Иван Тургенев в речи на открытии памятника Пушкину в 1880 году заявил, что дуэль и смерть поэта были трагическими случайностями, тем более трагическими, что они случайны. А если закономерны?

В свое время официальный биограф Пушкина Д.Благой объяснил нам дуэль тем, что поэт был затравлен «царскими псарями», бросил вызов самодержавию и пал жертвой. Отсюда недалеко до славной легенды советских времен о том, что во время дуэли в сугробе за кустом притаился секретный агент Третьего отделения, который и выстрелил Пушкину в живот.

Что если рискнуть и вернуться к началам, отказавшись от предубеждений, и еще раз взглянуть на смерть? И не в измене жены причина. Не в Дантесе, не в царе, не в злобном окружении, где вот уже более полутора столетия пытаются найти виновных, чтобы обелить поэта. Боюсь, ответ, который предлагает автор в заканчиваемой книге «Смерть изгоя», многим придется не по душе: поэта можно назвать не только невольником чести, но и — невольником смерти.

ПУШКИН НА ПРИЕМЕ У ПСИХИАТРОВ

«Изучение жизни Пушкина убеждает психиатра в том, что он обладал полным психическим здоровьем», — писал в конце XIX века дерптский профессор В.Чиж в брошюре «Пушкин как идеал душевного здоровья». И прибавлял: «Я как психиатр удивляюсь, как мог Пушкин перенести все постигшие его беды... Пушкин даже не заболел неврастельностью, хотя несчастья, его постигшие, вредно влияли на его здоровье в течение нескольких лет». Вопрос серьезный, и сегодня вряд ли можно решать его столь категорически, ибо мнения современных экспертов, с которыми мы разби-

рались в истории болезни, расходятся. Да и первый простой факт состоит в том, что «постигшие его беды», как выразился Чиж, Пушкин на самом деле перенести не смог.

Мрачное состояние Пушкина начинается задолго до ревности и последней дуэли, сопровождаясь спадом творческой активности. В последний год жизни внешне он подавлен запретами, ограничениями, бесправием, долгами, внутренне — один «между четырех стен» (его выражение). Александр Тургенев писал: «Он полон идей». Но энергия для осуществления этих идей иссякла. Нездоровый образ жизни и расшатанное душевное состояние делают его раздражительным, недоверчивым, обидчивым. Он стал замкнутым и угрюмым. Он привык к непониманию окружающих, давно решив, что приятелей у него полно, а друзей нет, но те и другие — предатели. Жена этого не замечает и потому не способна ни успокоить его, ни поддержать, дети малые. Нет возле него родных: мать умерла, на отца он в обиде за скупость, сестра с мужем в Варшаве, брат на Кавказе. Лицейские приятели — кто где, Соболевский в Европе, Нащокин в Москве, Вяземский в стороне от него, Жуковский помог остановить дуэль в ноябре, и за это Пушкин на него зол. Он один, кругом враги.

Нервы у него расстроены, отмечает зять Николай Павлович. Сестра поражена его худобой, желтизной лица. Встречи с братом ее огорчали: он «с трудом уже выносил последовательную беседу, не мог сидеть долго на одном месте, вздрагивал от громких звонков, падения предметов на пол; письма же распечатывал с волнением; не выносил ни крика детей, ни музыки». Ольга писала мужу в Варшаву (он там служил помощником статс-секретаря Госсювета): «...Я очень сердита на вас за то, что вы написали к Александру (Павлищев давал ему хозяйственные советы. — Ю.Д.); это лишь привело к тому, что он рассвирепел, я не припомню, чтобы когда-нибудь видела его в таком отвратительном расположении духа. Он кричал до хрипоты, что готов отдать все, что имеет (может быть, включая жену), чем опять иметь дело с Болдином, с управляющим, с Ломбардом и т.д.». Сестра добавляла: настроение Пушкина было таким, что он даже не распечатывал письма.

Тот же В.Чиж, противореча самому себе, в указанной выше работе писал: «...в действительности характер Пушкина был раздражительный, «хандрливый», по его собственному выражению, — глубоко неуравновешенный и пессимистический». Пушкин был мнителен и упрям, считала его мать. В Лицее он оскорбительно шутил с товарищами, злословил, был вспыльчив, но отходил, любил участвовать в драках (вспомним хвастливый рассказ о потасовке с немцами в кабаке), бывал бит, ходил с опухшим лицом, в синяках.

Петр Плетнев вспоминал: «Он без малейшего сопротивления уступал влиянию одной минуты и без сожаления тратил время на ничтожные забавы». А вот наблюдение Прасковьи Осиповой: «Молодой, пылкий человек, который, кажется, увлеченный сильным воображением, часто к несчастью своему и всех тех, кои берут в нем участие, действует прежде, а обдумывает после...». Плетнев добавляет к этому: «Пылкость его ума образовала из него это необыкновенное, даже странное существо, в котором все качества приняли вид крайностей».

Вот как Пушкин видит себя в письме к Василию Зубкову: «...Характер мой — неровный, ревнивый, подозрительный, буйный и слабый одновременно — вот что иногда наводит на меня тягостные раздумья». Он сам пишет про «минуту хандры и досады на всех и все». Хандра — то есть тоска, *spleen* (то есть раздражение, злоба), а также уныние, скука — все эти слова в его постоянном лексиконе. Отцу он сообщает «Я ничего не делаю, а только исхожу желчью». В последнем письме к Чаадаеву он объясняет социальные причины своего состояния: «Отсутствие общественного мнения, равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние».

Физическое здоровье поэта, судя по косвенным данным, стало не лучше психического. Модест Корф, одноклассник и многолетний сосед Пушкина, пишет: «Должно удивляться, как здоровье и самый талант его выдерживали такой образ жизни, с которым естественно сопрягались

частые любовные болезни, низводившие его не раз на край могилы». Тоску Пушкин, по свидетельству Плетнева, «изъяснял расположением своим к чахотке». Врач и друг поэта Владимир Даль понимал эту болезнь как *изнурительную и смертельную*, для объяснения предлагая следующие слова: *сохнуть, вянуть, блекнуть, хилеть, хиреть, дряхлеть, худеть и слабеть*, лишь в последнюю очередь упоминая *порчу легких*. Пушкин знал, что болен.

ДОСЬЕ СКАНДАЛИСТА

Дуэль занимала поэта-фаталиста всю жизнь. В кишиневской ссылке он ел черешню и сплевывал косточки, демонстрируя свое хладнокровие, когда в него целились. Периодически «брехал» (его выражение) войной и в том же Кишиневе писал сладострастно о трупах. Дрался на дуэли с любимым другом юности Кюхельбекером. Вернулся из шестилетней ссылки в Москву и после встречи с царем первым делом послал секундантов к Федору Толстому, чтобы свести счеты. И с кем? С дуэлянтом, который уже убил одиннадцать человек и с Пушкиным бы не промахнулся. Кровь имела для него особый смысл.

Враги! Давно ли друг от друга Их жажда крови отвела?

Жажда человеческой крови — что может быть более пугающим? Сразу три дуэльных ситуации создает Пушкин в начале февраля 1836 года. Из-за нескольких слов, которые Владимир Соллогуб сказал Наталье, подшучивавшей над ним, Пушкин вызвал молодого человека на поединок. Конфликт тянулся долго и исчерпался благодаря письменным извинениям Соллогуба. Тогда же, 4 февраля, Пушкин послал письмо князю Николаю Репнину, требуя от него отказа от слов некоего Боголюбова, который, ссылаясь на Репнина, якобы, нелестно отозвался о поэте, — иначе, понятно, дуэль.

Ответ Репнина, который ничего против Пушкина не говорил, полон мудрости: «Вам же искренно скажу, что гениальный талант ваш принесет пользу отечеству и вам

славу, воспевая веру и верность русскую, а не оскорблением честных людей». Пушкин успокоился, но в тот же день, что, видимо, связано с ухудшением состояния, придрался в собственном доме к гостю Семену Хлюстину, который, якобы, повторил неприятные слова Сенковского о нем, о Пушкине. Начинается нелепая перелиска по поводу употребления двух слов «свины» и «мерзавцы». Хлюстин отказывается отступить, и дуэль надвигается неотвратимо. Лишь переговоры общих друзей привели к перемирию, чему поспособствовало, возможно, улучшение психического состояния поэта.

Относительно ноябрьской, несостоявшейся дуэли с Дантесом Пушкин говорил; «Чем кровавее, тем лучше». Соллогуб рассказывал о Пушкине: «Губы его дрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения». Значение пушкинских африканских корней уже тогда преувеличивалось, и ему самому это нравилось. Жуковский пытается убедить Пушкина: «Но ради Бога одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления». Однако как избавить поэта от навязчивого желания приблизить смерть? Поединок стал бы бессмысленным, если бы дуэлянт собирался жить дальше. Отодвинуть удалось на два месяца.

Дуэль таяла, а он жаждал крови и все начал сначала. Решил, что клеветническое письмо сочинил барон Геккерен, и отказывался слушать возражения. Вере Вяземской поэт сказал: «Через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит этого человека в грязь». Жуковский отметил «бешенство» Пушкина. Дантесу, встречаясь в свете, он говорил грубости, провоцируя того на продолжение скандала. Все хотят его утихомирить, только сам он этого не желает. Геккерен готов идти на любые условия, лишь бы заключить мир. Поэта уговаривают, что Дантес всерьез женится на Екатерине. Пушкин снова остывает, но не надолго.

На именинах жены Греча он был мрачен. Когда хозяин провожал его в прихожую, Пушкин сказал ему: «Все словно бьет лихорадка... Нездоровится что-то в нашем медве-

жем климате. Надо на юг, на юг!». Непонятно, какой юг он имел в виду, но ему плохо. Следует новое оскорбительное послание Геккерену с обвинениями в авторстве анонимного письма и в сводничестве. Приятель «накануне видел Пушкина, которого он нашел ужасно упавшим духом, раскаивавшимся, что написал свой мстительный пасквиль...». Софья Карамзина свидетельствовала; Пушкин «своей тоской и на меня тоску наводит. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд с вызывающим тревогу вниманием останавливается лишь на его жене и Дантесе...». Новый год Пушкины встречают вместе с Дантесом. Вид у поэта такой страшный, что графиня Строганова говорит: будь она его женой, не решилась бы вернуться с ним домой. После обсуждения ситуации с Вяземскими, Тургенев отмечает в дневнике: «Поэт — сумасшедший».

За два дня до последней дуэли он был на вечере у Мещерских. Карамзина записывает: «Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тифа...». Екатерина Карамзина говорит о последней дуэли: «он внес в нее свою долю непостижимого безумия». Борец за честь семьи — совратитель жившей с ними вместе свояченицы Александрины, готовый убить мужа другой свояченицы. Не в Пушкине, а в Дантесе значительная часть пушкинского окружения видела настоящего мужчину, который жертвовал собой, чтобы защитить репутацию возлюбленной.

«Выражение лица его было страшно», — встретил поэта на улице Вяземский-младший. Баронессе Евпраксии Вревской, с которой у него были долгие отношения и которая понимала его лучше жены, Пушкин поведал накануне дуэли, что не собирается жить. Он говорил ей «о бремени клевет, о запутанности материальных средств, о посягательстве на его честь, на свое имя, на святость семейного очага и, давимый ревностью, мучимый фальшивостью положения в той сфере, куда ему не следовало стремиться, видимо, искал смерти». Он сказал ей, что о детях позаботится царь.

Человек, ищущий смерть, с большей степенью вероятности найдет ее раньше, чем тот, кто ее не ищет. Дантес не хотел убивать. Поединок был *избежным*. Разве Пушкин не

мог умом обыграть своего врага? Можно ли верить его разговорам, что он решил — нет, не сразить эпиграммой, а — примитивно устранить Дантеса физически? Банальный любовный конфликт Пушкин превратил в смертельную схватку двух самцов за самку. Он срежиссировал так, что под видом благородной дуэли, защищающей честь, Дантес вынужден выступить в роли *киллера*.

Молодой журналист Николай Иваницкий, встречавшийся с поэтом, записывает в дневнике: «В последний год жизни Пушкин решительно искал смерти. Тут была какая-то психологическая задача». Александр Тургенев понял, что это не дуэль, накануне смерти Пушкина написав в письме: «...Вероятно, сегодня Россия лишится великого поэта». Поистине, как писал Соллогуб, который был секундантом при подготовке ноябрьской дуэли: «Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел... Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы со всем светским обществом». Соллогуб прибавляет: «...Он сам увлекался к смерти силою почти сверхъестественною и, так сказать, осязательною».

По дороге с Черной речки домой Пушкин сказал: «Я жить не ючу». В постели повторял: «...Если Арендт найдет мою рану серьезной, смертельной, ты мне об этом скажешь! Меня не испугаешь: я жить не хочу». Заявил, что если останется жить, дуэль возобновится, так как хотел идти до конца, но надеялся прожить не больше двух дней, то и дело спрашивал верного ему Данзаса, скоро ли умрет. Он сам себе нащупал пульс и сказал: «Смерть идет». Даль записал слова, которые повторял Пушкин: «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?»; «Нет, мне здесь не житье; я умру, да, видно, уже так надо»; «А скоро ли конец? Пожалуйста, поскорее!»; «Кончена жизнь. Жизнь кончена».

Ни единого слова не было сказано поэтом о написанном, неопубликованных рукописях, собственном журнале, литературе вообще, о стране, о делах общественных. Никакой политики, никаких распоряжений великого поэта-гражданина, сознающего, что умирает! Ухажер жены, которого он великодушно простил («не мстите за меня»), слова христианской преданности царю-батюшке (возможно, придуманные его друзьями), — вот и весь перечень последних его

забот. Нет, не за отчизну дрался Пушкин и не за семью, а — против себя.

Потеряв много крови, он успокоился после опиума, данного доктором. Не случайно Вяземский писал: «Необузданный, пылкий, беспорядочный, сам себя не помнящий во всех своих шагах, имевших привести к роковому исходу, он сделался спокоен, прост и полон достоинства, как скоро добился, чего желал; ибо он желал этого исхода». Если бы Пушкин не был смертельно ранен 27 января, он вскоре повторил бы дуэль или покончил с собой другим способом.

МОЖНО ЛИ БЫЛО СПАСТИ ПУШКИНА?

Восемь лучших врачей Петербурга, включая личного врача царской семьи, пытались сделать это. Даль, который производил вскрытие тела, заявил, что пуля ранила брюшину и вошла в крестец; ранения кишечника не было установлено. Ставили ему, и без того потерявшему много крови, пиявки. Вопрос об операции, хотя лапаротомия (вскрытие брюшной полости) даже в России тогда уже делалась, почему-то не возник. Знаменитый хирург (так пишется о нем в энциклопедии Брокгауза) Николай Арендт, который принимал участие в войне с Наполеоном, а значит, не раз имел дело с подобными случаями, сказал только: «...жаль, что он не был убит на месте, потому что мучения его невыразимы».

В тридцатые годы XX века утверждалось, что доктор Арендт не лечил Пушкина из политических соображений и дал ему умереть, но что советские врачи спасли бы поэта. Для проверки писатель Андрей Соболев в 1926 году пришел на Тверской бульвар к памятнику Пушкина с наганом и выстрелил себе в живот. Через двадцать минут его положили на операционный стол в той самой клинике, врачи которой, отвечая на вопрос пушкиниста, похвалялись своими преимуществами перед Арендтом. Через три часа после операции Соболев умер, хотя пуля нанесла ему более легкое повреждение, чем Пушкину. На деле и того, и другого писателя спасти надо было не после выстрела, а до выстрела, как психически неустойчивых.

По воззрениям американских психиатров, Пушкин как всякая творческая личность относился к так называемой группе риска. Приступы тоски с желанием покончить с собой бывали у него с юности. Самое раннее признание относится к 1815 году — «Мое завещание друзьям»: «Певец решился умереть». А в черновике шестнадцатилетний подросток, который решил «навек укрыться», объясняет:

**Нет, полно, полно мне терпеть!
Дорожный посох мне наскучил,
Угрюмый рок меня замучил,
Хочу я завтра умереть.**

В юности, да и потом он весело склоняет в стихах имя Сенеки, вскрывшего себе вены. Двадцати лет отроду пишет: «Мне мир постыл...». Под текстом недописанного стихотворения нарисован пистолет, и трудно отделить романтическую позу от реальных мыслей. Т.Цявловская резонно пишет: «Покушения на самоубийство не было. Но искушение, по-видимому, было. Вернулось оно в апреле 1820 года, когда по Петербургу распространились слухи, оскорбительные для чести Пушкина». Причина — сплетня, будто молодого поэта высекали в тайной канцелярии. Желание покончить с собой от позора есть один из важных признаков депрессии.

Слух о самоубийстве Пушкина летом 1824 года распространился по Одессе и не на шутку перепугал его друзей в Петербурге и Москве. Осенью того же года в Михайловском после драки с отцом, согласившимся донести в полицию о поведении сына, поэт написал Жуковскому: «Стыжусь, что доселе живу, не имея духа исполнить пророческую весть, которая разнеслась недавно обо мне, и еще не застрелился». Переписывая письмо набело, Пушкин поостыл и про желание покончить собой не стал упоминать.

Тоска душила его каждую весну. Брат Лев предупреждает соседку по Михайловскому Осипову: «...Я еще более тревожусь за брата. Приближается весна; это время года располагает его сильнее к меланхолии; признаюсь, что я во многих отношениях опасаюсь ее последствий». «Последствия» — это опасения, что в связи с неудавшимся бегством за границу поэт наложит на себя руки.

«КОНЕЦ... КОТОРЫЙ ОН САМ СЕБЕ НАПРОРОЧИЛ»

Пушкин писал об Ушакове и Радищеве: «Муки его (Ушакова. — Ю.Д.) сделались нестерпимы, и он потребовал яду от одного из своих товарищей. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений». И дальше: «Огорченный и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, об лейпцигском студенте, подавшем ему некогда первую мысль о самоубийстве... и отравился. Конец, им давно предвиденный и который он сам себе напроорочил!». За год до конца Пушкин нарисовал в розовых тонах гибель Грибоедова: «Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна».

Через два месяца после женитьбы Пушкин готовит для «Литературной газеты» эссе о стихах Иосифа Делорма, в которых тот описывает прелести самоубийства. Пушкин в восторге от этих стихов:

**Нырнуть головой, чтобы больше ее не поднимать,
Вот моя заветная мечта, когда я задумываю умереть...
Соловей, чувствуя, что голос его слабеет,
И приближается холодный ветер, и опадает его оперение,
Исчезает из жизни незаметно для всех, как лесное эхо:
Я так же хочу исчезнуть.**

Нидерландский посланник Геккерен первым назвал Пушкина в письме самоубийцей, искавшим смерти. И наша неприязнь к барону не отменяет этого объяснения. Самоубийство требует, однако, изменить весь подход к биографии поэта. За жизнь Пушкин никогда не цеплялся, и остается удивляться не тому, что он рано рассчитался с земным существованием, а тому, что он смог прожить так долго и успел оставить нам так много. Как заметит позже герой Ивана Тургенева, «уничтожаясь, я перестаю быть лишним». Он решил сам управиться со смертью. Подчеркнем: не она с ним, а он с ней.

Вопрос о дуэли в качестве самоубийства возник не на пустом месте. Не мы — поэт сам приравнял дуэль к суициду.

В состоянии хандры он комментирует анналы Тацита и там устанавливает прямую связь между самоубийством и дуэлью: «Самоубийство так же было обыкновенно в древности, как поединок в наши времена». Пожалуй, наиболее прямолинейно тему сформулировал на Западе Дмитрий Мирский. Задуматься над пушкинским решением уйти из жизни Мирскому дало повод самоубийство Маяковского.

Князь Мирский, сделавшийся ярим марксистом, еще живя на Западе, доказывал, сравнивая смерти Маяковского и Пушкина, что и последний нашел единственный для себя выход. Но и у Мирского одна политика: оказался поэт в этом положении, идя на бесконечные уступки царю. «Загнанный в тупик Пушкин выбрал путь, который, этически и психологически, был путем самоубийства. Дуэль, как мы теперь видим, была для него линией наименьшего сопротивления на пути к смерти». Рисунки пистолетов в рукописях Пушкина называют «сигналами дуэли». Всего у Пушкина было не менее пятнадцати шансов отправиться на тот свет, пятнадцать репетиций Черной речки. О других его дуэлях мы не знаем. Борис Пастернак, размышляя о смерти Пушкина, тоже отмечал финал «иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланию защищаться, очень похожий на самоубийство». Скепсис Пастернака по отношению к пушкинистике известен.

Освоив изрядное количество специальной медицинской литературы и понимая всю условность подобной работы, мы перешли к дебатам с несколькими американскими психиатрами разных профилей, в том числе невропатологом и профессором криминалистики. Факты были предложены консультантам без имени Пушкина, без дат и мест, дабы исключить побочные соображения, связанные с узнаванием конкретного человека. Поэт в обществе всегда страшен, наподобие городского сумасшедшего. Имя стало экспертам ясно, когда перешли к анализу произведений.

Вообще говоря, сумасшествие и самоубийство — такие же темы литературы, как все прочие; писатель исследует закоулки человеческого сознания. Может он эти состояния героев гиперболизировать и, конечно, писать от первого лица. Но, исследуя своих героев, писатель невольно

разбирается и в себе. Критики часто отмечают эту близость: поэтическое творчество как скольжение на грани. В психоанализе поэт и неврастеник находятся в одной категории. Пушкина больше волнует не само сумасшествие, а — как к больному относится общество.

Душевное нездоровье становится у Пушкина лейтмотивом творчества. От текста к тексту в произведениях Пушкина следует вереница сошедших с ума героев: старик в «Русалке», старик-отец в «Дубровском», Евгений в «Медном всаднике», Германн. Пушкин сам говорит о своем страхе перед сумасшествием: «Не дай мне Бог сойти с ума...». «После «Пиковой дамы» Пушкин больше не обращался к патологическим типам, маньякам и сумасшедшим, — отмечал М.Гофман. — Почему? Потому ли, что зафиксировав психозы, поэт освободился от них, или потому что с 1834 года он находился в таком безысходно мрачном состоянии, что боялся касаться этих тем?».

КОГДА РАЗЛИВАЕТСЯ ЧЕРНАЯ ЖЕЛЧЬ

Слово «меланхолия», употреблявшееся Пушкиным и применительно к себе, означает по-гречески «черную желчь», преобладанием которой в организме Гиппократ объяснял состояние человека. Говоря сегодняшним языком, меланхолия есть *депрессия*. По мнению американских экспертов, следует различать *тяжелую депрессию* и *легкую депрессию*. Поскольку тяжелая депрессия имеет место, когда больной не реагирует на среду, то меланхолия, которой Пушкин описывает свое состояние, будет синонимом легкой. Однако же, объективно ли он оценивал собственное здоровье?

Собирая анамнез сегодня, можно сказать, что за год до смерти у него наличествовали семь из девяти основных признаков тяжелой депрессии: снижение жизненной энергии, снижение интереса и удовольствия почти во всех проявлениях деятельности, потеря концентрации в доведении дел до конца, наличие психомоторного возбуждения, неадекватное чувство безнадежности, понижение сексуальных желаний, нарушение сна, мысли о самоубийстве. О двух из девяти признаках: снижении или увеличении

аппетита и понижении сексуальных желаний — у нас нет информации. Кроме того, у Пушкина скорей всего имела место как минимум *циклотимия* — мягкий вариант маниакально-депрессивного психоза. После депрессии бывают смены состояния, переходы в манию. Злобность, злопамятность, скандальность, мстительность, мнительность (я окружен врагами, все только и делают, что плетут интриги против меня), а также другие сходные социальные отклонения являют собой элементы психопатии.

В начале XIX века причинами самоубийства в России не занимались, хотя тема и факты становятся предметом постоянных упоминаний в газетах. В образованной части общества, склонной к чтению романтической литературы, самоубийство окружено неким романтическим ореолом. В тридцатые годы суицид становится распространенным явлением. При самоубийстве, с точки зрения психиатров, ситуация выглядит так. «Давление смерти» на потенциального самоубийцу развивается от слабого к сильному и обратно, но может резко меняться в зависимости от ухудшения ситуации, поэтому следует разделить *суицидное поведение* и *суицид*. В американской криминалистике используются термины *саморазрушительное поведение* и *задуманное самоубийство*, когда обстоятельства вокруг оказываются непреодолимыми, а выход из них прост. В криминалистике США зарегистрированы способы самоубийства, распространенные среди черного населения: самоубийца на улице стремительно бежит прямо на полицейского с игрушечным пистолетом или делает вид, что на ходу вынимает пистолет, и полицейский стреляет в целях самозащиты. Дуэль по отношению к активной стороне, ищущей поединка, можно приравнять к саморазрушительному поведению и в более определенной фазе — к задуманному самоубийству.

Психиатру важно получить ответы на два вопроса. Первый; хочет ли человек жить дальше? И второй, если не хочет жить: есть ли у него *план*, как это сделать? Приходится признать, что у Пушкина отрицательный ответ на первый вопрос в течение его жизни появлялся несколько раз. А при трехмесячной подготовке последней дуэли, несомненно существовал план.

Когда человек бросается под поезд — это не значит, что его убил поезд. Доказывать, что Пушкина убил Дантес есть то же, что доказывать, что Анну Каренину убил поезд. Бартенев писал: «...несчастный убийца был убийцею невольным». Самоубийца выбирает способ ему близкий. Использование огнестрельного оружия самоубийцами по статистике находится на втором месте после отравления. Но отравлением чаще пользуются женщины.

Он давно не стрелял и потерял навык, но не мог не знать, что его бывший приятель, а теперь враг Дантес в военном училище был признан лучшим стрелком по голубям в полете. Нажав курок издали, на ходу, француз терял точность, зато опережал выстрел Пушкина, который, долго не поднимал пистолет и двигался вперед, подставив себя под пулю. Дантес потом объяснял, что хотел попасть противнику в ноги, но, будучи высокого роста, он целился в маленького Пушкина. Упав в снег, раненый сказал, что тоже хочет выстрелить, и сделал это плохо.

После дуэли истекающий кровью Пушкин заявил, и слова его записал Вяземский: «Как только мы поправимся, снова начнем». В постели Пушкин пытается сделать это сам. По воспоминаниям А.Аммосова, позвав человека, он велел подать ему один из ящиков письменного стола; человек исполнил его волю, но поскольку в ящике были пистолеты, предупредил Данзаса. Тот подбежал и отобрал у Пушкина пистолет, уже спрятанный под одеяло. Пушкин признался, что хотел застрелиться.

Когда римские писатели говорили *emigrare*, это значило просто «переселиться». У Цезаря смысл немного меняется: «покинуть родину». Позже это слово стало означать насилие: «выгнать из страны». Цицерон первым сказал: «эмигрировать из жизни», то есть «принять смерть». О самоубийстве как эмиграции в эпоху Просвещения заговорил итальянский юрист и реформатор уголовного права Чезаре де Баккария, чьи труды оказали влияние на формирование законов в Европе и в США. В «Трактате о преступлениях и наказаниях» Баккария размышляет о странах, в которых самоубийства законами запрещены, а эмиграция разрешена. Утилитарно говоря, с экономической точки зрения для государства выгоднее самоубий-

ство индивида, чем его выезд в другую страну, ибо эмигрант забирает с собой имущество, а самоубийца оставляет все на родине.

«Есть жизнь и за могилой», — выцарапал на подоконнике сошедший с ума Батюшков. В.Розанов считал, что Пушкин умер вовремя. Поэт рассказал нам свои «сны», в последнее время обратился к деловым заботам, и можно предположить, что, живи он дольше, эта часть жизни не была бы посвящена стихотворству. Путь, пройденный Пушкиным, «утомительно длинен». Пушкин хотел соединить семейную жизнь с холостой, финансовую обеспеченность с проматыванием денег в карты, презрение к журналистской братии с желанием самому издавать то газету, то журнал, службу на правительство с оппозицией, стремление к уединенной райской жизни в деревне с ежедневными светскими раутами в свинском Петербурге, желание бежать *туда* — с работой в архивах и суетой *тут*, любовь к родине с ненавистью к ней и ко всему, что его окружало, кроме «отеческих гробов». То, чего хватило бы сотне талантливых людей, он пытался осуществить один. Многие ему удавалось, но не все, *полижизнь* физически не могла быть охвачена одним человеком. Наступил крах.

**Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто среди волненья
Их обретать и ведать мог.**

Стало быть, смерть, невольником которой стал поэт, — неизъяснимое наслаждение, вероятный залог бессмертия. Как тут не согласиться с иронией В.Величко, сказавшего в конце XIX века: «В России трагическая смерть помогает писателям, пожалуй, серьезнее, чем на Западе долгая и плодотворная жизнь». Пушкин осуществил свою гибель и, может быть, в процессе аннигиляции самого себя, а вовсе не в других ипостасях, стал свободен, независим, а значит, счастлив. Когда в 2.45 пополудни 29 января 1837 года агония кончилась и Владимир Даль закрыл-поэту глаза, началось его бессмертие.



Владимир ЛОБАС

ЗАВИДОВАЛ ЛИ ДОСТОЕВСКИЙ ЛЬВУ ТОЛСТОМУ?

В Московском издательстве АСТ вышла в свет необычная книга — двухтомный, посвященный Достоевскому «роман», на обложке которого стоит имя писателя из Нью-Йорка — Владимира Лобаса.

— Назвать эту книгу романом, а меня — автором этого романа, — говорит Владимир Лобас, — можно лишь с известной натяжкой. Эта книга возникла из писем Достоевского и черновиков его неотправленных писем, из прижизненных рецензий, в подавляющем большинстве своем бесстыдно саркастических по отношению к гениальному писателю; из творческих дневников, планов и набросков к замыслам, которым суждено было воплотиться в творения подлинно великие, но которые нам сегодня приходится читать — в изуродованном виде...

Словно документальный фильм, смонтированный из кадров кинохроники, этот роман-документ составился из частной переписки литературных гигантов и письменных показаний узника одиночной камеры в самой страшной в России тюрьме, из мучительно подробных описаний его эпилептических припадков, из дневников

и мемуаров 212 современников Достоевского, каждый из которых знал писателя лично или, по крайней мере, хоть однажды видел его...

В российских газетах: «Известия», «Век», «Московский комсомолец», «Труд», «Литература», как и в русскоязычных нью-йоркских изданиях — в «Курьере», «Новом русском слове», «В новом свете» и в «Русском базаре» были напечатаны рецензии и фрагменты из книги ВЛобаса. Хорошо отозвалась о книжной новинке московская телепрограмма «Культура», а радио «Эхо Москвы» (ведущий Борис Алексеев) посвятило роману-документу о Достоевском полуторачасовую программу в открытом эфире.

Всего в книге В.Лобаса 96 глав, одну из них мы предлагаем теперь вниманию наших читателей.

Достоевскому в этой главе 54 года; место действия — северный, расположенный неподалеку от Петербурга курорт — Старая Русса, где семья Достоевских обычно проводила лето.

I

«ДОСТОЕВСКИЙ В ИЗОБРАЖЕНИИ СВОЕЙ ДОЧЕРИ»

Старая Русса так нравилась моему отцу, что моя мать предложила ему однажды остаться там на зиму, чтобы сэкономить и быстрее выплатить долги.

Любовь Достоевская. Санкт-Петербург, 1992, с. 137.

АННА ДОСТОЕВСКАЯ

Не говоря уже о дешевизне квартир в Старой Руссе, жизненные припасы [там] были втрое дешевле петербургских...

Кроме материальных расчетов, для меня лично очень соблазнительна была возможность прожить целую зиму... спокойно, мирно и милою нам семейной жизнью... В Петербурге по зимам Федор Михайлович мало принадлежал семье: ему приходилось часто бывать в обществе... много принимать у себя. Все это отнимало [его] от меня и детей...

«Воспоминания». Москва-Ленинград, 1925, с. 192.

«НЕИЗДАННЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ»

Сказка, рассказанная мне Федей 4 сентября 1874 года в Старой Руссе, поутру за чаем.

«Был дом, до потолка, как береза [т.е. такой большой]. С жильцами, и вдруг попадаются волк и арап Они вошли в дом и всех съели».

Феде три года и полтора месяца... Сказку эту он сам сочинил, на основании слышанных им сказок, разумеется. Но все же сочинил. Тут замечательны слова: *жильцы и попадают*. Он, стало быть, уже знает вполне, что такое жильцы. Но еще любопытнее, что он знает слово *попадают* и так вполне усвоил себе значение его.

«Литературное наследство». Москва, 1971, т. 83, с. 355.

II

АННА ДОСТОЕВСКАЯ

Издание романов «Бесы» и «Идиот» дало нам хорошую выгоду; поэтому мы с мужем решили каждый год издавать по одному тому его произведений. На очереди были «Записки из Мертвого дома»...

Оставшись на зиму в Старой Руссе, я уговорила типографию, чтобы мне туда присылали корректуры, и к половине декабря книга была уже отпечатана.

Чтобы распродать часть издания, мне пришлось на несколько дней поехать в Петербург, оставив присмотр за детьми и хозяйством на моего дорогого мужа.

«Воспоминания». Москва-Ленинград, 1925, с. 198.

ДОСТОЕВСКИЙ — АННЕ ДОСТОЕВСКОЙ

17 ДЕКАБРЯ 1874 ГОДА. Из СТАРОЙ РУССЫ — в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

<...> встал в 2 часа — никто не будил, видно, слишком утомился от излишне ревностного с тобой прощания. Детишки кушали телятину, молоко, сухари и ездили кататься; потом пошли снег отгрывать, всего гуляли минут 40.

<...> Где-то ты теперь?.. Буду ждать телеграммы.

АННА ДОСТОЕВСКАЯ

Трудно было бы найти более надежный присмотр, до того мой муж был нежно внимателен к деткам. Зная, что я об них беспокоюсь, [он] писал мне каждый день, сообщая о мельчайших подробностях их жизни.

«Воспоминания». Москва-Ленинград, 1925, с. 198.

ДОСТОЕВСКИЙ — АННЕ ДОСТОЕВСКОЙ.*18 ДЕКАБРЯ 1874 ГОДА. Из СТАРОЙ РУССЫ - в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*

<...> стали они танцевать, и Федя выдумал новое па: Лиля становилась у зеркала, а Федя напротив дверей, и оба в такт (причем Лилия была очень грациозна) шли друг другу навстречу, сойдясь (всё в такт), Федя целовал Лилию, и, поцеловавшись, они расходились, Федя к зеркалу, а Лилия на его прежнее место... Они раз 10 повторили эту фигуру и каждый раз, сходясь, целовались. Было очень грациозно.

«ДОСТОЕВСКИЙ В ИЗОБРАЖЕНИИ СВОЕЙ ДОЧЕРИ»

<...> в первые годы после возвращения в [Россию] мой отец был счастливее, чем в последующие, когда он добился большого успеха. Его любила жена; дети, еще маленькие, веселили его своим детским смехом и наивными вопросами...

Любовь Достоевская. Санкт-Петербург, 1992, с. 134.**ДОСТОЕВСКИЙ — АННЕ ДОСТОЕВСКОЙ***19 ДЕКАБРЯ 1874 ГОДА. Из СТАРОЙ РУССЫ - в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*

Заспорили о лопатках, и так как Федя не хотел дать ей свою поиграть, то она объявила, что он «сестру не любит». А Федя отвечает мне:

— Что она говорит, я ее день и ночь люблю.

Потом из кабинета слышу ужасный плач Лили. Вошел: она, рыдая, жалуется, что Федя не захотел сидеть у ней на коленях, как у няни.

— Если ты только у няни сидишь, так пусть же она тебе сестра и будет.

Я помирил тем, что посадил Лилию, а Федю к ней на колени и, действительно, просидели с минуту.

АННА ДОСТОЕВСКАЯ

Меня прямо поражала способность мужа успокоить ребенка: чуть, бывало, кто из них начинал капризничать, [он]... брал к себе капризничавшего и мигом его успокаивал.

«Воспоминания». Москва-Ленинград, 1925, с. 225.

III

НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ — ДОСТОЕВСКОМУ.*Из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — в СТАРУЮ РУССУ. 18 ДЕКАБРЯ 1974 ГОДА*

Ваш роман набирается [речь идет о романе «Подросток», печатавшемся в журнале Н.А. Некрасова «Отечественные записки»], корректура будет у Вас на днях; прочту в корректуре и тогда Вам напишу.

Письмо цитируется по первой публикации: «Красный архив», 1922, № 1, с. 363.**ДОСТОЕВСКИЙ — АННЕ ДОСТОЕВСКОЙ.***20 ДЕКАБРЯ 1874 ГОДА. Из СТАРОЙ РУССЫ — в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*

<...> Не очень-то нас ценят, Аня. Вчера прочел в «Гражданине» (может, и ты уже там слышала), что Лев Толстой продал свой роман [«Анна Каренина»] в «Русский вестник»... по пятисот рублей с листа, то есть за 20000.

Мне 250 р. не могли сразу решиться дать, а Льву Толстому 500 заплатили с готовностью! Нет, уж слишком меня низко ценят, оттого что работой живу.

ВСЕВОЛОД СОЛОВЬЕВ, МОЛОДОЙ КРИТИК, ДРУГ ДОСТОЕВСКОГО

[Достоевский] заранее продавал свой роман, который ожидали с нетерпением. Редакция то и дело понуждала его высылать скорее рукопись. Эти понуждения раздражали его, он волновался, спешил, посылал начало и потом, торопясь продолжением, почти забывал это начало.

По мере развития романа являлась необходимость изменять то то, то другое, но исполнить этого уже не было возможности — то, что нужно было изменить, оказывалось уже напечатанным. <...> Это было горе, горше которого не может быть для творца-художника!

«Воспоминания о Достоевском». «Исторический вестник», 1881, апрель, с. 840-841.**АННА ДОСТОЕВСКАЯ**

<...> как часто Федор Михайлович, прочитав уже напечатанную главу своего романа, вдруг ясно прозревал свою

ошибку и приходил в отчаяние, сознавая, что испортил задуманную вещь.

— Если б можно было вернуть, — говаривал он иногда, — если б можно было исправить!

<...> к несчастью, никогда не представлялось ему такой возможности...

«Воспоминания». Москва-Ленинград, 1925, с. 150-151.

ВСЕВОЛОД СОЛОВЬЕВ

Больной, измученный, он уставал все больше и больше...

«Воспоминания о Достоевском».

«Исторический вестник», 1881, апрель, с. 840.

IV

АННА ДОСТОЕВСКАЯ

Эта зима 1874-1875 гг., проведенная в Старой Руссе, составляет одно из прекраснейших моих воспоминаний. Дети были вполне здоровы, и за всю зиму не пришлось пригласить к ним доктора, чего не случилось, когда мы жили в столице.

Федор Михайлович тоже чувствовал себя очень хорошо.

«Воспоминания». Москва-Ленинград, 1925, с. 193.

ЗАПИСНАЯ ТЕТРАДЬ ДОСТОЕВСКОГО. 1874 год

28 декабря утром, в 8 часу, в постели припадок из самых сильных. Более всего пострадала голова, кровь выдавилась на лбу чрезвычайно... Смутно, грустно; угрызения и фантастично.

Полное собрание сочинений, 1984, т. 27, с. 107.

ИНТЕРВЬЮ С ВДОВОЙ ДОСТОЕВСКОГО

Начиналось это обычно страшным нечеловеческим криком... Очень часто я еще успевала перебежать из своей комнаты через промежуточную, заваленную книгами, к нему и застать его, стоявшего с искаженным лицом и шатающегося. Я успевала обнять его сзади и потом опуститься на пол.

Большей частью катастрофа застигала ночью, но бывало это и днем. Он и спал не на постели, а на низеньком

широком диване на случай падения. Он ничего не помнил, приходя в себя... жалко и вопросительно произносил:

— Припадок?

— Да, — отвечаю я, — маленький!..

После припадка он впадал в сон, но от этого сна его мог пробудить листок бумаги, упавший со стола. Тогда он вскрикивал и начинал говорить слова, которых постигнуть невозможно... и каждый раз ему казалось, что он умирает.

Газета «Биржевые ведомости», 28 января 1916 года.

«БИОГРАФИЯ В ДАТАХ И ДОКУМЕНТАХ»

4 января 1875 года. Припадок эпилепсии.

11 января. Припадок эпилепсии.

V

АННА ДОСТОЕВСКАЯ

В пять часов садились обедать вместе с детьми, и тут муж всегда был в прекрасном настроении. Первым делом подносилась рюмка водки старухе Прохоровне, нянюшке нашего сына...

«Воспоминания», Москва-Ленинград, 1925, с. 195-196.

ПРИМЕЧАНИЕ А.ДОСТОЕВСКОЙ

Федор Михайлович очень дорожил Прохоровной за ее горячую любовь к нашему мальчику. О ней муж часто упоминал в письмах ко мне и вставил ее в роман «Братья Карамазовы» в виде старушки, подавшей за упокой души живого сына, от которого не получала известий.

Там же, с. 196.

АННА ДОСТОЕВСКАЯ

Обед проходил весело, дети болтали без умолку, а мы никогда не разговаривали за обедом о чем-нибудь серьезном, выше понимания детей.

<...> В девять часов детей наших укладывали спать, и [муж] непременно приходил к ним «благословить на сон грядущий»...

Там же, с. 195-196.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ВДОВЫ

Когда дети ложились спать, то кто-нибудь из них кричал: папа, «Богородицу» читать!

Он приходил и читал над ребенком [молитву] и затем говорил несколько ласковых слов, целовал в лоб или в губы и уходил, говоря: ну, спите, спите...

«Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников». Санкт-Петербург, 1993, с. 282.

АННА ДОСТОЕВСКАЯ. К десяти часам во всем доме наступала тишина... Когда било 11 часов, [муж] появлялся в дверях моей комнаты, и это означало, что и мне пора идти спать... Я уходила к себе, все в доме спали, и только мой муж бодрствовал за работой до трех-четырёх часов ночи.

«Воспоминания». Москва-Ленинград, 1925, с. 195-196.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ВДОВЫ

<...> когда поднимал [сына] ночью: «У, батюшка! Какой ты тяжелый! Ишь, разоспался!» А если тот начинал говорить во сне, то Ф.М. мигом приходил и говорил: «Ну, знаю, знаю, ишь разговорился».

«Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников». Петербург, 1993, с. 276.

VI

АННА ДОСТОЕВСКАЯ

[Я опасалась] только, как бы [муж] в Старой Руссе не соскучился... Но этому горю можно было помочь — съездив раза два-три в зиму в Петербург и повидав [там] друзей и знакомых...

«Воспоминания». Москва-Ленинград, 1925, с. 191-192.

«БИОГРАФИЯ В ДАТАХ И ДОКУМЕНТАХ».

Начало февраля 1875 года

Достоевский [уезжает] в Петербург на две недели для переговоров с Некрасовым о сроках дальнейшего печатания романа «Подросток»...

Л.П.Гроссман. «Жизнь и труды Ф.М. Достоевского». Москва, 1935, с. 232.

*«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»,
№32, 1 февраля 1875 года*

<...> началось печатание нового романа Достоевского «Подросток»...

<...> Г-н Достоевский, несмотря на бесспорный и выходящий из ряда талант, признаваемый за ним даже его литературными врагами, не может назваться любимцем читающей публики, значительная часть которой просто боится его романов...

<...> С первых же страниц [Достоевский] схватывает читателя и увлекает против воли в свое мрачное царство, где собрано все, что только есть темного, больного, мучительного, безобразного... В этом удивительном схватывании и выражении неуловимых, но, тем не менее, бесспорно существующих явлений внутреннего мира человека, и заключается вся мощь таланта Достоевского.

[Статья подписана псевдонимом] - Sine Ira.

*ДОСТОЕВСКИЙ — АННЕ ДОСТОЕВСКОЙ. 6 февраля
1875 года. Из Санкт-Петербурга — в Старую Руссу*

Вчера первым делом заехал к Некрасову... Романом он ужасно доволен, хотя 2-й части еще не читал, но передает отзыв [редактора], который читал, и тот очень хвалит. Сам же Некрасов читает, по обыкновению, лишь последнюю корректуру.

<...> узнал, что Sine Ira — вообрази кто! — Всеволод Соловьев!

<...> после обеда в 7 часов поехал к Майкову. [Там же был] и Страхов... Об романе моем ни слова, видимо, не желая меня огорчать. Об романе Толстого [«Анна Каренина»] тоже говорили немного, но то, что сказали, — выговорили до смешного восторженно.

АННА ДОСТОЕВСКАЯ

Надо правду сказать, [что писатели], даже обладавшие и умом, и талантом, часто не щадили [Достоевского]... Например, иные вовсе не говорили с [ним] об его новом произведении, как бы не желая огорчать его плохими отзывами...

Я часто негодовала на этих недобрых людей и склонна была... объяснять эти оскорбительные выходы «профессиональной завистью», которой у Федора Михайловича никогда не было...

«Воспоминания». Москва-Ленинград, 1925, с. 215-216.

Композитор НИКОЛАЙ ХРИСТИАНОВИЧ

Достоевский всегда проповедовал терпимость, но был самым нетерпимым и завистливым человеком на свете.

«Достоевский глазами современников».
«Новый мир», 1988, 8, с. 215.

VII

ВСЕВОЛОД СОЛОВЬЕВ

В начале 1875 года [Достоевский] приехал на несколько дней в Петербург и навестил меня... Нам было о чем поговорить, и я чрезвычайно обрадовался его посещению. Но сразу, только что он вошел, я уже по лицу его увидел, что он до крайности раздражен...

— Скажите мне, скажите прямо — как вы думаете: завидую ли я Льву Толстому? — проговорил он, поздоровавшись со мною и пристально глядя мне в глаза...

Он раздражительно заходил по комнате. Потом вдруг остановился, взял меня за руку и тихо заговорил, почти зашептал:

— И знаете ли, ведь я действительно завидую, но только не так, о, совсем не так, как они думают!.. Мне тяжело так работать, как я работаю, тяжело спешить... Господи, и всю-то жизнь!.. Вот я недавно прочитывал своего «Идиота», совсем его позабыл, читал, как чужое... Там есть от---ные главы... Но я все же-таки увидел, как много недоделанного там, спешного...

И всегда ведь так... вперед заберешь — отработывай, и опять вперед... Я не говорю об этом никогда, не признаюсь; но это меня очень мучит. Ну, а он обеспечен, ему нечего о завтрашнем дне думать, он может отделять каждую свою вещь... Вот и завидую... завидую, голубчик!

<...> Он вдруг успокоился и сделался кротким и ласковым. Такие внезапные переходы бывали с ним часто.

«Воспоминания о Достоевском».
«Исторический вестник», 1881, апрель, с. 839-840.

ДОСТОЕВСКИЙ — АННЕ ДОСТОЕВСКОЙ 8 февраля 1875 года. Из Санкт-Петербурга — в Старую Руссу

<...> поехал к Соловьеву, он был очень рад.. Жена его больна (от беременности) и не выходит. Однако же он мне ее вывел.

Она ужасно молоденькая, имеет вид девочки, с очень большим ртом и очень выпуклыми глазами; но недурна, пока девочка. Года через три-четыре подурнеет ужасно. И вот он на всю жизнь с женой дурной собою.

Он получает жалованье, хорошую плату в «Санкт-Петербургских ведомостях»... и в этом смысле спокоен и обеспечен... превосходная (очевидно, его собственная) мебель, картины и фотографии на стенах и проч...

ИЗ НЕКРОЛОГА — 6 лет спустя

Ни Тургенев, ни Некрасов, ни граф Толстой, ни Гончаров, никто из этих крупных талантов не был в таком положении вечного работника, как Достоевский, и никто из них не прожил всю свою жизнь в такой скромной обстановке, как [Достоевский], у которого накануне смерти вырвалась скорбная фраза: «Я оставляю детей своих нищими».

«Исторический вестник», 1881, март, с. 481.

VIII

ВСЕВОЛОД СОЛОВЬЕВ

Я знаю, в какую тоску, в какое почти отчаяние приводили его иногда отсутствие денежных средств, забота о завтрашнем дне, о нуждах семьи. Он почти всю жизнь не выходил из денежных затруднений, никогда не мог отдохнуть, успокоиться. Все это тяжело отзывалось на его произведениях, и почти ни одним из них он не был доволен... У него иногда, в горячие, вдохновенные минуты, выливались глубоко поэтические сцены, страницы красоты необыкновенной, которых очень много в каждом его романе. Но этого

было мало: у него бывали глубокие психологические задачи... Тут минут горячего вдохновения оказывалось недостаточно, требовалась спокойная работа мысли, а обстоятельства не давали его мысли спокойно работать. Потому-то в его романах так много неясного, запутанного.

«Воспоминания о Достоевском». «Исторический вестник», 1881, апрель, с. 840-841.

ДОСТОЕВСКИЙ – АННЕ ДОСТОЕВСКОЙ, 8 февраля 1875 года. Из Санкт-Петербурга – в Старую Руссу

<...> в 9 часов пришел Страхов [критик, друг Достоевского и Толстого]... «Подросток» ему не совсем нравится. Он хвалит реализм, но находит не симпатичным, а потому скучноватым. И вообще он мне сказал чрезвычайно много очень дельного и искреннего, что меня, впрочем, не смущает, потому что я надеюсь в следующих частях доказать им, что они слишком ошибаются.

<...> Теперь час пополудни, сижу с расстроенными нервами...

ВСЕВОЛОД СОЛОВЬЕВ

<...> он бывал иногда совершенно невозможен после припадков; его нервы оказывались до того потрясенными, что он делался совсем невменяемым в своей раздражительности и странностях.

«Достоевский в воспоминаниях современников». Москва, 1990, т. 2, с. 222.

IX

П.П.ГНЕДИЧ, литератор

<...> [к Всеволоду Соловьеву] часто заходил Достоевский, особенно после своих эпилептических припадков. Он сидел хмурый, желчный, говоря, что ни к кому не может заходить после припадков, кроме него. Однажды, когда он находился в самом скверном настроении, вошел Николай Вагнер.

Достоевский с удивлением посмотрел на него. Хозяин назвал фамилию вошедшего. Достоевский сказал:

— Очень рад.

Вагнер вышел из себя.

— Как рад! Вы меня не знаете?

— В первый раз вижу...

— Вы сотрудничали у меня в «Свете»!

— Никогда!

<...> Вагнер схватил шапку и ушел. Потом Соловьев спрашивал у [Достоевского]:

— Вы в самом деле не знаете Вагнера?

[Достоевский] подумал и сказал: «Кажется, знаю. Сразу не вспомнил».

«Книга жизни. Воспоминания 1855-1918». Ленинград, 1929, с. 213.

ДОСТОЕВСКИЙ – в пересказе Всеволода Соловьева

<...> иногда забываю совсем людей, которых знал совсем хорошо. Забыл все, что написал после каторги; когда дописывал «Бесы», то должен был перечитать все сначала, потому что перезабыл даже имена действующих лиц.

Цитата приведена по монографии профессора М.В.Волоцкого «Хроника рода Достоевского», Москва, 1934, с. 400.

ФРИДРИХ ФИДЛЕР записывает устный рассказ Семена Венгерова

Начиная с 1875 года [Достоевский и Венгерова жили в одном доме] на Греческом проспекте... Венгерова однажды навестил [Достоевского] и завел речь о Свидригайлове... Достоевский удивленно спросил: «А кто это, Свидригайлов?».

— Оказывается, [он] часто забывал фамилии своих основных персонажей.

«Достоевский глазами современников». «Новый мир», 1988, №8, с. 215.

ОБРАЗЦЫ СРАВНЕНИЙ В ПРОЗЕ ДОСТОЕВСКОГО

Я мнителен и обидчив, как горбун или карлик.

Я тщеславен так, как будто с меня кожу содрали и мне уж от одного воздуха больно.

«Семинарий по Достоевскому». Москва-Петроград, 1922, с. 75.

ВСЕВОЛОД СОЛОВЬЕВ

Один раз я застал его с какой-то книгой в руке; он находился в возбужденном состоянии.

— Что это? что вы читаете?

— Что я читаю?! Сейчас же отправляйтесь и купите эту книгу — это повести Кохановской.

— Я их знаю... читал... очень милые повести; не особенно сильный, но оригинальный и симпатичный талант.

— Стыдитесь! — закричал он, — как вы судите, да знаете ли вы, понимаете ли, что это за повести? Я сейчас бы отдал самые лучшие мои вещи, отдал бы «Преступление и наказание», «Записки из Мертвого дома», чтобы только подписаться под этими повестями... Вот это какая книга!

<...> А на следующий же день, именно на следующий день, он говорил:

— Нет, наши женщины совсем не умеют писать; вот, например, Кохановская...

— Помилуйте, да не вы ли вчера с жаром объявляли, что готовы отдать все свои романы, чтобы подписаться под ее повестями! — невольно крикнул я.

Он остановился, сердито взглянул на меня и сквозь зубы проговорил:

— Никогда ничего подобного я не мог сказать... я не помню.

«Воспоминания о Достоевском». «Исторический вестник», 1881, март, с. 623-624.

Х

Газета «РУССКИЙ МИР», 29 января 1875 года

Я уже говорил однажды, именно по поводу «Бесов», о странной и прискорбной мании г. Достоевского делать из преступных деяний молодых людей... тему для своих романов.

<...> «Подросток», очевидно, вышел прямо из «Бесов»... Автор снова вводит читателя в душное и мрачное подполье, где копошатся недоучившиеся маньяки, жалкие выскребки интеллигенции... спившиеся фразеры и тому подобная тля.

«ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК», 1875, № 39, с. 2

Помнится мне, когда явились «Бесы», я начал свой отчет об этом романе таким образом. Я провел параллель между родившимся в то время физическим уродом и нравственными уродами — героями романа «Бесы».

Точно таким же уродом является герой нового романа [«Подросток»]...

«РУССКИЙ МИР», 29 января 1875 года — о романе «Подросток»

Подпольный моралист поясняет, что он «еще тринадцати лет видел женскую наготу, всю; с тех пор и почувствовал омерзение».

<...> бывший пансионский товарищ, стащив у матери из шкатулки пятьсот рублей, повлек его с собой кутить. «Заехали в гостиницу, взяли номер, стали есть и пить шампанское; пришла дама... Я, помню, был очень поражен тем, как пышно она была одета, в зеленом шелковом платье. Тут я все это и увидел... Потом, когда мы стали опять пить, он стал ее дразнить и ругать: она сидела без платья; он отнял платье, и когда она стала браниться и просить платье, чтобы одеться, он начал ее изо всей силы хлестать по голым плечам хлыстом. С тех пор мне мерзко вспомнить о наготе; поверьте, была красавица».

«ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК», 13 февраля 1875 года

<...> чувство гадливости не оставляет читателя в продолжении всего романа...

ДОСТОЕВСКИЙ

Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата... и тою широкостью, с которою еще целомудренная душа уже допускает сознательно прок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своем...

Полное собрание сочинений, 1981, т. 22, с. 7-8.

«ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК», 13 марта 1875 года, с. 1-2

Читая «Бесов», «Подростка», вы точно попадаете в неведомый вам мир, где действующие лица не имеют ничего

общего с обыкновенными людьми: ходят вверх ногами, едят носом, пьют ушами, это какие-то исчадия, выродки, аномалии, психические нелепости.

6 ЛЕТ СПУСТЯ — НЕКРОЛОГ

Вся деятельность [Достоевского]... заключалась в отыскании светлых черт в самой низкой душе. Он рылся в грязи для того, чтобы отыскать и там чистое и высокое.

«Новое время», 2 февраля 1881 года.

НИКОЛАЙ СТРАХОВ

За проблески этой красоты, открываемые им под безобразною и отвратительною внешностью, [Достоевский] прощал людей и любил их.

«Биография, письма и заметки из записной книжки», Санкт-Петербург, 1883, с. 227.

6 ЛЕТ СПУСТЯ — НЕКРОЛОГ

Стоит только припомнить заглавия его произведений, чтобы видеть, кого изображал наш великий писатель; это были: «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Мертвый дом», «Идиот». Он обращал на них наше внимание.

«Новое время», 2 февраля 1881 года.

XI

ДОСТОЕВСКИЙ — АННЕ ДОСТОЕВСКОЙ

9 февраля 1875 года. Из Санкт-Петербурга — в Старую Руссу

<...> только что написал и запечатал к тебе письмо, отворилась дверь, и вошел Некрасов. Он пришел, «чтоб выразить свой восторг»...

— Всю ночь сидел, читал, до того завлекся... И какая, батюшка, у вас свежесть...

«У Льва Толстого в последнем романе лишь повторение того, что я и прежде у него читал»... — Это Некрасов говорит.

АННА ДОСТОЕВСКАЯ — ДОСТОЕВСКОМУ.

12 февраля 1875 года

<...> всего более ты меня обрадовал, описав свидание с Некрасовым и его восторг по поводу «Подростка»... Я ужасно счастлива, что ему понравился роман и особенно рассказ матери [о том, как повесилась ее дочь. — В.Л.]

Позвольте Вам заметить, милостивый государь, что я первая назвала рассказ матери «верхом совершенства», а не Некрасов...

**«Литературное наследство».
Москва, 1973, т. 86, с. 441.**

ВСЕВОЛОД СОЛОВЬЕВ

Он сам отлично сознавал [недостатки своих романов], и подобное сознание для художника являлось горьким мучением. Он сознавал, и в то же время ему болезненно хотелось, чтобы другие не замечали того, что он сам видит. Поэтому всякая похвала доставляла большую усладу: она его обманывала.

«Воспоминания о Достоевском». «Исторический вестник», 1881, апрель, с. 840-841.

ВДОВА ДОСТОЕВСКОГО

<...> ни разу в жизни (за исключением его первой повести «Бедные люди») не пришлось [ему] написать произведение не наспех, не торопясь... Такого великого счастья судьба не послала Федору Михайловичу...

**А.Г. Достоевская. «Воспоминания».
Москва-Ленинград, 1925, а 150-151.**

ВСЕВОЛОД СОЛОВЬЕВ

<...> замечаемое им в ком-либо понимание его промахов раздражало, оскорбляло, мучило...

Я помню один случай. Говоря в одной из газет о «Подростке», указывая на прекрасные эпизоды и многие достоинства этого романа, я все же должен был сказать и об его недостатках. Через несколько дней я пришел к Достоевскому.

Он встретил меня как человека, глубоко его оскорбившего, и между нами произошел настолько крупный разговор, что я взял шляпу и хотел уходить. Но он удержал меня, запер двери своей рабочей комнатки и начал оправдываться, доказывая мне, что я ошибался в статье моей.

<...> Достоевский говорил часа два, пожалуй, еще больше, и я мог только сожалеть о том, что не было стенографа, который бы записывал в точности слова его. Если бы то, что он говорил мне тогда, появилось перед судом читателей, то они увидели бы один из высочайших и поэтических образов, когда-либо созданных художником.

— Неужели вы и теперь не согласитесь, что вы написали совсем не то, что вы меня обидели, и я имел полное право на вас сердиться?! — [сказал Достоевский].

Мне тяжело было говорить ему, что сегодняшний [персонаж его романа] — Макар — не тот, о котором я [писал в своей статье], судя по напечатанному тексту...

Я испугался того впечатления, которое произвели на него слова мои: он сделался вдруг таким страдающим, таким жалким. Он... вдруг поднял на меня глаза, в которых не было и тени ни недавнего раздражения, ни недавнего восторга. Эти глаза были кротки и очень печальны.

— Голубчик!.. я знаю, что вы правы, и вы знаете, что я люблю то, что вы пишете, потому что вы пишете всегда искренне; но мне было так тяжело, что именно вы дотронулись до самого больного места!..

Он предложил мне вместе пройтись; но на улице был так мрачен, молчалив и раздражителен, что мне стало тяжело, и я с ним простился.

«Воспоминания о Достоевском», «Исторический вестник», 1881, апрель, с. 841-842.

ФРИДРИХ ФИДЛЕР

<...> это происходило зимой, поскольку Достоевский был одет в меховое пальто.

<...> Он стоял, вынув свои золотые часы [у Достоевского никогда не было золотых часов. — В. Л] и сверял их с круглыми часами на витрине магазина. Я застыл как вкопанный в

двух-трех шагах от него и впился в него взглядом. Он бегло оглядел меня... Я продолжал стоять...

Он спрятал часы и вновь глянул на меня. Я стоял, пожирая его глазами. Он вздрогнул... Я стоял перед ним, как перед божеством.

Наконец, он бросил на меня гневный взгляд, сплюнул, после чего повернулся в другую сторону.

**«Достоевский глазами современников».
«Новый мир», 1988, 8, с. 214.**

ДОСТОЕВСКИЙ В ЖИЗНИ

Интервью с Владимиром Лобасом

— В названии напечатанной выше главы заключен вопрос: «Завидовал ли Достоевский Льву Толстому?» Почерпнуть из текста четкий однозначный ответ на этот вопрос — невозможно. Как вы сами отвечаете на него?

— Подобных вопросов в книге несколько. Они возникают на каждом этапе жизни писателя. Мы сегодня не знаем доподлинно: «Был ли убит отец Достоевского своими крепостными крестьянами? или же он умер от апоплексического удара?..» «Был ли наказан Достоевский розгами — в каторге?» «Изменяла ли Достоевскому его жена — Марья Дмитриевна?» «Был ли Достоевский антисемитом?» «Изменял ли он своей второй жене?» И, наконец: «Был ли виновен Достоевский в одном из самых страшных преступлений, которые совершают люди — изнасиловал ли он малолетнюю девочку?»

Подробный анализ каждого из этих вопросов (последний — исследуется в пяти главах) помогает понять и самую суть и творческие особенности романов Достоевского. Но, с другой стороны, я не думаю, что однозначное решение: «Виновен!» или «Не виновен!» — навязанное мной читателю, поможет ему глубже понять романиста. И потому я не посягаю на роль судьи. Я всего лишь «секретарь суда» и только оглашаю известные сегодня историкам литературы обвинительные и оправдательные аргументы. А судья в этой книге — читатель...

— Если судить о вашей работе по напечатанной главе, то, по-видимому, строилась она подобно книгам В.В.Вересаева «Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни»; так ли это?

— Да: мне очень хотелось продолжить эту уникальную в мировой литературе русскую традицию, по которой о великом писателе рассказывают его друзья, недруги и вообще все люди, которые знали документального героя книги при его жизни. И потому свою книгу я изначально назвал «ДОСТОЕВСКИЙ В ЖИЗНИ»... Но я живу в Нью-Йорке, а книга выходила в Москве, и одна бездумная, сделанная в последний момент поправка издателя, сократившего название книги до одного лишь имени — «ДОСТОЕВСКИЙ» — как бы оборвала цепочку этой традиции, что очень и очень досадно...

— При чтении главы — «Завидовал ли Достоевский Льву Толстому?» — возникает какое-то странное ощущение непрерывности повествования, хотя глава составлена из отрывков, заимствованных у разных авторов. Это свойство одной главы или всей книги?

— Эта книга о Достоевском представляет собой попытку документального компилятивного **романа**. Под изначальным ее названием: «ДОСТОЕВСКИЙ В ЖИЗНИ» я указывал и жанр — «роман-документ»... Но издатель выбросил определение жанра заодно с названием, хотя эта попытка создать непрерывное, как в романе, повествование обернулась для меня девятью годами труда...

— Но почему возникла необходимость в этой непрерывности повествования? Стоила ли она такого многолетнего труда?

— Смысл моей книги в том, что она представляет собой «ключ к Достоевскому». Если она не будет цельной, увлекательной, захватывающей — **«ключ» не работает...**

— Но какой и зачем нужен к Достоевскому ключ? Это классик, который непрерывно издается на множестве языков огромными тиражами...

— Да, романы Достоевского раскупаются во всем мире миллионами экземпляров. Но читают их едва ли десятки ты-

сяч... А понимают едва ли тысячи: — если только мы условимся, что слово «понимать» в данном случае означает — **«читать с наслаждением»**.

— Но кому и каким образом может быть известно — сколько человек покупают романы Достоевского и сколько покупателей их понимают?

— Доподлинно я знаю только то, что **для меня** Достоевский — это самый сложный, самый труднодоступный из всех известных мне писателей. Для того, чтобы начать понимать Достоевского, мне, человеку, которого с детства окружали книги, которого мама водила в филармонию слушать, как мастера художественного слова: Шварц, Журавлев, Каминка, Сурен Кочерян — читают русскую классику, человеку закончившему пусть плохенький: советский и заочный, но все-таки филологический факультет — так вот, при всем при том, **чтобы вчитаться в Достоевского мне понадобилось 30 лет...** А до этого ни учебники, ни литературные концерты, ни мамин энтузиазм — ничто не помогало, и больше пятидесяти страниц «Униженных и оскорбленных» я одолеть не мог. Начинать читать и первую повесть Достоевского «Бедные люди», но уже на 20-ой странице — бросал... Я никак не мог понять, каким образом эти бесцветные, монотонные страницы могли принести их автору — 23-летнему отставному офицеру — славу, да еще за месяц до того, как первая его вещь была напечатана!.. Читать Достоевского мне было до невозможности скучно...

— Вы сейчас рассказываете что-то очень уж личное...

— Но я могу рассказать на эту же тему нечто совсем не личное... Почему-то вокруг меня людей, которые не читали и не могли читать Достоевского, всегда было несравненно, неизмеримо больше, чем — его читателей и почитателей. Как-то в начале шестидесятых годов я попал в Москве на один из первых просмотров фильма Куросавы «Красная борода». Зал был переполнен, и долго — как это всегда бывает, после показа сильной картины — толпа на ступенях Дома кино все никак не расходилась. А я шнырял в этой толпе от одной сгрудившейся кучки людей, в

центре которой стоял знаменитый поэт, — к другой кучке, собравшейся вокруг маститого драматурга... В глазах у наших красавиц-кинозвезд стояли слезы, а я прислушивался к разговору... Это ведь очень интересно — услышать, что думают о новом шедевре сливки московской творческой элиты... Но еще захватил меня и странный такой азарт: услышу я или не услышу в этой толпе имя «Нелли»?.. Или же, может, услышу название романа, который я уже лет пять порывался прочесть, но дочитать до конца все никак не мог... Но как-то так случилось, что когда-то давным-давно, листая тяжелый, как кирпич, том Достоевского, вычитал я в нем одну жутковатую историю, забыть которую невозможно. Это история маленькой девочки, проданной в публичный дом... И вдруг на просмотре японского фильма я словно в лотерею выиграл — вдруг я опознал в картине Куросавы эту самую девочку, только переодетую в японское кимоно...

Но в тот вечер в толпе, теснившейся на ступенях московского Дома кино, я не услышал ни имени Достоевского, ни этого названия — «Униженные и оскорбленные», ни имени Нелли...

— Чтобы сделать вывод, к которому вы подводите, нужна — натяжка... Может, вы просто недослышали произнесенное в толпе имя Достоевского?.. Может, ваша память, как это случается чаще, чем мы думаем, искажает — в нужную вам сейчас сторону — подробности давнего этого вечера?..

— Поскольку я с вашим доводом вынужден согласиться, приведу другой, более убедительный пример. Однажды в пятидесятых годах в «Огоньке» был напечатан рассказ Юрия Нагибина «Ночной гость» — о каком-то симпатичном внешне, но весьма и весьма неприятном, как это потом выясняется, человеке. Этот «ночной гость» приезжает на рыбалку без удочки, без крючков, без наживки; все это выпрашивает у незнакомых людей, а потом вдруг заявляет, что у него пропал какой-то перочинный ножик... Подозрение падает на дочь хозяйки избы, где рыбаки-любители ночуют, и мать девчонки взрывается: «Сколько раз тебе говорила: «Не брать чужое!» и наказывает дочку розгой...

Но рассказывать дальше не имеет смысла. Все уже сказано. И если вы меня не останавливаете, значит вы не знаете сюжета кульминационной главы романа «Бесы»... Правда, речь идет о главе, которая была выброшена издателем из верстки и при жизни Достоевского не увидела света... Это одна из тех трех глав, которые историки литературы называют «ставрогинскими»...

Я, однако, вовсе не хочу очернить память покойного Нагибина, обвинив его в плагиате. Так бывает, что писатель бессознательно повторяет чужой сюжетный ход. И с Достоевским тоже однажды случилось подобное... Тут важно нечто совсем другое: известный писатель опубликовал рассказ в журнале, самом популярном в то время в стране. Неосознанно автор рассказа нарушил писательскую этику, повторив принадлежавший классику сюжет. Как же могло случиться, что этого никто не заметил — ни критики, ни читатели, ни редакторы?.. И что же это означает, если история повторенного сюжета продолжения не имела? Но тут я чувствую себя обязанным сказать несколько слов в защиту московской литературной элиты 50-х годов. Достоевского не любили, не знали, не понимали и не читали не только наши современники... И не только интеллигенция, но даже великие русские писатели — Тургенев, Гончаров, Толстой! — десятилетиями не могли ни полюбить, ни принять, ни понять ни «Преступления и наказания», (начиная со второй части), ни «Идиота» (начиная со второй части), ни «Бесы», ни «Подростка»... Литературные гиганты называли прозу Достоевского весьма обидными словами — «кашей» или «ужасной кашей»... У Льва Толстого однажды, лет через 20 после смерти Федора Михайловича, вырвались такие вот, исполненные детского, самого искреннего недоумения слова: «Сегодня я понял, почему так любят Достоевского: у него иногда бывают прекрасные мысли!..»

Вот почему, когда после множества безуспешных попыток открыть для себя Достоевского, когда, наконец, его романы перестали для меня быть скучными и уже приносили и наслаждение, и новое, углубленное понимание самого себя, и окружающих меня людей — я уже знал, почему это происходит.

Потому что самая сложная формула становится ясной, если вы сумеете повторить те математические преобразования, в результате которых она выведена. Как бы ни была сложна мысль, если вам удастся проследить процесс ее возникновения, она станет для вас такой же ясной, как и любая ваша собственная мысль.

Вот пример: роман «Идиот» — это необычайно сложное произведение. Первая часть «Идиота» вызвала восторг буквально всей читающей России. Герой этого романа — нищий эпилептик, князь Лев Николаевич — беспомощный наивный «взрослый ребенок», влиянию которого подчиняются умные и ловкие дельцы, интриганы и проходимцы.

Но уже от второй части романа читающая Россия от-вернулась: «Правдоподобия больше, чем правды!»

Пока я не понимал СУТИ ЭТОГО СТРАННОГО ЯВЛЕНИЯ: в самом деле, ну как могло такое случиться, что первая часть «Идиота» — это шедевр (Толстой: «Князь Мышкин — это бриллиант!»), а продолжение невозможно читать (Толстой: «А дальше идет ужасная каша!») — и для меня не существовало ничего скучнее второй и третьей части «Идиота»...

Но работая над книгой, я всегда стремился к одному — провести моего читателя по той же тропинке, по которой пробирался к пониманию Достоевского я. И когда вдова писателя расскажет в своих воспоминаниях о том, что начало «Идиота» рождалось в тревожно-радостном ожидании первого ребенка, который умер три месяца спустя; когда узнаешь о том, что горе Достоевского, который вынужден был продолжать роман — просто для того, чтобы не околеть с голоду, хотя горе его было так же безмерно, как и его счастье отцовства: он плакал и рыдал, как женщина, но должен был писать эту вторую часть! — к читателю непременно придет, как оно пришло ко мне: понимание самого сложного в литературе явления — изувеченного гениального романа...

— Вы хотите сказать, что факт из биографии писателя: смерть его первого ребенка — может повлиять на то, как воспринимается его произведение?

- Несомненно! Достоевский не принадлежит к числу писателей, которые воспринимаются с первого прочтения. Когда я в первый раз прочитал тяжеловесно и скучно написанную историю о том, как князь Мышкин, получив наследство, раздает деньги людям, не имеющим на получение этих денег никаких прав, я закрыл недочитанный роман и не прикасался к нему несколько лет... До тех пор, пока случайно не вычитал в трех, по крайней мере, источниках историю о том, как некий нищий эпилептик-писатель по своей воле принял на себя огромные долги покойного брата, к чему не мог его принудить ни один закон, а взвалил он на себя эти долги лишь во имя того, чтобы на имя любимого покойного брата не легла **дурная память**, (здесь мы очень приближаемся к одной из тем второй части романа «Идиот»); пока я не вычитал у друзей и недругов Достоевского, каким тяжелым, каким мрачным он был наделен характером; пока из первых рук — от свидетелей этих сцен — не узнал я о поразительной способности этого неказистого мрачного эпилептика очаровывать людей и завораживать огромные, переполненные публикой залы — дочитать до конца роман «Идиот» было мне не по силам...

Но по мере того, как мне открывались в князе Мышкине черты его создателя, когда я убедился, что и ужасная болезнь, которой страдает герой, и его отношение к красоте, и даже чудесный каллиграфический почерк князя Мышкина — это почерк самого Достоевского, его персонаж перестал быть для меня выдумкой, а роман о нем — сказкой...

Как правило, мы не задумываемся над принципом, по которому построен любой учебник литературы. Едва научившись читать, мы узнаем из книжки «Родная речь», какие сказки рассказывала маленькому Пушкину его няня, и это помогает нам полюбить «Сказку о золотом петушке». И так при каждом шажке и на каждом шагу нашего литературного образования: прежде, чем знакомиться с произведениями писателя, мы знакомимся с его биографией... Не однажды, не вдруг, а постепенно мне стало ясно, что происходило со мной на протяжении тех 30 лет, пока я времени хватал какой-то роман Достоевского и, преодолевая зевоту, пытался его читать...

30 лет это огромный срок, и множество самых разных книг попадались за это время мне под руку: то «Воспоминания о Достоевском в Сибири» барона А.Е.Врангеля, то очаровательные воспоминания «той самой» Софьи Ковалевской о том, как 13-летней девочкой совершенно по-детски влюбилась она в Достоевского, который был втрое старше ее... Я помню, как поразила меня крошечная брошюрка, написанная на основе устных рассказов вдовы писателя — «Достоевский за рулеткой», после которой впервые я ощутил на себе, как может захватывать его проза: — роман «Игрок» я прочел в один присест, не отрываясь...

Так возникла идея, исполнение которой растянулось на 9 лет и поглотило 75 тысяч страниц черновиков. Основываясь на воспоминаниях 212 современников Достоевского, я начал реставрировать год за годом, а иногда — месяц за месяцем, а где возможно было — день за днем, а в последние, перед смертью, его дни — час за часом, возрождая одновременно: по черновикам, планам, наброскам, вариантам, по творческим дневникам, по записям устных рассказов и пометам на полях корректурных гранок — его творческий процесс...

— Словом, вы считаете, что с поставленной задачей справились?..

— Мне хочется верить, что моя книга поможет многим читателям открыть для себя, т.е. полюбить Достоевского. Мне кажется, что для каждого человека, который прочитает даже половину моей книги — хоть второй ее, хоть первый том — любой из романов Достоевского откроет многое из того, что до тех пор человеку было неизвестно — и в близких, и в чужих людях, и в себе самом... Потому что, помимо всего прочего, Достоевский принадлежит к тем гениям литературы, которых мы называем учителями жизни...

Но кроме желания верить в свою работу я могу упомянуть еще и услышанные мной два-три добрых отзыва в открытом эфире радиостанции «Эхо Москвы» и доброе слово нынешних классиков переводов Достоевского на английский язык — английского поэта Ричарда Пивера и его жены Ларисы Волохонской (им недавно была посвящена большая статья в журнале «New-Yorker»), и еще скажу о дарственной надписи од-

ного из самых уважаемых в сегодняшней России историков литературы — Лии Михайловны Розенблюм, которую исследователь Достоевского, случается, цитируют в своих работах — «в разговоре»... «профессор Л.М.Розенблюм в разговоре со мной сказала»... Так вот, на первой странице своей недавно завершённой работы о влиянии Достоевского на Гончарова, опубликованной в только что вышедшем - 102-ом - томе «Литературного наследства», профессор Л.М.Розенблюм написала: «Владимиру Лобасу, победоносно вписавшему свое имя в литературу о Достоевском». Но покамест после выхода книги в свет прошло еще очень мало времени, и сейчас еще слишком рано предсказывать ее судьбу.

— Рассказывает ли ваша книга о личной жизни Достоевского? о его женщинах? о любви?

— Перед читателями проходит каждая из женщин, сыгравшая в жизни Достоевского хоть какую-то роль. Даже самая первая его — не любовь, а всего только влюбленность, о которой Достоевский писал старшему брату: «Я был не на шутку влюблен в Панаеву. Теперь проходит, а не знаю еще...» — Так вот, даже эта влюбленность предстает перед читателем в подробностях. Ну, а первая громадная и очень горькая любовь, когда он после каторги женился в Сибири на вдове чиновника Исаева, разворачивается, как самый настоящий роман, наполненный безумно драматическими сценами и приключениями, и — с неожиданной развязкой. Но это очень грустный роман.

Любимая женщина и после женитьбы не полюбила Достоевского. И следующая его любовная история, начавшаяся с того, что он получил письмо с объяснением в любви от юной красавицы Аполлинии Суловой — тоже была очень горькой. Обделенная литературным талантом писательница, Сулова была одарена не только поразительной красотой, но еще и редкой жестокостью. Она разлюбила Достоевского и на протяжении нескольких лет издевалась над ним, прикованным к ней сумасшедшей страстью. Это по ее адресу у Достоевского вырвалось однажды: «Не люби, но и не мучай!»

Вероятно, это прозвучит несколько странно, но в главах о второй любви Достоевского особую, самую интересную для

читателя роль играют убогие творческие потуги Суслевой, которая превращает свой дневник в плохонькую повесть...

— Эпиграфом к книге вы поставили довольно странную таковую фразу: «Судьба Достоевского была заложена в нем самом». Что это означает?

— Эти слова литературоведа и философа Григория Померанца наполнены огромной правдой и огромным смыслом. Достоевский был чрезвычайно активным строителем собственной судьбы — непредсказуемой и неправдоподобной едва ли не в каждом своем извие. Он совершал чудовищные ошибки, за которые потом жестоко расплачивался, он ни в чем не знал меры: ни в азартной игре, ни в потоках просьб, ни в любви...

Десятилетиями жизнь Достоевского складывалась, как непрерывная череда бедности и нищеты, неудач и несчастий: безумная ранняя слава превращает его во всеобщее посмешище, затем — одиночная камера в самой страшной в России тюрьме, эшафот, смертный приговор, каторга, солдатчина и — молния запоздалой первой любви... Он побеждает непреодолимые препятствия: чтобы жениться на своей любимой вчерашний каторжник вырвал у судьбы два милостивых повеления царя! Но женщина не ответила любовью на его безумную любовь... Ужасный этот калейдоскоп страданий и мук протянулся через две трети его жизни — вплоть до того дня, когда он, очутившись на пороге окончательной своей гибели, встретил ее — истеричную вчерашнюю гимназистку с землистого цвета лицом, которая полюбила мрачного эпилептика всем сердцем, всем своим существом, стала матерью его детей и принесла ему такое несказанное счастье, которому позавидовал, как мне кажется, и Лев Толстой!.. Мне никогда не приходилось читать любовный роман такой силы — непредсказуемый, невероятный, неправдоподобный! — как тот, что был «выжит» Достоевским («выжит» — это Его выражение) и которым открывается второй том романа-документа, каждая строчка в котором — простите за повтор — документальна...

— В кратком предисловии к опубликованной главе сказано, что вы использовали для своей работы воспоминания 212

современников Достоевского. Кто эти люди? По каким критериям предоставлялось слово — в вашей книге?

— В моей рабочей комнате собрано все: каждая страничка и каждая строка — абсолютно все! — написанное о Достоевском теми его современниками, на жизненном пути которых он хоть раз, хоть на одно мгновение промелькнул, как, например, — перед гимназистом, описавшим свою случайную встречу с Достоевским на улице...

Кто эти люди? Это представители всех классов России — товарищи детства братьев Достоевских, один из воспитателей будущего писателя, его соученики, это лечившие его врачи, это литераторы всех рангов — от Тургенева и Гончарова — до самых безвестных, это вельможи, аристократы и даже великие князья, искавшие знакомства с Достоевским в последние годы его жизни, когда он уже стал знаменитостью... Это каторжник-поляк, «сидевший» в одном с Достоевским остроге. Это неграмотный солдат-выкест из кантонистов, спавший на одних с Достоевским нарах, когда писатель отбывал после каторги бессрочную солдатскую службу... Это все, кто его знал: и родные, и друзья, и враги... Некоторые из этих людей, писавших о Достоевском, обладали литературными способностями, другие — нет; одни старались писать как только возможно правдиво, воспоминания других загромождают ошибки памяти и заведомая ложь.

Но я не помечал отрывки, из которых монтировался «роман-документ» (каждая строка в котором документальна!), ни черной, ни белой ниткой... Потому что в жизни ложь и правда всегда соседствуют на равных. Все, записанное о Достоевском его современниками, представляло для меня ценность, и я старался использовать в книге все, что удалось найти исследователям жизненного пути Достоевского — в архивах, в газетах и журналах прошлого века...

И, однако, я сделаю тут очень важную оговорку. В процессе работы над книгой, в процессе «монтажа» мне открылось, что смысл страницы часто можно изменить на противоположный, переменяв всего лишь порядок расположения тех же самых отрывков на той же странице. И потому, сшивая прав-

дивные отрывки с заведомо ложными, я всегда старался сохранить для читателя возможность догадаться, где — простительная натяжка доброхота, где обычная ошибка памяти, а где — злокачественная клевета.

Но главную свою задачу я видел в том, чтобы сделать книгу о самом сложном в русской литературе художнике простой, увлекательной и доступной, как «Три мушкетера» или «Остров сокровищ» — такой, чтобы обычный школьник не мог от нее оторваться. Насколько мне это удалось, ответит **время** — **самый непогрешительный критик**, — по выражению Белинского, который за две недели до того, как вышло в свет первое произведение Достоевского, провозгласил перед всей читающей Россией, что «является звезда первой величины!», но *потом — с предосудительной поспешностью — раньше, чем его предсказание было забыто, отрекся от своих слов, написав нечто совсем другое, несмыслимое: «Ну и надулись же мы с Достоевским-гением!..»*



Лев НАВРОЗОВ

УГАСАЮЩЕЕ ЗРЕНИЕ ОБРЕЧЕННОГО ЗАПАДА

*Запад не видит надвигающейся на него гибели от пост-ядерного сверхоружия.**

Я сомневаюсь, сможете ли вы (или кто-либо другой) восстановить угасающее зрение «не, видящего смертельной опасности и потому обреченного Запада». А что можно сделать, так это дать описание данного состояния и его первопричин. Для того чтобы такое описание было неоспоримым, требуется, возможно, больше сил, чем те, которыми располагает любой земной человек, ибо, видимо, мы имеем дело с фатальным случаем политического отравления и с искажениями и галлюцинациями, которые оно вызывает и от которых невозможно отравившегося избавить. У вас больше сил, чем у любого другого земного человека, да иначе бы вы и не взвалили на себя такую задачу.

*Писатель-лауреат Нобелевской премии
Сол Беллоу в письме Льву Наврозову*

*Публикуя полемическую статью Льва Наврозова о нависшей над миром китайской угрозе и беспечности Запада, редакция не согласна с рядом его геополитических оценок и прогнозов. Мы также принципиально не согласны с оценками автора исторической и геополитической роли М.С.Горбачева.

ЧТО ТАКОЕ СВЕРХОРУЖИЕ!

Шел третий год войны, а у нас в восьмом классе московской школы тоже событие: появилась новая учительница литературы, похожая на веселую фабричную работницу, и она начала в классе диспут о том, что ожидает человечество в будущем? Ученик нашего класса Добровольский, которого вполне можно было принять за взрослого мужчину, благодарно дал понять, что он-то сам за коммунизм, но всегда найдутся «обиженные», и они будут всем назло тащить домой не нужные им даровые товары.

Прочитав эти строки, читатели, представляющие советскую Россию в виде антиутопии Оруэлла, скажут, что-либо учительницу и весь класс тут же арестовали за критику коммунизма, либо все это была инсценировка МГБ, чтобы спровоцировать учащихся на критику коммунизма и затем посадить их.

В моей памяти верзила Добровольский высится над партией, причем тянется вбок, повторяя: «Понимаете? Обязательно найдутся обиженные...» А наша учительница была явно из рабочей семьи, гордилась своим пролетарским происхождением и, возможно даже, несмотря на свой ум, считала власть своей, рабоче-крестьянской. С той же размашистой пролетарской удалью она задала нам на дом сочинение на тему «Что ожидает человечество в будущем?».

Я начал сочинение с описания того, как европейские народы (варвары, победившие Рим) завоевали в течение четырех веков (XV-XIX) обе Америки, Австралию и значительную часть Азии и Африки, благодаря сверхоружию №1, то есть огнестрельному оружию, которое у них было, а у «туземцев» отсутствовало.

Про себя я отметил, что начало мое очень даже «политически корректное», как выражаются в США. Учительницу, возможно, даже похвалят: смотри-де, как твой ученик обличил колониализм и империализм — да его хоть сейчас в лекторы ВПШ! Но я-то не такой дурак, как этот наш Добровольский, чтобы рассуждать о неосуществимости коммунизма и подводить нашу славную учительницу под монастырь.

Далее в своем школьном сочинении, будучи на уровне начитанного старшеклассника, я отметил, что темпы развития науки и техники растут, а потому после почти пяти веков сверхоружия №1, неизбежно появление сверхоружия №2, то есть оружия, против которого у противника не будет защиты, как не будет у него и возможности нанести ответный удар и таким образом предотвратить нападение путем угрозы неминуемого возмездия. А после того, как сверхоружие №2 перестанет быть сверхоружием, то есть у противника возникнет возможность нанесения ответного удара, появится сверхоружие №3, поскольку темпы развития науки и техники еще больше возрастут.

Много лет спустя наша учительница говорила: «А у меня в классе был ученик, который предсказал атомную бомбу».

Самое смешное — это то, что я не предсказал и не хотел предсказывать ядерное или любое *конкретное* сверхоружие, как не делаю этого и не хочу делать сейчас, в 2001 году. А конкретное, то есть ядерное сверхоружие предсказала «Правда», когда в октябре 1941 года у Сталина не было войск для обороны Москвы, и, возможно, «Правда» желала сказать, что обычная война — это еще ничего не значит по сравнению с ядерным оружием. Но дело в том, что я открыл это предсказание «Правды», когда стал *изучать* «Правду». А до этого я главную советскую газету не читал из презрения к власти поддерживающим, и, видимо, наша пролетарская учительница не читала ее тоже, приписав предсказание «Правды» мне.

ПОЧЕМУ «ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЗАПАД» НЕ ПОГИБ ЕЩЕ В 40-Х ГОДАХ XX ВЕКА!

Итак, сверхоружие №2 появилось в 1945 году у США. Япония капитулировала, и все тогда окончилось благополучно. Тем не менее ясно обнаружилось отсутствие у «демократического Запада» «геостратегического мозга», и благополучный исход явился следствием ряда счастливых исторических случайностей.

В своей книге 1859 года «О свободе» Джон Стюарт Милль исходил из того, что чем глубже, оригинальнее, ценнее мысль, тем оригинальнее, талантливее или гениальнее дол-

жен быть тот, кому она приходит в голову, и тем меньше таких лиц.

В науке и технике эта закономерность признается в наши дни повсеместно. Никто не удивляется тому, что даже годы спустя после того как Эйнштейн опубликовал в 1905 году свою теорию относительности, он говорил, что его понимает только 7 человек в мире. Беда, однако, в том, что вне науки и техники, на «демократическом Западе», (например, уже в 1859 году в Англии) начал входить в силу обратный принцип: мысль, которая пришла в голову одному человеку и которую понимают 7 человек в мире, не имеет никакого значения. Всемирно известных «властителей дум», вроде Вольтера или того же Джона Стюарта Милля, на Западе больше не существует.

Страны, защищенные от абсолютизма, налепили на себя в XX веке ярлык «демократии», хотя их общественно-политический строй, который возник в Англии в XIII веке, следует называть феодализмом, причем роль английских баронов XIII века играют миллиардеры и корпорации.

Свобода печати? Да, в этих странах бароны СМИ защищены от абсолютизма. Но как можно говорить о свободе печати по отношению к тем, у кого печати нет? Печать и «основные» СМИ — в руках у современных баронов.

Права человека? Но ведь их можно отстоять только с помощью суда, и тут опять же современные бароны могут нанять множество высокооплачиваемых юристов, а средневековый феодальный суд в странах английского языка зиждется на юристах.

Итак, личность лишена печати, бесправна и не имеет значения. Нет, инакомыслящего не отправляют в тюрьму за инакомыслие, отчего инакомыслящий становится всемирной знаменитостью, как это было в советской России. Наоборот, на него никто не обращает внимания. С другой стороны, чем больше лиц, которым пришла в голову мысль потому, что всем она пришла в голову, тем эта мысль становится вернее и ценнее. Идея овладела массами! Надо полагать, это великая идея! А если «идея» овладела большинством населения, то это большинство и вовсе может избрать главу правительства или государства, который будет проводить эту «идею» в жизнь.

В 1933 году Гитлер стал рейхсканцлером Германии, ибо за его партию проголосовало в 1932 году больше избирателей, чем за любую другую (до 37%). В исторической ретроспективе, «идея» 37% избирателей представляется продуктом психически больного мозга, ибо если бы война затянулась, Германия бы подверглась атомной бомбардировке.

А в чем состояла геостратегическая мысль большинства населения Англии, премьер-министром которой стал в 1937 году Невилл Чемберлен? На этой мысли основано все поведение «демократического Запада» с 1937 года и по сей день. Мысль эта следующая. Если страна беззащитна, как, например, Югославия в 1999 году, то почему бы «демократическому Западу» не напасть на нее и не разбомбить? Ради независимости албанцев, а?

Но вот произошла ужасная катастрофа: бомбы НАТО убили трех китайцев. Понимаете? Не каких-то там сербов или албанцев, убиваемых тысячами ради независимости албанцев от сербов, а китайцев, причем не одного, а целых трех! Что тут было! Как президент США извинялся! Дело в том, что беззащитную страну можно разбомбить для остротки, но коль скоро страна является настолько сильной, что угрожает «демократическому Западу», то необходимо перед ней заискивать, ей угождать, искать с ней дружбы. Возможно, такой страной станет Китай через несколько лет, и тогда «демократический Запад», скажем, подарит ей Тайвань, что будет отпраздновано как победа мира и процветания. Такой страной стала Германия к 1937 году, и мысль Чемберлена (читай, большинства населения Англии) заключалась в том, чтобы подарить Гитлеру часть Чехословакии (Судеты).

Гитлеру подарок был не нужен: через три года его войска дойдут до Москвы — что значила часть Чехословакии в этом глобальном замахе? Но как мы знаем, в конце концов, Чемберлен его уломал, и Гитлер подписал Мюнхенское соглашение в 1938 году, ибо Судеты (как Тайвань ныне) были пропагандистским «символом патриотизма», а подарок показывал немецкому большинству, в какую силу вошла Германия благодаря Гитлеру, и как лебезят перед ней Англия и Франция. А на «демократическом Западе» радость по поводу того, что

Гитлер принял, наконец, подарок, была безмерной. Принял! Значит, не сердится! Значит, мир и дружба!

Но мюнхенский подарок имел и другое следствие. Когда Гитлер увидел, что за ним бегают, чтобы вручить ему Судеты в качестве презента, он заключил, что он может взять в качестве подарка и Польшу. Англия и Франция будут даже рады: дескать, его не пришлось уламывать — сам взял. На здоровье, герр Гитлер!

Вместо этого они объявили ему войну, будучи не в состоянии ее даже начать. Польше Англия и Франция не помогли. Во Францию Черчилль послал Британский экспедиционный корпус, который начал бегство к Дюнкерку до начала разгрома Франции, бросив даже личное оружие. Таким образом, вместо того, чтобы действовать сообща, как в Первую мировую войну, Черчилль дал возможность Гитлеру разбить сначала Францию, а затем взяться за Англию. В результате Англия оказалась в опасном положении, и Черчилль стал распространять через английскую разведку дезинформацию, цель которой была уверить Гитлера в том, что Сталин собирается на него напасть, а Сталина — в том, что на него собирается напасть Гитлер. Увы, агент Сталина Филби передавал всю эту «дезу» Сталину, и поэтому Сталин не верил также и правильной информации о нападении Гитлера, считая ее тоже «дезой» Черчилля. Вот почему Сталин не принимал надлежащих мер для обеспечения боевой готовности войск, полагая, что под влиянием дезинформации Черчилля Гитлер сочтет эти меры подготовкой к нападению и сам нападет первый, чтобы предупредить нападение Сталина. А осторожный, чтобы не сказать трусливый, Сталин пока что нападать на Гитлера был отнюдь не намерен.

Таким образом, Черчилль внес свой вклад в разгром советских войск, который случайно не закончился захватом Москвы, то есть победой Гитлера в России, ибо Москва была информационно-мозговым центром полностью централизованной империи — все части империи общались через Москву. Сталин мечтал продолжать оборону, руководя ею из Куйбышева и Арзамаса. Но ведь Куйбышев и Арзамас общались тоже через Москву, как левая и правая рука человека координируются через единый центр, головной мозг.

А поражение России означало поражение Англии, ибо с ресурсами России Гитлер господствовал бы над Евразией.

Гитлер не занял Москву потому, что он не любил шпионажа и не знал, что с октября 1941 года и до подхода дальневосточных войск (в силу нежелания Японии напасть на Дальний Восток) у Сталина не было войск для обороны Москвы, и 16 октября начался знаменитый «большой драп».

Волгогонов называет его «кратковременной паникой». На самом деле, в панике умчались «руководители», а «народ» сжег документы и ждал своей участи, то есть власти Гитлера, как он ждал своей участи в виде власти Сталина 18 лет ранее. Полк немецких солдат мог войти в город без единого выстрела и объявить, что Москва находится под новой властью. Вместо этого Гитлер начал обширное окружение Москвы, чтобы устроить блокаду и взять ее измором, в то время как сибирские и дальневосточные войска начали зимнее контрнаступление, после которого он сам лично считал войну проигранной.

Но, конечно, все это была старая традиционная война огнестрельного оружия, а новая решающая война шла в лабораториях ядерной физики после того, как стало ясно в 1939 году, что ядерный взрыв возможен.

Документы говорят о том, что семья Гитлера (включая Адольфа) и их семейный врач-еврей обожали друг друга. Гитлер любил евреев в детстве, отрочестве и ранней юности, до начала своей политической карьеры.

Допустим, он установил бы абсолютизм в 1933 году без тени антисемитизма (как первоначально Муссолини) и без стремления к мировому господству с помощью старой традиционной войны огнестрельного оружия. В этом случае, начав разрабатывать ядерное оружие в 1939 году, он получил бы его первым и обрел бы мировое господство. Почему?

Из писем Эйнштейна и других евреев, эмигрировавших из Европы в США и принявших участие в разработке ядерного оружия, ясно, что если бы не антисемитизм, ни один из них (кроме Эдварда Теллера) не эмигрировал бы.

В кайзеровской Германии, развязавшей Первую мировую войну, Эйнштейн стал в 1913 году директором Института Кай-

зера Вильгельма (необычайно раннее официальное признание его гения, в то время когда в США о нем никто и не слышал!).

Пребывание Эйнштейна и других евреев-физиков на своих постах в Германии, а не в США, означало бы, что атомную бомбу изобрели бы в Германии, а не в США, где ее разработку возможно, вообще бы не начали в силу отсутствия войны, (а Рузвельт услышал бы впервые выражение «атомная бомба», когда та впервые свалилась бы на американский город с предложением безоговорочной капитуляции).

Даже во время Второй мировой войны, хотя возможность атомной бомбы стала очевидной в 1939 году, ее разработка полным ходом пошла лишь в 1942 году, да и то благодаря тому, что Эйнштейн (теперь уже всемирно известный лауреат Нобелевской премии) и другие евреи-эмигранты донимали Рузвельта своими причитаниями, что Гитлер создаст атомную бомбу первым.

А что если бы Гитлер не пришел к власти вообще, и Веймарская республика осталась бы в добром здравии? Тогда ядерное оружие и мировое господство достались бы Сталину. В одном из своих писем Эйнштейн рассказывает в 1937 году, как он устраивает американских физиков-эмигрантов в Советском Союзе, потому что в США — антисемитизм, а вот в СССР, наоборот, уничтожают Пятую колонну (антисемита Гитлера). Возможно, Эйнштейн и сам бы приехал в СССР, где с антисемитизмом идет борьба.

На самом же деле историческая случайность непредвиденно спасла «демократический Запад» от гибели. В Мюнхен, где начал свою политическую карьеру Гитлер после войны, эмигрировал из России Альфред Розенберг, архитектор по образованию, а вообще — публицист в российском духе. Его родной язык был русский, но благодаря родителям-немцам, он говорил также на правильном книжном немецком языке. Гитлер ему пожаловался: коммунистов остановить нельзя — как христиане овладели Римской империей, так они овладеют миром. Потому что (объяснил Розенберг) у христиан был дьявол, и все враги объявлялись христианами порождением дьявола. У коммунистов дьявол — это буржуа. А у нас, герр Гитлер, этим дьяволом должен быть еврей. Протоколы Сионских мудрецов осуществляются воочию! Ленин — картавит,

Троцкий — нескрываемо чистый еврей, а из двух клеветов Ленина, Зиновьев — чистый еврей, а Каменев — полужеврей.

Гитлер назначил Розенберга главой пропаганды, но так как немецкий язык Розенберга был книжным, то он затем назначил на этот пост берлинца-шутника Геббельса, а Розенберг встал во главе высшего класса пропаганды для руководителей государства.

Вторая историческая случайность состояла в том, что в традиционной войне огнестрельного оружия Гитлер оказался гением, равным Наполеону. Победы в Польше, во Франции и в России до осени 1941 года были блистательными, Гитлер увлекся (еще бы!) и только в пол-уха слушал доклады о разработке ядерного оружия немецкими учеными не-евреями. А затем началась борьба за жизнь. Он бросился под Москву, когда развернулось советское контрнаступление сибирских и дальневосточных войск. Он предотвратил бегство своих армий, лично появляясь в самых опасных точках и устраивая круговую оборону каждого населенного пункта, превращая его в «ежа».

Получив сверхоружие №2, ядерное оружие, США могли бы установить с 1945 по 1949 гг. «СШМ», Соединенные Штаты Мира. Мой читатель из семьи Гарриманов (помните Аверелла Гарримана, посла США в СССР с 1943 по 1946 год?) прислал мне копию проекта ультиматума США Сталину, аналогичного ультиматуму США Японии. Но он никогда не был предъявлен. Большинство населения США не желало «СШМ», ибо это означало поток в Америку голодных и нищих со всего мира, а также подавление, с большими людскими потерями, непрерывных волнений, восстаний, беспорядков по всему миру.

КОМУ НУЖНО МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО!

Когда Россия, а затем другие страны, создали ядерное оружие, оно тем самым перестало быть сверхоружием, а превратилось в средство предотвращения нападения с помощью угрозы возмездия и неминуемого взаимного уничтожения. Но как я писал в своем школьном сочинении на уровне сред-

неразвитого начитанного московского старшекласника 40-х годов, темпы развития науки и техники возрастают, а коль скоро советские правители были умственно не ниже такого школьника, то они принялись за разработку сверхоружия №3. В начале 70-х годов они создали целый архипелаг, состоявший, в частности, из 17 научно-исследовательских центров по разработке наступательного бактериологического сверхоружия.

Но поскольку вне науки и техники у Запада не было «геостратегического мозга», то в течение следующих двадцати лет, вплоть до 1992 года, когда президент Ельцин решил открыть уже более не действующий «Биопрепарат» для международной инспекции, никто из лиц, ответственных за дальнейшее существование Запада, не выразил даже предположения, что советские правители разрабатывают пост-ядерное оружие.

Утверждая в США то, что я говорил в своем школьном сочинении, я становился — в глазах основных средств массовой информации и культурной элиты — невероятно реакционным, крайне правым, экстремистским поборником холодной войны.

Летом 1963 года президент Кеннеди заявил, что «Советский Союз и его союзники» НЕ стремятся к мировому господству, в противовес тому, что сам же он утверждал ранее.

Я же, как публицист, утверждал (с опасностью быть убитым КГБ, как я полагал тогда и полагаю ныне), что советские правители стремятся к мировому господству с помощью сверхоружия №3.

Трагикомизм заключался в следующем. Я полагал, что буду в полной безопасности, если мысль или сообщение, что советские правители разрабатывают пост-ядерное сверхоружие будет подхвачена газетой «Нью-Йорк таймс» и прочими «основными СМИ» и станет всеобщим достоянием. Но они отнюдь ее не подхватывали, и в 1991 году моя мысль оставалась такой же советской тайной тайн, какой она была в 1972 году, когда меня лично принял главный редактор воскресного журнала газеты «Нью-Йорк таймс».

Тут, может быть, стоит заметить, что если бы я стал писать то, что *он* и вообще основные средства массовой информа-

ции хотели, то вскоре я бы оказался обозревателем «основных СМИ», с годовым доходом в этак тысяч шестьсот долларов, а затем и автором-мультимиллионером. Но если писать то, что *они* хотят, а не то, что хочу я, то зачем было уезжать из советской России? И вместо того, чтобы стать писателем-мультимиллионером, я, как психически больной, сбежавший из психиатрической больницы, шептал, с оглядкой и опаской, нечто параноидное о смертельной опасности, нависшей над Западом в силу разработки бактериологического оружия (да это же шизофрения!) советскими правителями...

Но вот в 1992 году Ельцин открыл уже более не действующий «Биопрепарат» для международной инспекции. Что же этот экспонат, состоящий, в частности, из 17 научно-исследовательских центров, означал?

Советская ядерная мощь при Горбачеве ни в чем не уступала ядерной мощи НАТО. Советские подводные лодки дежурили вдоль атлантического и тихоокеанского побережья США с курсирующими ракетами на борту. Проект Рейгана, который так и не осуществился, предусматривал защиту с помощью перехвата межконтинентальных баллистических ракет. А советские курсирующие ракеты, установленные на подводных лодках, перехватить было нельзя, и они могли уничтожить Нью-Йорк или Лос-Анжелос за считанные минуты. То есть оборона против США путем угрозы ответного удара была обеспечена с огромным запасом надежности. Горбачев увеличил втрое производство курсирующих ракет, запускаемых с подводных лодок.

И в то же время Горбачев продолжал гигантскую разработку бактериологического сверхоружия. Единственный возможный вывод: советский генсек продолжал «поиск мирового господства» с помощью пост-ядерного сверхоружия.

Зачем же Горбачеву понадобилось мировое господство? После Второй мировой войны Гитлера стали изображать на Западе в виде водевильного злодея, который рычит, требуя крови, закатывает глаза и дергается всем телом. Вот такой может «бредить о мировом господстве». А Горбачев? Да он же — душка! Это наш Горби! Когда я говорил на редакционном ленче о стремлении правителей Китая к мировому господству, то один из присутствующих заявил, что

он лично знает всех «китайских руководителей», и все они — милейшие люди. Зачем им мировое господство?

На этот вопрос я отвечаю американцам так. Ничем не примечательный американец может совершить убийство (со смертельным риском для себя в виде смертного приговора) ради нескольких сотен долларов, которые будут отняты у водителя такси.

В США пока что не было абсолютизма, и поэтому многие американцы могут не понимать притягательности абсолютной власти над большой страной. Однако, держатель абсолютной власти в большой стране благодаря этому распоряжается триллионами долларов.

А абсолютный властитель мира? Но дело не только в этом: перед держателем абсолютной власти в большой стране ныне дилемма: либо он станет властителем мира, либо он потеряет власть и в своей стране.

Сверхоружие №3 создать Горбачеву не удалось (наука и техника — это тоже в сильной степени игра случая). Он не стал властителем мира — и более того — потерял власть в собственной стране. Правители Китая, в котором абсолютизм процветал добрых пять тысячелетий, извлекли из его потери урок: абсолютизм в нашей нынешней глобальной деревне играет ва-банк — все или ничего.

К концу горбачевского правления работник «Биопрепарата», приехавший на Запад для поиска, осмотра и приобретения нового уникального лабораторного оборудования, — сбежал! Мотив — личный. Депрессия — жажда обновления. Теперь президент Буш и премьер министр Тэтчер не могли сомневаться в реальности советского проекта.

В свое время Кристофер Стори, английский издатель, передал на эту тему письмо от меня лично г-же Тэтчер, которую он лично знал. Но я был какой-то там литератор, а тут свидетельствовал работник проекта «Биопрепарат». Что же Буш и Тэтчер? Они скрыли его показания от публики, чтобы не портить отношения с Горби и уладить этот конфуз по-дружески. Но Горбачев, даже после того как он потерял власть, отвечал представителям Буша и Тэтчер, что никакого «Биопрепарата» для разработки бактериологического оружия в России нет и в помине. Однако и это не помешало дальнейшей дружбе Запада с Горби.

ЧЕМ ЖЕ БАКТЕРИИ БЕСЧЕЛОВЕЧНЕЕ СТАЛИ И ОГНЯ?

В 1952 году правители Китая обвинили США в ведении бактериологической войны в Корее и в Китае. Трагикомизм состоит в том, что со времен Второй мировой войны и до 1969 года США занимались разработкой бактериологического оружия. Спросите, зачем? И почему США прекратили ее именно в 1969 году? Пытаться узнать это — столь же бесполезно, как пытаться узнать, почему животное с удаленным мозгом сначала прыгало и шарахалось, а затем вдруг улеглось на все четыре лапы. Что же касается бактериологической войны в Корее и в Китае, то США ее не вели: в 1998 году японский журналист в Москве нашел в президентских архивах и опубликовал документы о том, как бригада, состоящая из северо-корейцев, китайцев и русских, фабриковала под руководством Берии «вещественные доказательства» бактериологической войны США в Корее и в Китае в начале 50-х гг.

Но реакция советской и китайской пропаганды на сфабрикованную северокорейской-китайской-советской бригадой «бактериологическую войну» была неоднозначной. Для советской стороны эта «война» была «преступлением против человечества», доказывающим, что американцы — новые «немецкие фашисты». А для китайской пропаганды? Тут появляется разница между пятью тысячелетиями китайской культуры и тысячелетием культуры пост-Римской Европы. Последняя двигалась от религии к рационализму истекших трех веков. А в Китае не было религии в этом смысле, и китайские мыслители древности звучат так же рационально, как европейские ученые истекших трех веков. Война европейцев освящалась религией и была окружена ореолом романтики. Оружие воина-рыцаря — сталь и огонь. Танк — это современный механизированный рыцарь, и даже атомные бомбы — это тоже сталь и огонь, достигающий огромных температур. А бактериологическое оружие... Фи, какая гадость! Гитлер, который отравил 12 миллионов мирных жителей, запретил разработку химического и бактериологического оружия. Отравление 12 миллионов жителей? После поражения под Москвой

Гитлер правильно предположил, что теперь его подчиненные начнут продавать его англосаксам, чтобы спасти свои шкуры. Уничтожение 12 миллионов жителей, и особенно евреев, было «кровавой круговой порукой», то есть совместным преступлением, столь чудовищным, что подчиненные Гитлера рассчитывать на снисхождение англосаксов в награду за выдачу Гитлера уже не могли. То есть отравление 12 миллионов было делом штатским, тыловым и уголовным, отнюдь не военным, а вот позорить честь воинов-рыцарей химическим или бактериологическим оружием Гитлер не позволит!

США не ратифицировали до 70-х годов никакого международного договора о запрещении бактериологического оружия и имели полное право разрабатывать его так же открыто, как огнестрельное оружие. На самом же деле разработка бактериологического оружия скрывалась как страшная тайна, а в 1969 году президент Никсон ее и вовсе прекратил. Да, нет в этом оружии рыцарства, романтики, доблести. На парадах комментаторы кричат: «Вот идут наши доблестные бронетанковые войска!» Гремя огнем, сверкая блеском стали! Но никто на параде на Западе или в России не слышал: «Вот идут наши доблестные бактериологические войска!»

Китайцы же просто не поймут, почему бактериологическое оружие бесчеловечнее «стали и огня». Пораженный бактериологическим оружием умрет от болезни, а болезни — часть жизни, но только он умрет не от «тяжелой продолжительной болезни», а мгновенно, как от разрыва сердца, ибо бактериологическое сверхоружие должно вызывать смерть мгновенно (чтобы предотвратить возможность нажатия кнопки для, скажем, ядерного ответного удара).

Сравните эту мгновенную смерть от болезни со сталью и огнем, будь это меч, с которым и ныне изображается западный или российский воин-рыцарь, или термоядерная боеголовка. Сталь и огонь разрывают тело, калечат, наносят ожоги, медленно убивают. Чем лучше смерть женщин и детей от бомб (в том числе, ядерных), чем их мгновенная смерть от болезни, вызванной бактериологическим оружием?

Поэтому реакция китайской пропаганды на сфабрикованную под руководством Берии мнимую бактериологическую войну США в Корею и Китае: «Ответим тройным бактериоло-

гическим ударом на удар поджигателей бактериологической войны!»

В Китае подготовка к бактериологической войне заняла такое же почетное и видное место как подготовка к «войне стали и огня» на Западе.

В 1984 году правители Китая подписали международную конвенцию о запрещении разработки, производства и хранения бактериологического оружия. Опыт показал, что США такие конвенции соблюдают, и США прекратили разработку бактериологического оружия еще в 1969 году, (то есть заранее, за три года до конвенции 1972 года).

А вот советские правители подписали и ратифицировали эту конвенцию — и ... создали архипелаг «Биопрепарат», состоящий, в частности, из 17 научно-исследовательских центров разработки бактериологического оружия.

Дело в том, что новый абсолютизм, названный тоталитарным, дает возможность успешно скрывать нарушение международных соглашений. А в странах, защищенных от абсолютизма по образу Великой хартии вольностей в Англии 1215 года и названных поэтому в XX веке «демократиями», подобное сокрытие невозможно.

Президенты США приходят и уходят каждые восемь лет или четыре года, а с ними приходит и уходит значительная часть высокопоставленных правительственных чиновников, которые часто пишут книги о своем пребывании на вершинах власти. Или журналисты пишут о них, слушая их, развесив уши, и роясь в их архивах. И вдруг сенсация: США нарушает подписанную и ратифицированную ими международную конвенцию? Да кто же возьмет на себя ответственность за такой обман Конгресса и электората? Президент США? Зачем? Никсон рисковал, тайно нарушая закон, ради своей борьбы за президентство. Клинтон рисковал, нарушая закон, ради того, чтобы скрыть свои проделки велико-возрастного школьника-подростка, у которого нет такой безумной роскоши, как кровать в его или ее комнате (да и, возможно, он еще физиологически не развился до того, что российский эссеист Розанов называл «хорошим соитием», воспевая его из глубин Библии и Талмуда). Но рисковать таким образом ради будущего существования Запада? Да ведь

через четыре года или восемь лет президент США станет частным лицом, и в качестве такого, он, может быть, пожелает стать «другом Китая» (каковым Клинтон уже и был в качестве президента), проживать в Гонконге и завести там изысканную любовницу-китайку (а это вам не какая-нибудь Моника Левинская).

Подписывая в 1984 году конвенцию, китайские правители подали, в соответствии с конвенцией, список научно-исследовательских центров бактериологической обороны, которые конвенция допускает. Это — «Институт микробиологии и эпидемиологии». «Национальный институт вирусологии». «Институт медицинской биологии» и пять «институтов биологических препаратов» в Шанхае и других городах.

Но вот вопрос. В описании китайской «лаборатории на колесах» (вроде «скорой помощи») для борьбы на месте против бактериологического нападения, сказано, что в «лаборатории на колесах» имеется 200 образцов бактерий и 50 образцов вирусов бактериологической войны для того, чтобы убедиться, что исследуемые бактерии и вирусы являются бактериями и вирусами бактериологической войны, и, следовательно, результатом военного нападения противника». Значит, для бактериологической обороны необходимо разработать и иметь в наличии самые последние образцы наступательного бактериологического оружия. То есть, занимаясь официально обороной против бактериологической войны, перечисленные выше восемь научно-исследовательских центров занимаются в то же время поиском и производством всех возможных средств бактериологического наступления, а иначе как же разрабатывать средства обороны против них?

Заметим, что в настоящее время следует говорить о биологической, а не о бактериологической войне. В биологической войне поражение противнику наносится не обязательно через бактерии или вирусы, а всем, что может мгновенно прекратить разумную жизнедеятельность, путем облучения, например. Да и не следует заикливаться на биологической войне даже в самом широком смысле. Откройте книги 1939-1944 гг. под названиями вроде «Война будущего». Ни в одной

из них нет предположения, что сверхоружие придет из ядерной физики, да и мало кто знал до 1945 года само это словосочетание: «ядерная физика». Не следует заниматься досужей футурологии чешкой конкретикой и ныне.

А ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ 863!

Задайте этот вопрос россиянам. Ответит ли хоть один человек? Ни один западный специалист по Китаю Проект 863 не упоминает, судя по собранным мною статьям, книгам и показаниям Конгрессу. А что это такое, знает любой китаец.

Информационная пропасть, существовавшая между Китаем и Западом в течение тысячелетий, все так же зияет. Китай некогда называл себя так: «Центр земли». Центр, а кругом — захолустье. Европейец, приехавший в Китай, считал, что он приехал из центра мира в захолустье, а китайцы — что тот приехал из захолустья в центр мира. И поныне жители Запада, за редкими исключениями, вроде историка Арнольда Тойнби, считают Запад центром мира, а Китай — захолустьем, о котором они не знают ничего, кроме разве что факта существования китайского фарфора.

Проект 863? Правители Китая поняли, что помимо специализированных центров разработки отдельных видов пост-ядерного сверхоружия, должен быть также единый, всеобщий центр поиска такого сверхоружия во всех областях — так сказать, академия наук сверхоружия. Мне сообщили из Китая, что компьютерный каталог указывает на 26000 китайских источников, в которых говорится о Проекте 863. Один из этих текстов, присланный мне из Китая (журнал телевизионной станции города Вухан), вспоминает возникновение Проекта 863.

В 80-х гг. Рейган затеял оборону против баллистических ядерных ракет. То есть ракеты США будут поражать Китай, а китайские ракеты США — нет. Как на это реагировать?

Продолжать состязание в области ядерной ударной мощи и обороны? В конце концов это приведет все к тому же отсутствию у ядерного оружия всякой наступательной роли. А если вложить те же средства в пост-ядерное оружие, можно получить наступательное сверхоружие.

В начале 1986 года два известных китайских ученых, Ванг Да Иан и Ченг Фонг Уан, выступили с предложением новейших [то есть пост-ядерных - Л.Н.] исследований в области оборонительной и наступательной войны [курсив мой - Л.Н.]. После того как была одобрена рекомендация этих двух ученых, они и двое других ученых Вонг Чи Чонг и Янг Ча Чи, подали свое предложение 2 марта 1986 года высшему вождю Китая.

К их радостному удивлению, Дэнг Ксяо Пинг одобрил его уже 5 марта со следующей резолюцией: «Приступить немедленно!» После этого состоялось семь заседаний, в результате которых правительство дало ход Проекту 863, названному так, ибо Дэнг одобрил его в марте [третий месяц 1986 года].

Статья перечисляет семь областей Проекта 863, причем первой идет «генная инженерия», основа создания новых бактерий и вирусов.

В свое время Сталин «поставил во главу угла экономического развития» выплавку стали, ибо военная мощь — это мощь стали и огня. И что же? Россия выплавляла к 1917 году около трех миллионов тонн стали в год, и эта цифра не выросла существенно за следующие десять лет. А в 1986 году советская Россия выплавляла свыше 160 миллионов тонн стали в год, Англия, родоначальница «промышленной революции», — 15 миллионов, ФРГ — 38 и США — 75. А правители Китая «поставили во главу угла экономического развития» развитие «генной инженерии», ибо военная мощь — это мощь бактерий, вирусов, облучений и других средств в области, которую китайцы называют «военно-медицинской биологией», биологией прекращения человеческой жизнедеятельности.

Представьте себе, я нашел упоминание Проекта 863 в американской печати! Но не в показаниях ОРУ (Оборонное разведывательное управление Пентагона) или ЦРУ Конгрессу, а в статье в газете «Нью-Йорк таймс» (7/9/2000) ее шанхайского корреспондента об успехах сельского хозяйства в Китае. Благодаря генной инженерии, Китай создает ежегодно вдвое больше «генетически модифицированных» с/х культур, чем США. Откуда же такое развитие генной инженерии в Китае? И тут шанхайский корреспондент рассказывает в трех абзацах о Про-

екте 863 то, что я рассказал выше и что известно в Китае всем. А любой крупный военный проект «переливается через край» в «гражданку», которая тоже таким образом получает от военного проекта пользу.

Можно подумать, что эти три абзаца о Проекте 863 в статье шанхайского корреспондента газеты «Нью-Йорк таймс» вызвали в США сенсацию, и из СМИ (в том числе и, прежде всего, сама газета «Нью-Йорк таймс») позвонили ему и заказали полнометражную статью о Проекте 863. На первую полосу! Новости четырнадцатилетней давности, но ведь их еще никто не сообщал!

На самом деле шанхайскому корреспонденту позвонил в Шанхай один я. Очевидно, правители Китая не возражают против того, чтобы Запад знал о Проекте 863 из неофициальных источников: мол, пусть американцы, затевающие ядерно-ракетный щит, продолжая затеку Рейгана 80-х гг., знают неофициально, «что и у нас есть кое-что — да еще и похлеще ядерного оружия!» Но дело в том, что Запад знать этого не желает. Проект 863 представил интерес на один день, в виде трех параграфов в газете «Нью-Йорк таймс» только как источник успехов китайского сельского хозяйства благодаря генной инженерии.

Ну, и чем же это все кончится? До того, как Клинтон стал президентом, и в первое время своего президентства, он клеймил правителей Китая как «пекинских палачей» и обвинял президента Буша в «нежной заботе о китайских диктаторах». А в 2000 году он предложил — и Сенат 20 сентября одобрил (большинством в 83 голоса против 15 голосов!) — торговое соглашение с Китаем, отменявшее все ограничения на торговлю с Китаем в связи с нарушениями правителями Китая прав человека. Но двое сенаторов не стали говорить о правах человека (уж какие там права человека!), а заявили, что ограничения на торговлю надо оставить, применяя их к тем китайским компаниям, которые продают бактериологическое оружие.

Вот те на! Значит, производит ли Китай бактериологическое оружие, значения не имеет. Только бы не продавал его крошечным «странам-хулиганам» вроде Ирака. Ведь США победоносно воюют с ними, а тут у них вдруг появится

бактериологическое оружие из Китая! Иное дело бактериологическое оружие в Китае. Не будут же США, в конце концов, воевать с Китаем!

Но и эта поправка была отклонена большинством голосов. Вот придрались к пустяку эти сенаторы! Уж нельзя Китаю бактериологическое оружие продавать! А ведь в случае ограничения торговли с Китаем американская сторона тоже несет убытки. Кому это нужно?

Гитлер начал войну вторжением в Польшу. Это было понятно Западу. Китай ведет войну за мировое господство в своих лабораториях. Этого Запад понять не в силах.

США могли себе позволить предъявить Японии ультиматум в 1945 году, ибо никакого ответного удара Япония нанести была не в состоянии. Китай не сможет себе позволить, получив сверхоружие №3, предъявить Западу ультиматум, ибо всегда будет вероятность, что Запад ответит на ультиматум ядерным ударом. То есть сверхоружие №3 останется сверхоружием, только если его действие будет внезапным и мгновенным, предотвратив таким образом любую вероятность нанесения Западом ядерного удара.

Закончить этот отрывок можно последней строфой стихотворения Томаса Стернза Элиота, если только под словом «мир» иметь в виду «Запад»:

**Вот как, вот как кончается мир,
Вот как, вот как кончается мир,
Не в адском грохоте взрыва,
А тихо всхлипнув.**



Адам ВЕКСЛЕР

УЗНИК НОМЕР В8199

Лагерное жительство Адама Векслера, четырнадцатилетнего обитателя Освенцима и Маутхаузена, который пытается своими глазами взглянуть на жизнь концлагеря.

Из книги «С моей точки зрения»
в переводе с иврита Ефима Маневича.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

С Адамом Векслером судьба свела меня в Израиле двадцать с лишним лет назад, когда его старший сын надумал жениться на моей дочери. Отец жениха оказался широкоскулым темно-волосым крепышом с карими глазами. Сильные, мускулистые руки выдавали в нем человека физического труда, который действительно был нелегким: всю жизнь Адам проработал на стройке, сначала простым рабочим, затем прорабом, и, наконец, владельцем небольшой строительной компании. Даже став совсем не бедным человеком, он вместе со своими рабочими вязал арматуру для каркаса зданий, поскольку эту важную работу он не доверял никому.

Я сразу заметил на левой руке Адама синий наколотый номер узника Освенцима, и это, конечно, наложило отпечаток

на наши отношения. Мне хорошо запомнились немецкие бомбежки и голодная Москва военных лет, и страшные послевоенные рассказы, поэтому само слово «Освенцим» приводило меня в состояние ужаса. Как говорит один из героев Эли Визеля, «я страдал от события, которое даже и не испытал». А тут передо мной сидел живой человек, прошедший через все ЭТО.

С Адамом мы спорили часами. Он с юности симпатизировал израильскому социалистическому движению, а мне после СССР любой социализм был отвратителен. Поначалу из-за идеологических разногласий наши отношения были довольно натянутыми. Повлияло еще и то, что, хотя Адам рос в ортодоксальной еврейской семье, он был глубоким атеистом. Великолепно зная и цитируя наизусть Библию, Адам в то же время отрицал Бога.

В Освенциме многие потеряли свою веру. Лауреат Нобелевской премии Эли Визель говорит в книге «Ночь»:

«Никогда не забуду то пламя, которое навсегда сожгло мою веру.

Никогда не забуду ту эпическую тишину, которая навеки лишила меня желания жить. Никогда не забуду те моменты, которые убили моего Бога и мою душу и обратили мои мечты в пепел. Никогда не забуду все это, даже если я обречен жить так долго, как сам Бог. Никогда.

Адам Векслер родился в 1930 году в польском местечке Яново, в многодетной семье. «Сколько я себя помню, — признается он, — отец вызывал во мне недовольство. Мне мешало то, что он не был похож на отцов моих друзей-христиан. Они работали в поле от зари до заката, а мой отец проводил время в молитвах или чтении религиозных книг... Я завидовал семье, в которых отцы зарабатывали на хлеб.»

Вскоре семья перебралась в ближайший город Лодзь, где в самом начале нацистской оккупации она оказалась в гетто. Здесь отец нарушил строгий немецкий приказ сдать все радиоприемники. В его доме собирался узкий круг доверенных людей, чтобы услышать новости из антифашистских источников и пересказать их жителям гетто. Это продолжалось до тех пор, пока кто-то не выдал их, и немцы, узнав о существовании радио, арестовали двадцать одного участника подполья. Все они исчезли бесследно, включая отца и старшего брата.

После ареста подпольщиков гетто Лодзи ликвидировали и всех уцелевших членов семьи отправили в Освенцим. Адам и его старший брат Дов чудом выжили в немецких лагерях смерти. После войны они поселились в Израиле. И злополучный радиоприемник, послуживший поводом для ареста старших

Векслеров, тоже сохранился. При обыске немцы не нашли его, и теперь это радио можно увидеть в «Музее борцов гетто».

Обо всем этом Адам сдержанно и скупно рассказывал во время наших встреч, которые с годами становились все дружелюбнее и теплее. А совсем недавно в Израиле была опубликована его книга «С моей точки зрения», в которой он собрал воедино рассказ о пережитом.

Адам не претендует на известность и авторский успех. «Я не писатель, — как бы извиняясь объясняет он свой литературный проект. — Просто хотел оставить внукам историю нашей семьи. Если не я, то кто же?».

Много раз в наших беседах Адам с огорчением говорил о том, что историю Катастрофы зачастую искажают, и недостойные люди превращают себя в героев, какими они не были.

Думаю, что не случайно Адам Векслер озаглавил свою книгу «С моей точки зрения». Читатель вправе задаться вопросом: а в чем собственно новизна точки зрения автора — уж не стремится ли он показать иными немцев, или как-то особенно выглядят их еврейские жертвы? Нет, немецкие палачи — те же. Как нам кажется, те же и уничтожаемые ими евреи, словно бы перекочевавшие из других, давно знакомых источников. Но что тогда в книге нового? Кто же другой? Другой — автор, 14 летний Адам Векслер, который смотрит на происходящее особым, не замутненным взглядом ребенка. Что видит, о том и пишет: добро для него всегда добро, от кого бы ни исходило, (пусть даже от немецкого офицера), а зло, исходящее от еврейских капо, не менее отвратительно от того, что его творят люди, говорящие на родном идише. Нет зла немецкого или зла еврейского. Зло общечеловечно, точнее надчеловечно. И в этом все начала и концы детской философии мальчика.

Четырнадцатилетний Адам никак не декларирует ее, он просто сообразно ей ведет себя и воспринимает жизнь. Это его детское восприятие и есть, в сущности, его «точка зрения», его видение, которого мы не можем не почувствовать, — воистину, как это бывает в жизни, устами ребенка глаголила истина.

Но позвольте, могут возразить, — какой же его ребенок, когда перед нами уже взрослый, умудренный жизнью человек? Да, это правда, но не вся правда, ибо вся правда состоит в том, что Адама Векслера (не тогдашнего, а сегодняшнего) мы просто не сможем понять, если забудем, что через всю его жизнь кровавым рубцом проходит память о детстве. Похоже, детство переживается им не просто как прошлое, а как некое негасимое в еврейской душе пламя вечного огня. Что это? Жажда мести? Неутешимое горе? А это уже разговор о другом! Но не

в этом ли «вечном рубце» секрет его пронзительных детских страниц, которым просто не может не верить читатель? Правда есть правда. Она сохраняется, о чем бы ни писал автор. О жизни или смерти, о подвигах или малодушии. В той жизни, о которой пишет 14-летний Адам, все критерии смещены. Все может быть прощено. Все может быть понято.

«Трусость — это слово, которое мы не употребляли, — говорит Эли Визель, — потому что логически каждый из нас должен был быть трусом — должен был и, вероятно, был, ибо один эсэсовец с автоматом был сильнее тысячи поэтов».

На мой взгляд, судьба Адама Векслера в чем-то перекликается с солженицынским Иваном Денисовичем. Для обоих выживание в бесчеловечных условиях становится той целью, которой посвящены все силы, изобретательность и лагерные навыки. И поскольку я знаю Адама как человека, не умеющего лгать и не ищущего славы, я верю каждому его слову, так же как я верил Солженицыну, читая его книгу в далеком шестидесятом втором году.

Ефим МАНЕВИЧ

ЛОДЗИНСКОЕ ГЕТТО

В гетто люди быстро примирились со своим положением. Из-за нескончаемой борьбы за выживание они не скорбели подолгу о потере близких. Голод делал свое дело, он был неотвратим: не месяц-другой, а годы без всякой надежды... Люди утратили вежливость и хорошие манеры, а в их души вселилось грубое равнодушие к чужому страданию. Далеко не все были в равной степени наделены силой духа. Были и такие, кто на глазах терял человеческий облик, и своим поведением скорее напоминал животных.

Во время Первой мировой войны мой отец служил в царской армии, вместе с тысячами русских солдат попал в немецкий плен, где провел пару лет, оставивших в его памяти хорошие воспоминания. Он прекрасно знал немецкий язык, и немцы использовали его для общения с русскими пленными. То, что он был еврей, не мешало никому. Контакты с немецкими офицерами высокого ранга так повлияли на моего отца, что он вернулся из плена «немецким патриотом».

В гетто он впервые встретился с «новым» немцем, воспитанным в духе нацизма. Эта встреча так потрясла его, что несколько дней отец не мог вымолвить ни слова и лишь под нажимом старших сыновей рассказал, что с ним однажды произошло.

Он попал в облаву. Сначала группу евреев послали чистить туалеты в немецких казармах. Потом заставили есть гнилой лук и всякие отбросы, избивать друг друга. Наконец, построили по два и приказали сбрить каждому пол-бороды. Когда это требование осталось невыполненным, немцы выбрали из толпы двух случайных людей. Появились два солдата с дубинками и начали избивать первого еврея, пока тот, обливаясь кровью, не упал без сознания.

Подошла очередь второго еврея. «Слишком много работы — избить тридцать человек, — сухо сказал офицер, командовавший экзекуцией. С этими словами он достал пистолет и всадил пулю в задницу жертвы, ждавшей избияния. — Через полчаса я вернусь, — сказал офицер, обращаясь к толпе. — Чтобы каждый остался с половиной бороды».

Поначалу отец категорически отказывался сбрить вторую половину бороды, прикрыв ее повязкой, как будто у него болели зубы. В конце концов он сдался и остался лишь с небольшими усами. Он продолжал совершать обряды утренней и вечерней молитв, заставляя молиться и сыновей. Нас очень раздражала необходимость бормотать слова, смысл которых мы не понимали, и обращаться к Богу, который не проявлял ни малейшего признака того, что он действительно любит нас. Страшные дни 1939 года отец провел вместе с еще десятком соседей в молитвах на чердаке.

Восстание в Варшавском гетто вызвало потрясение среди евреев Лодзи, которые были осведомлены о происходящем в 120 километрах от нас. Подпольная польская радиостанция с поразительными подробностями рассказывала о действиях немецких частей и отчаянном героизме восставших. В немецких передачах варшавское восстание не упоминалось, и, тем более, ни слова не говорилось о немецких потерях.

По истечении нескольких дней, когда битва в Варшавском гетто не угасла, дух веры снова объял моего отца, и он решил

протянуть руку помощи восставшим «посредством нашего Отца, восседающего на небесах». В квартире наших родственников по вечерам собирались друзья моего старшего брата Шая: попить чайку, посудачить. Когда мой отец предложил им помолиться вместе, никто не возражал. Перед молитвой отец долго рассказывал о происходящем в Варшаве, и все эти люди, далекие от веры, следовали указаниям моего отца. Один из гостей, обладатель ученой степени по философии, меланхолично заметили «Чай и молитвы никому не повредят».

Вот так это было: в Варшаве сражались, а в Лодзи молились.

В один из дней два автомобиля подкатили к нашему дому. Я спрятался за кустами и молча наблюдал за самой ужасной для меня, по тем временам, картиной. Отец, старший брат Шай, дядя Янкель и Ицхак Любинский были выстроены в ряд. Немец с пистолетом в руках стоял напротив дорогих мне людей, на лицах которых отражались отчаяние и беспомощность. Я увидел эти лица в последний раз...

Тетя Зося сквозь рыдания рассказала, что немцы обыскали всю квартиру в поисках радиоприемника, но так и не нашли его, поскольку он был спрятан на чердаке, где жил Ицхак Любинский.

Под покровом темноты мой брат Дов через крышу проник туда и выгасил приемник. Мы замотали его листьями капусты, положили в корзинку с овощами, и мне выпал жребий пронести ее через проходную гетто. Это было очень опасно, поскольку пост охранялся немецкими солдатами, которые иногда останавливали первых попавшихся прохожих и устраивали обыск. Но все обошлось, и мне удалось спрятать радио за пределами гетто, в «арийской» части города.

После ареста близких мое положение сильно пошатнулось. Даже те, кто недавно еще жадно слушали наше радио, отдалились от меня. Я почувствовал себя изгоем. Мои друзья боялись приблизиться ко мне из страха попасть под подозрение.

БИРКЕНАУ-АУШВИЦ

В одном из выступлений начальник гетто процитировал фюрера, который поклялся, что после определенной даты «больше не будут убивать евреев»... Я вспоминаю эту речь и град аплодисментов, следовавших за ней.

Ликвидация Лодзинского гетто началась без всяких селекций. Немецкие солдаты с помощью полицаяев окружали квартал и отбирали людей, пока не заполняли железнодорожный состав. После расставания с отцом и старшим братом, моя мать и я оказались в группе «непродуктивных», согласно нацистской терминологии.

Все признаки указывали на то, что нас ждет. Селекцию осуществляли пожилые люди, убеленные сединой. Может, поэтому они не обращались с нами с излишней жестокостью. Я помахал рукой Дову, который стоял недалеко от нас, и вдруг произошло неожиданное: брат обратился к немецкому солдату и что-то сказал ему, указывая рукой в нашу сторону. Он попросил присоединиться к нам. В ответ немец поднял дубинку, но не ударил, а лишь махнул ею: убирайся с моих глаз. Нам дали десять минут на сбор пожитков, и вот колонна двинулась по направлению к поезду.

Тому, кто не испытал этого сам, невозможно представить себе ночь в закрытом и тесном вагоне, заполненном отчаявшимися и рыдающими людьми. Бесконечно текут часы, когда люди уже не могут сдерживать свои естественные потребности. Вонючую чайную кружку, которую несчастная женщина использовала как ночной горшок... На рассвете перед глазами возникла картина кучи людей, в полузабытьи навалившихся друг на друга.

Через щели в стенах вагона видны цветущие луга, коровы, жующие траву, и польские пастухи, глазающие на мелькающие перед их глазами вагоны, из которых доносятся крики отчаяния. Поляки уже привыкли к этим поездкам, которые они провожают движением большого пальца поперек горла. Они знают, что нас везут на бойню.

Я не чувствовал голода, но жажда становилась непереносимой. Начало августа, солнце раскаляет вагон, а мы внутри,

как в кастрюле с крышкой. Наконец, поезд останавливается, и нам удается прочесть название станции: «Аушвиц-Биркенау». Неожиданно двери вагона распахиваются, и порыв ветра на мгновение облегчает душу. Здоровенные парни с румянцем на щеках обращаются к нам на идиш, требуя быстро освободить вагон. Распорядители облачены в полосатые белоголубые одежды, больше похожие на пижамы, а их еврейский язык напоминал мне говор местечка.

«Бросьте свои сумки, они вам не понадобятся!», — оралы они, — все равно вы все вылетите в трубу». Мне было невероятно трудно увязать их родной идиш со страшным и жестоким смыслом этих слов.

«Женщины и мужчины отдельно!» — кричат «пижамники».

Мама и сестра Мириам, держась за руки, присоединились к толпе женщин. Дов держит в руках сумку с караваем хлеба, и мы оба устремляемся к женщинам, как будто именно хлеба не хватает им в эту минуту. Это было все, что мы могли сделать. Так мы расстались навсегда с нашей мамой, под угрозами надсмотрщиков покинув самого дорогого нам человека.

Мы встали в длинную очередь мужчин, медленно двигавшуюся по направлению к зданию, примыкавшему к станции. Стояли в очереди и старались не потерять друг друга. Очередь ползла в сторону группы людей в форме. По их фуражкам и сапогам мы поняли, что это немецкие офицеры, осуществляющие селекцию.

На лужайке перед зданием сидел и играл оркестр, состоявший из узников лагеря. За спиной музыкантов, на расстоянии примерно одного километра, виднелась высокая труба, из которой непрерывно валил черный дым. В воздухе чувствовался неприятный незнакомый запах...

Мы поняли, что залах шел из крематория, о существовании которого и о том, что в нем происходит, мы уже знали из передач радиостанции «Шавит». По мере прохождения отбора, слева и справа образовались две группы. Поскольку меня не остановили, я оказался в правой группе. За моей спиной кто-то прошептал: «Ост геот мазл»*.

* Тебе выпало счастье (идиш).

Не помню, как немец дубинкой поднял мой подбородок и на мгновение заколебался, в какую сторону направить меня. Уже потом об этом рассказали мне друзья. Очень быстро я понял, почему меня сочли счастливым: в толпе, где я оказался, не было ни одного мальчика моего возраста. Группа слева состояла из детей, стариков и обессиленных людей. Нас выстроили по пять человек в ряду, и узник-еврей прочел нам «проповедь» на идиш, проповедь которая повторялась нам многократно:

Во-первых, передать властям все золотые вещи.

Во-вторых, сдать всю валюту и все драгоценности. Все пройдут через рентген, и если кто-то проглотил бриллианты и будет пойман, его ждет расстрел на месте.

Затем нас повели в душевую. Мы шагали молча, каждый наедине со своей судьбой, погруженный в глубокие думы. На дороге валялось много растоптанных долларов. Трудно было поверить, что после жестокой ликвидации гетто у евреев еще оставались деньги. Ассигнации валялись на нашем пути, но никто не нагнулся поднять их. Всеми владело отчаяние.

Остановились на широкой площади. Снова появился распорядитель и приказал всем раздеться догола... Вещи оставить на месте... Взять с собой лишь обувь и ремень. У входа в душевую нас окружили эсэсовцы с собаками. Стоя под душем, я непрерывно глотал воду, будучи не в силах утолить жажду, от которой страдал со времени погрузки на поезд. Мытье заняло несколько часов. Оно включало удаление волос со всех частей тела.

Надсмотрщики, по-большинству евреи, были набраны из числа узников-старожилов. В отличие от вновь прибывших, они выглядели богатырями, очевидно, не испытывавшими голода. Поскольку вокруг не видно было немцев, мы находились во власти этих здоровяков, которые выработали в себе подлые обычаи избивать людей без всякой видимой причины. Под видом вершителей правосудия, они жестоко избивали узников с такой жестокостью, встречать которую мне до этого не приходилось. Да я и не думал, что подобное возможно.

Достаточно было указать на какой-то пустяк, вроде того, что кто-то служил полицаем в гетто и отвесил пощечину сто-

ящему в очереди за углем, чтобы надсмотрщики насмерть забивали обвиненного. Их излюбленным методом было уложить жертву навзничь и бить его между ног. Они явно получали садистское удовлетворение, когда избиваемый испускал дух.

После мытья каждый получил охапку одежды, состоящую из брюк, куртки и шапки. Мы быстро оделись, чтобы согреться. Я посмотрел на брата, он взглянул на меня, и мы оба отчаянно разрыдались. Я был полутора метров ростом, в одежде взрослого человека, да и одежда Дова была велика ему на несколько размеров. Пока еще у нас оставались туфли и ремень — в память о прежней жизни, теперь казавшейся нам раем.

По мере того как число узников становилось достаточным для заполнения барака, людей уводили в пересылочный лагерь, называемый «цыганским». Утром стало видно, что ширина лагеря составляла примерно сто метров от одного ряда колючей проволоки с током высокого напряжения до другого такого же.

Нас поселили в блоке номер 16, в котором царил такая теснота, что мы поворачивались с бока на бок по команде надзирателя блока. Едва привыкли спать уложенные, как сардины в банке, наступил час подъема. Четыре тридцать утра, вокруг крики «Выходить всем». Тот, кто медлит, получает удар дубинки надзирателя. Во всей этой суматохе Дов держится поблизости, чтобы мы не потеряли друг друга.

Стоим снаружи, среди сотен чужих людей, под звездным небом. До рассвета осталось еще два часа, холод проникает до костей, и зубы начинают стучать. Люди жмутся друг к другу, чтобы согреться. С восходом солнца нам открылось зрелище всего лагеря, кишашего людьми, в большинстве, привезенными из Венгрии. Эти выглядели намного лучше евреев из Лодзи. Вероятно, не успели поголодать до отправки в Освенцим.

В ЦЫГАНСКОМ ЛАГЕРЕ

День начинается с переключки, производимой надзирателями и старшими по блоку. Число заключенных, живых или мертвых, должно соответствовать числу поступивших в блок, пока офицер СС не утвердит полученный результат. Все это

время мы стоим по стойке «смирно», пока не звучит команда «вольно», и мы снова выслушиваем на идиш требование сдать золото, бриллианты и искусственные зубы, сделанные из золота. Угроза прохождения рентгена снова приносит урожай, хотя казалось, что всех уже окончательно обчистили до этого.

Большинство обитателей «цыганского» лагеря были венгерские евреи, не знавшие ни слова на идиш. Вскоре мы узнали, что отсюда направляют на работу по профессиям в лагерях, где жизнь более или менее упорядочена. Все мы уже знаем, что внешний вид играет решающую роль в сохранении жизни, поэтому мы стараемся загорать, чтобы придать «здоровый» вид нашей бледной коже. По слухам, каждую неделю устраиваются «селекции», после которых людей отправляют на убой. Но и на работу в другие лагеря. Шанс выжить связан с отправкой на работу.

Заместитель старшего по блоку, хотя и был верующим евреем, не знал ни слова на идиш. Мы видели его, облаченного в талес* и тфилин**, в комнате, где жили надсмотрщики. Видеть еврея в традиционном молитвенном наряде в наших условиях было все равно, что узреть ангела у ворот ада.

Экзекутором служил итальянец по кличке «палач». Каждый, кто получал наказание из его рук, был счастливчик, поскольку итальянец просто не бил в полную силу. А два сына верующего венгерского еврея стали угрозой всего блока, в особенности, когда они выгоняли нас наружу. Лодзияне спрашивали друг друга: откуда в сердцах этих молодых евреев накопилось столько зла? Ведь их отец выглядел богобоязненным человеком.

Я был единственным еврейским мальчиком во всем блоке, мне доставалась лишняя порция супа, когда итальянец выкликал меня из толпы. Может, я напоминал ему итальянского мальчика, родственника... Во все дни пребывания в шестнадцатом блоке мне не пришлось испытывать голод, оставалось даже чем поделиться.

Но вот вышел приказ всем детям моложе четырнадцати лет собраться в восьмом блоке. С большим огорчением я

*Талес (идиш) — шерстяное покрывало для молящегося еврея.

** Тфилин (идиш) — филактерии, две черных коробочки с ремешками с четырьмя частями Пятикнижия. Одеваются одна — на голову, вторая — на руку.

расстался с Довом и знакомыми из Лодзи. Начался настоящий кошмар: до этого я был малышом среди взрослых, а теперь меня присоединили к детям, сумевшим избежать селекции. Без всяких оговорок нас прямо предупредили, что через неделю-другую мы отправимся в крематорий... А пока мы сидим по восемь детей в ряду, с согнутыми коленями и руками за спиной. Солнце печет, и мучает жажда, подобная той, что я испытал в вагоне по дороге в Аушвиц. Нельзя менять позу, нарушитель немедленно подвергается наказанию. Некоторые дети плачут, но большинство понимает, что здесь не место для чувств и слез

Мне вдруг захотелось покончить с жизнью, бросившись на электрический забор, хотя такие случаи были довольно редки в лагере. К вечеру мною овладела решимость сбежать и вернуться в шестнадцатый блок. Под покровом темноты я пробрался к брату. Там царило оживление, поскольку разнесся слух о том, что должна прибыть немецкая комиссия, которая будет отбирать в первую очередь слесарей, но также обладателей других рабочих профессий.

Дов подходил под эту категорию, и мы начали придумывать, каким образом я тоже могу попасть в эту группу. Мы изобрели рассказ, как будто у меня есть двухлетний стаж в металлообработке. Дов и друзья подбадривали меня: это был мой последний шанс остаться в живых.

Наконец, появился офицер СС в сопровождении человека в штатском. За ними следовала группа узников лагеря, занимавших различные должности. Прозвучала команда: такелажники — два шага вперед. Эсэсовец, внимательно осмотрел кандидатов и отобрал 30 человек. Теперь настала очередь слесарей, но мне не удалось даже приблизиться к их очереди. Надзиратели надавали мне оплеух и отшвырнули прочь.

Но я все еще не отказывался от шанса выжить, выжидая момента, когда Дов пройдет селекцию. Может, его возьмут на работу, и он попросит за меня... Я не ошибся, в решающую минуту брат не забыл меня! Он обратился к немцам с просьбой разрешить мне присоединиться к нему. Я рванулся вперед, вытянулся во весь свой «рост» и без разрешения обратился к немецкому офицеру с длинной тирадой. Мой не-

мецкий был неплох, я старался говорить как можно убедительнее, напирая на свой двухлетний стаж работы слесарем. Все вокруг замерли, ожидая, чем же кончится мой натиск. Еще не было случая, чтобы ребенок попросил сохранить ему жизнь.

— Сколько тебе лет? — спросил эсэсовец.

— Шестнадцать, — ответил я.

Офицер рассмеялся: «Неужели тебе шестнадцать?»

Я понял, что зарвался и уменьшил свой возраст на один год. Тут немец обратился к окружающим, как будто совершил открытие: «Смотрите, вот еврей, спросишь у него цену товара, он хочет 50 злотых, и если продал за 10, то все равно обманул в десять раз».

— Сначала ты сказал 16, потом съехал до 15, — продолжил он. — Что дальше?

— Несмотря на то, что я еврей, это правда, — ответил я.

— Но ты же слишком мал, — снова возразил эсэсовец.

— Рост не важен, важна мощь и производительность (Die Leistung und die Production), — выпалил я, изо всех сил цепляясь за возможность уцелеть.

В ответ раздался оглушительный хохот всех присутствовавших. И тут вмешался высокий рыжий немец в штатском и приказал: «Присоединить его к группе». Я с трудом вымолвил слова благодарности. С этого момента солнце снова начало светить для меня. Я опять оказался вместе с братом и друзьями.

Нас отвели в специальный барак, где мы помылись впервые за две недели и получили чистую лагерную одежду. Потом все встали в очередь для получения наколки на левую руку.

Я получаю номер В8199.

С этого момента никто не будет считать людей. Мы превратились в номера. Под надзором четырех эсэсовцев нас вывели за пределы лагеря Биркенау, и два часа мы шагали на восток. Изменился ландшафт, но запах крематория по-прежнему сопровождал нас... До сегодняшнего дня меня тошнит, когда я прохожу мимо людей, поджаривающих мясо на дымящемся мангале. Попробуй объяснить им, почему кто-то не терпит этот вид еды.

ОСВЕНЦИМ

Наш лагерь назывался Аушвиц-1, и он должен был служить образцом на случай визита представителей Красного Креста. Здесь царит строгая дисциплина, но узников не избивают так часто, как в том месте, откуда мы прибыли. В Биркенау мы буквально утопали в дерьме в уборных. Здесь же есть даже раковины для умывания и бритья.

Старостой нашего барака был молодой светловолосый и высокий поляк, настоящий красавец. Я вспоминаю его с благодарностью, поскольку однажды, накануне селекции, он спрятал меня под матрасом и спас от опасности быть посланным на убой. Писарем служил венгерский еврей лет пятидесяти, человек весьма ученый, по большей части предававшийся размышлениям наедине с трубкой, вечно торчавшей из его рта. У него был и заместитель, голландский еврей по имени Сандерс, бывший чемпион Европы по боксу в полутяжелом весе.

Пятнадцать тысяч человек, в большинстве евреи, работали на предприятиях, расположенных в районе лагеря. Перед воротами всегда сидел оркестр, игравший марши и классическую музыку. Говорили, что в этом оркестре играли лучшие музыканты Европы. Только лучшие из лучших остались в живых. Стратегия нацистов заключалась в том, чтобы обеспечить смерть каждому еврею концлагеря. Но в нашем лагере процесс уничтожения включал каторжные работы до изнеможения, чтобы Германия смогла извлечь из нас пользу, прежде чем отправить в крематорий.

Наше предприятие называлось «Унион». Это был огромный завод, производивший оружие для немецкой армии. Ракетная эра еще не наступила, но тем не менее немецкие ракеты нанесли большой урон Англии. На «Унионе» производили для них различные части, но никто из нас не знал, для чего служат металлические детали, изготавливавшиеся в каждом цеху. Вообще-то из обрывков немецких газет мы поняли, что «Унион» участвует в производстве ракет V1 и V2. И нам пришлось это делать именно тогда, когда поражение немцев в войне стало очевидным!

Меня приставили к венгерскому слесарю-еврею, который продемонстрировал мне, что нужно делать. Я стоял у тисков с напильником в руках и тренировался на подгонке ключей к замкам. На мое несчастье, напротив была расположена комната, в которой находились три немецких «мастера». Они носили гражданскую одежду, и лишь серые халаты свидетельствовали о том, что их обладатели представляют высшее начальство. Работа с напильником не тяжела, однако, когда целый день не выпускаешь его из рук, начинаешь чувствовать спазмы в пальцах, так что временами я опасался упасть в обморок. В то же время я боялся сделать перерыв, ведь я же похвалялся «мощью и производительностью».

Из разговоров с другими узниками выяснилось, что лодзинской группе по-настоящему повезло. За время нахождения в Освенциме мы голодали меньше, чем в гетто Лодзи. Однако старожилы лагеря рассказали, что пару лет назад положение было совсем другим. После кошмара, пережитого нами в Биркенау, здесь мы слышали рассказы об издевательствах и изощренных убийствах, которые эсэсовцы изобретали для расправы с евреями. Например, «выравнивание ряда» с помощью пули мы не испытали.

В «Унионе» работали примерно 600 женщин, которых приводили пешком из Биркенау. Они находились в отдельных цехах, хотя немцы не стремились к их абсолютной изоляции от мужчин. Иногда удавалось поговорить с ними. Женщины были молодые, и по их понятиям, сорокалетние уже считались «старухами». Среди них я встретил красавицу-еврейку Беллу, знакомую девушку из Яново. Даже здесь, в Освенциме, она выделялась своей красотой.

На мои вопросы о ее брате Шае, товарище моего детства, Белла разразилась рыданиями. Немного успокоившись, она рассказала, что Шая вырос красавцем, на две головы выше меня, но к несчастью, его направили в «зондеркоманду».

— Что же ты так плачешь? — спросил я Беллу.

— Неужели ты не знаешь, где он находится? — Белла понизила голос и прошептала мне на ухо: «Те, кто работает в «зондеркоманде», обречены. Еще ни один из них не остался живым.»

— Что же он там делает? — изумился я.

— Таскает трупы от места убийства до крематория, — с этими словами, задыхаясь от слез Белла рассталась со мной.

Лагерь Аушвиц-1 был самым либеральным по сравнению с остальными лагерями в областях немецкой оккупации. По воскресеньям мы отдыхали. Устраивались футбольные матчи, перед нами выступали артисты, самые знаменитые из которых, естественно, евреи, прибыли из Вены. Для узников демонстрировались кинофильмы, которые пару раз привели меня в депрессию. При виде обычной семейной жизни в мирных поселениях, школ, детей и родителей, бабушек и дедушек мне сдавливало горло от тоски.

Все понимали, что наше существование в относительно неплохих условиях — это жизнь взаимы. Несмотря на то, что бомбежки учащались с каждым днем, казалось, что наш лагерь находился вне зоны действия союзных войск. Иначе как можно было объяснить тот факт, что во время воздушных тревог все эсэсовцы собирались в нашем лагере? Понятно, что летчики не хотели, чтобы пострадали заключенные, но почему они не бомбили «главное предприятие», газовые камеры и крематорий, находившиеся на расстоянии примерно семи километров от Освенцима?

В лагере находилось немало «мишлингов», немцев с примесью еврейской крови. Некоторые из них имели высокие воинские звания. Я познакомился с тремя «мишлингами», которые служили в немецкой армии на Восточном фронте, но были отправлены в лагерь из-за «еврейского влияния». Они наиболее открыто критиковали нацизм, страдая от несправедливости, причиненной им. Среди них можно было встретить интеллигентов с абсолютно арийской внешностью. Заключенные с «чистой!» немецкой кровью занимали привилегированное положение, сопровождавшееся и более высоким уровнем жизни. Для этой группы существовал блок номер 14, где содержались женщины для их ублажения.

Блок номер 11, в котором осуществлялись расстрелы, наказания и издевательства, находился под властью Якова Козельчика, еврея из польского города Бялосток, обладавшего огромной физической силой. Он повстречался мне в лагере, и я слышал, что после войны он поселился в Израиле.

Мы работали по 12 часов, выходя на работу и возвращаясь в темноте. Будучи не в силах вынести такую нагрузку, я прятался в бараке, а друзья покрывали мое отсутствие. Однако после того, как я несколько дней не появлялся в «Унионе», рыжеволосый немец поинтересовался, где я пропадаю, а здесь это уже было серьезно. Не стоило раздражать начальство, поэтому я пристроился на работу токарем в цех, руководимый парнем из Лодзи по имени Михаэль Ядов. Он называл меня по-польски Сынек, что значит «сынок», и я испытывал к нему большую симпатию.

САБОТАЖ

Все шло хорошо до тех пор, пока в один прекрасный день Михаэль не поранил руку. Я умел включать токарный станок и даже изготавливал на нем одну и ту же деталь, но всегда под надзором Михаэля. На следующий день я предстал перед станком в одиночестве, не смея включить машину. Вокруг суетились рабочие, и лишь я один бездельничал.

Мастер цеха, высокий седой немец приблизился ко мне и спросил важным голосом: «Почему ты не работаешь?» После моих объяснений немец поинтересовался, умею ли я работать на станке, и получил утвердительный ответ. «Если так, то немедленно приступай к работе», — скомандовал он.

Установка железной болванки прошла успешно, но это были пока простейшие операции. Введение в действие резца и отладка толщины металлической стружки требовали навыка. Немец не спускал с меня глаз, как будто ожидая моей ошибки. Когда я работал с Михаэлем, резец не раз подводил нас и ломался. Вот и на этот раз случилось то, чего я боялся больше всего: наконечник резца, изготовленный из особого сплава, сломался, а станок продолжал вращаться вхолостую.

Реакция мастера не замедлила сказаться: «Несчастный жид, ты вредитель, уничтожающий ценные материалы Рейха!» Когда я пришел в себя, мое лицо было покрыто кровью. Иногда и раньше у меня кровь текла из носа, а тут мощная оплеуха по слабому месту вызвала настоящий поток, замаравший полосатую арестантскую одежду. Русский токарь, проходивший мимо, вытер мое лицо тряпкой, несколько раз обмакнув ее в чан с холодной водой.

Немецкий мастер ушел, разражаясь ругательствами. Русский успокоил меня, я отправился в туалет, чтобы умыться. По дороге меня остановил «капо», немец по имени Готхард, ответственный за всю рабочую команду «Униона». Увидев мое лицо, он основательно допросил меня. Я пытался предстать перед ним невинным младенцем, не понимающим слово «саботаж».

Вскоре я узнал, кем был этот Готхард. Заключенные-немцы всегда вызывали любопытство, и всех мучил вопрос, почему они попали в лагерь. Готхард был немец, политический заключенный с пятилетним стажем. Воротник его одежды украшали красный треугольник и желтая лента с надписью Aufsicht («под наблюдением» — немецкий). Старожилы рассказали, что Готхард воевал в Испании против Франко, а по возвращении в Германию его арестовали и отправили в концлагерь Дахау. Он был невысок, лет пятидесяти, с энергичным и умным лицом. Хотя Готхард был заключенным, ему не сбрили волосы, как всем остальным, и его голова отливала сединой с явной тенденцией к облысению. Он ходил в полосатой форме, изготовленной из материала лучшего качества и сшитой по размеру.

Иногда случайная встреча определяет судьбу человека. Оглядываясь назад, думаю, что пощечина, которую я схлопотал от немецкого мастера, спасла жизни моего брата и мою. Готхард был управляющим всей «команды Унион». После краткой беседы со мной он направился к токарному станку, чтобы я подробно рассказал ему, при каких обстоятельствах мастер избил меня. Убедившись, что я ничего не придумал, он взял меня за руку и повел к командо-фюреру. Меня охватил страх при мысли, что нужно предстать перед офицером СС, и я сказал Готхарду, что боюсь. «Я отвечаю за тебя», — с этими словами он направился к кабинету командо-фюрера, таща меня за руку, и решительно постучал в дверь.

«Докладываю, — энергично начал Готхард без тени смущения, — правила, введенные в действие с мая 1944 года, запрещающие избивать заключенных без суда, были нарушены в нашей команде. У нас есть лишь один мальчик, и посмотрите на его лицо. Его беспричинно избил гражданский мастер».

Офицер записал что-то в блокнот, сказал, что займется этим случаем, и больше он не повторится.

Вопреки моему желанию, после того, что произошло, я прославился. Мастера проклинали за его спиной. Русский заключенный, давший мне полотенце утереться, взял меня к себе на работу на токарном станке. Он так привязался ко мне, что даже предложил мне стать членом его семьи в России...

Там они жили в колхозе «Светлый путь». После знакомства с Готхардом я стал получать дополнительную порцию еды.

Хотя жизнь в лагере Аушвиц-1 протекала относительно спокойно, в один из вечеров, по возвращении с работы нас ожидал сюрприз. Еще на улице громкоговоритель оповестил, что всем надлежит раздеться догола и построиться. Мы сразу поняли, что предстоит селекция. Опасность нависла над всеми, а надо мной в особенности, поскольку я был единственным мальчиком среди сотен мужчин.

Без всякой инициативы с моей стороны староста блока, симпатичный молодой поляк, приказал мне лечь на нары и со словами «Пока не подам знак, не дыши» накрыл меня матрасом. Так я пролежал несколько часов, пока заключенные ни начали возвращаться по одному, дрожащие от холода и рассказывающие об ужасном испытании. Ожидание возвращения брата после селекции показалась мне вечностью. Он обрадовался, увидев меня целым и невредимым.

Назавтра, как будто ничего не произошло, играл оркестр и заключенные шагали в ногу через ворота, между решетками которых красовалась надпись «Труд освобождает».

В лагере распространились слухи о предстоящем мощном осеннем наступлении советской армии. Мы гадали, какова будет судьба десятков тысяч заключенных, когда немцы начнут отступать? Поляки получили известие о том, что в Варшаве поднято восстание. Они буквально скрипели зубами, не понимая, почему русские, находящиеся на подходах к Варшаве, не приходят на помощь восставшим. Те, кто разбирался в политике, предсказывали, что советская атака не начнется, пока немцы не прикончат последнего восставшего поляка. В Варшаве сражались сторонники польского правительства в изгнании, находившегося в Лондоне. Сталину они были ни к чему.

БУНТ В КРЕМАТОРИИ И КОНЕЦ «УНИОНА»

Тихие, наученные горьким опытом женщины, ежедневно совершавшие пеший поход из Биркенау в Аушвиц, создали в своей среде подпольную группу. Позже стало известно, что они проносили под одеждой взрывчатку, и тайными путями передавали ее узникам зондер-команды. Когда в один из дней десятки эсэсовцев заполнили здание «Униона», никто не знал, что происходит. Поскольку бомбежки были привычными вблизи от лагеря, никто не придавал значения отдаленным взрывам, эхо которых доносилось до нас в течение дня.

Оказалось, что восставшие члены зондер-команды взорвали крематорий довольно большим количеством взрывчатки, пронесенной женщинами в течение долгого времени. После расследования и тяжелых пыток, которым подвергли подготавливаемых женщин, их освободили, чтобы выявить тех, кто им помогал. Как обычно, немцы провели обряд показательного расстрела перед большим числом арестантов, с тем, чтобы страх глубже укрепился в их сознании.

Вскоре мы узнали, что произошло в крематории. Взбунтовались работавшие там евреи, и я вспомнил о Шае, товарище моего детства, который скорее всего погиб при этом. Несмотря на то, что всех восставших немцы перебили, чувство гордости охватило узников-евреев. Каждое известие о новом еврейском восстании против нацистов укрепляло в нас веру в себя. Даже узники-неевреи на какое-то время перестали презирать нас за «природную трусость».

Вскоре немцы начали демонтировать и паковать дорогие станки для переправки их вглубь Рейха. Для нас это служило признаком приближающегося конца. В связи с ликвидацией производства все меньше узников выходило на работу. Добрые люди подыскивали мне другое место, а Дов продолжал свое обычное занятие. Теперь я оказался в огромном здании, соседствующем с печально известным блоком номер 11, который служил местом расстрелов и пыток.

Я часто видел абсолютно здоровых заключенных, заходивших в этот блок и появлявшихся вновь избитыми и ранеными. Но они еще были счастливы, поскольку многих выносили из блока 11 в виде трупов.

В «Унионе» работали в две смены, которые включали и женщин. По воскресеньям с ними можно было познакомиться, поэтому в ночной смене часто появлялись «ухажеры». Ответственным за них «капо» был югославский еврей по имени Шульц, ненавидевший женщин. Этот человек проявил себя доносчиком самого худшего сорта. Несмотря на намеки и угрозы расправы, Шульц продолжал доносительство.

Природа брала свое, и все знали, что по ночам парочки уединялись под прикрытием электрических кабелей в каналах, проложенных под полом. Шульц не мог вынести даже этих редких минут счастья, выпадавших на долю узников. За это он и поплатился. В первую же ночь, когда смена не вышла на работу, четверо парней подстерегли Шульца по дороге в уборную, накинули на него одеяло и забили до смерти. Утром труп Шульца, запорошенный снегом, предстал перед нашими глазами.

Бесславная история «Униона» подошла к концу.

МАРШ СМЕРТИ

В середине января 1945 года всем узникам Освенцима сообщили, что их переправят вглубь Германии. Вечером 17 января прозвучал приказ собраться у ворот лагеря. Покидая блок, можно было взять с собой одно одеяло, буханку хлеба и кубик маргарина. Небольшая группа решила спрятаться в лагере и ждать прихода солдат союзных армий.

Снег и мороз превратили путь к месту сбора в пытку: было очень скользко, отмерзали нос и уши, пока мы собирались под беззвездным небом. Лишь отблески огня от зданий, подожженных немцами, освещали окрестности. По пять человек в ряду колонна из тысяч узников шагала под надзором эсэсовцев, два охранника по разные стороны колонны в каждом двадцатом ряду. На рассвете невозможно было увидеть ее конец, так она была велика. Охранники-эсэсовцы выстрелами предупреждали попытки побега.

Очередь — и еще один узник падает на землю. Такая доля ожидала всех, кто не выдерживал темпа ходьбы. Пока жертвами становились незнакомые люди, это воспринималось как удар судьбы. Однако, когда среди убитых появились те, кого

в лагере Аушвиц-1 знали как артистов из Вены, по колонне прокатился гул. Нам пришлось крепко зацепиться друг за друга, чтобы не давать охранникам повод для стрельбы.

Под вечер мы достигли большой фермы, где был объявлен привал. Помимо евреев, в колонне шагали вместе люди разных национальностей: поляки, украинцы и русские. На ферме они почувствовали себя гораздо свободнее, чем в лагере. Под прикрытием темноты они пробрались в свинарник, зарезали две свиньи, и всю ночь жарили и коптили мясо. Утром поход возобновился, и никто из нас все еще не понимал, куда нас ведут. Снова нас провожали враждебные взгляды местных жителей, не проявлявших даже тени участия в нашей судьбе.

Наконец, мы уткнулись в железнодорожный путь. Примерно десять вагонов для перевозки угля, нагруженные людьми до отказа, стояли на рельсах. Пока мы были далеко от них, виднелись лишь головы заключенных. Приблизившись, мы с удивлением обнаружили, что это были негры, которые до сих пор не встречались в концентрационных лагерях. Сначала возникло предположение, что это были пленные. Однако картина тут же прояснилась: это были евреи, работавшие на добыче угля, которых перевели на этап прямо из шахты.

Вскоре подкатили вагоны и для узников Освенцима. После двух тягостных дней путешествия поезд пересек границу Чехословакии. Трудно даже представить себе, как изменилось к лучшему отношение к нам местных жителей. В Братиславе охране пришлось выстрелами в воздух разогнать толпу чехов, пытавшихся совать еду в руки заключенных. Среди чехов находилось много рабочих, которые вытаскивали из сумок свой обеденный паек и отдавали узникам. Добрые намерения и проявления человечности со стороны чехов вселяли в нас проблески надежды. Несколько дней спустя вагоны начали пустеть. Тех, кто умирал по дороге, просто сбрасывали с поезда. Когда поезд проехал Вену, стало ясно, что нас везут в один из лагерей на территории Австрии.

Отчаянная борьба разгоралась по ночам, когда нападавший не имел ни имени, ни лица. Я думаю, что если бы рядом со мной не было старшего брата, не довелось бы мне писать эти воспоминания. На том дьявольском поезде Дов защищал

кулаками свою и мою жизни. К счастью, его мужества и смелости хватало в минуты, когда опасность нависала над нашими головами.

Благодаря ему мы выжили и создали семьи в Израиле.

МАУТХАУЗЕН

...Поезд остановился на окраине австрийской деревни, расположенной у подножья гор и утесов. Нас привели в лагерь, окруженный каменным забором. Место выглядело, как древняя военная крепость, а ритуал приема заключенных напоминал Освенцим. В бараке люди располагались как придется, без всякого учета прошлых привязанностей.

Совершенно случайно я услышал свое имя, произнесенное с немецким акцентом. Оглянувшись, я увидел Готхарда, лежавшего на верхних нарах вместе с еще одним «капо» по имени Франц. Поскольку я занимал меньше места, чем взрослый заключенный, они воспользовались случаем, приняв меня третьим обитателем нарах. Мы сидели на нарах голышом, наблюдая за суматохой, царившей внизу.

Ни за что бы не поверил, что возникнет ситуация, когда я в чем мать родила присоединюсь на нарах к человеку, казавшемуся мне столь важным и ответственным в Освенциме. В моих глазах Готхард превратился в луч надежды: может быть, думал я, он снова приобретет положение и сможет облегчить участь Дова и мою. Я искал брата; но в нашем бараке его не было. Мое беспокойство улеглось, когда приятель из Освенцима сказал, что видел Дова в соседнем бараке.

В отличие от политзаключенного Готхарда, Франц был уголовник, занимавшийся воровством автомобилей и грабежом. Он был молод и выглядел ужасно странно: один глаз коричневый, другой — голубой, косящий наружу. Несмотря на бытность его надсмотрщиком в «Унионе», Франц никогда не проявлял жестокость по отношению к заключенным.

Готхард примостился на нарах и попытался заснуть. Когда ему не удалось задремать, он начал шепотом читать стихи. Удивительно, сколько стихов знал этот человек! Он был не женат, в Освенциме влюбился в заключенную девушку, а

теперь его сердце было разбито разлукой, горечь которой Готхард заглашал стихами...

Как и следовало ожидать, Готхард быстро нашел друзей и уже поутру нарядился в приличную одежду по моде старожилов концлагеря. Когда я рассказал ему, что у меня есть брат, которого нужно перевести в наш барак, Готхард без проблем устроил перевод Дова, сделав мне выговор за то, что я так долго молчал. Готхард умел добывать ломти хлеба, что было очень важно для нашего существования.

Франц тоже вскоре оказался в группе уголовников, принадлежавших к «чистой расе». Я понял, почему он не проявлял волнения в связи с переводом из Освенцима в Маутхаузен: среди заключенных-немцев существовал негласный союз помощи друг другу.

ГУЗЕН

Через несколько дней группу из нескольких сотен заключенных, включая Дова и меня, снова приготовили к этапу. В окрестностях Маутхаузена располагались каменоломни, к которым примыкали два концлагеря, Гузен-1 и Гузен-2. Нас направили в Гузен-1. Я уже давно не верил в чудеса, но вдруг, к своему удивлению, снова увидел прекрасно одетого Готхарда, опять получившего ответственный пост. Без колебаний я локтями проложил свой путь поближе к нему, и он меня заметил. Готхард взял меня за руку и, отведя в сторону, сказал: «Тебе повезло, малыш, что ты встретил меня. Здесь я писарь. С этой минуты забудь, что ты еврей, я записываю тебя поляком».

— А как же мой брат?! — спросил я.

— И он поляк, — сказал Готхард и продолжил: — В душевую ты пока не ходи.

Готхард подал знак одному из должностных лиц, велел забрать меня в его барак. Это был смуглый красивый парень, говоривший по-немецки с незнакомым мне акцентом. Парень оказался цыганом, служившим парикмахером барака. Мы вместе приблизились к больнице лагеря, и перед нами предстала страшная картина: гора трупов высотой метра два.

Цыган успокоил меня: это всего лишь евреи, не стоит волноваться.

Меня определили в блок номер 17, где я впервые увидел итальянцев, французов и много русских. Староста блока, односторонний человек страшного вида с большим носом и трубкой во рту, приказал всем обитателям блока построиться, отделив евреев от всех остальных. Сначала он взгляделся в лица евреев, а потом начал речь, полную ненависти к ним, что, правда, не было новинкой. Он выбрал узника-еврея, обладателя особенно большого носа и, обратившись к одному из помощников, сказал: «Эту мразь я не хочу видеть в своем блоке. Возьми-ка его в баню». «Баня» была особым способом умерщвления заключенных, изобретенным в этом лагере. Там стоял чан с водой, в который опускали голову заключенного и держали так, пока он не испускал дух.

Готхард выдал мне красный треугольник с буквой «Р» в центре, предупредив, чтобы я не находился среди евреев и не говорил на идиш. Я снова попросил найти брата. Без промедления Готхард взял меня в соседний блок номер 18, где все заключенные пока еще сидели голышом. Когда я нашел брата, слезы снова потекли из наших глаз. Дов присоединился ко мне, тоже получил букву «Р» и наказ сторониться евреев. И вообще, «не высовываться».

Обладатели должностей в бараке не испытывали голода, но остальные заключенные тяжело страдали от недостатка еды. Курящие готовы были отдать пайку хлеба за сигарету. Брат и я не выходили на работу в каменоломню, как большинство обитателей барака. У нас не было избытка еды, но мы не голодали. Трудно было поверить, что все это происходит наяву.

Две недели спустя старостой блока назначили уголовника, который привел с собой прислужника-еврея, мальчика лет пятнадцати по имени Алтер. Он расположился по соседству с нами, и поскольку Алтер происходил не из Польши, Дов и я всячески старались убедить его в том, что мы не евреи. В свободное время мы даже пробовали доказать Алтеру, что быть христианином более оправданно, чем быть евреем.

После войны я встретил Алтера в молодежном пересылочном лагере в Италии, и там он признался, что ни на минуту не

поверил в наш рассказ. Игра судьбы оказалась весьма странной: новый староста блока Фриц не терпел поляков и уважал евреев, и таким образом мы, два еврейских мальчика, выступавшие в роли поляков, были ненавистны ему. Наше пребывание в его блоке действовало Фрицу на нервы, но Алтер так и не рассказал правду своему хозяину. Хотя мы чувствовали враждебность со стороны старосты блока, брат и я испытывали радость от этого из ряда вон выходящего явления: староста лагерного блока, уважающий евреев!

В семнадцатом блоке у меня не было специфической должности. Приходилось заползать вглубь нар и смотреть по сторонам с единственной целью не привлечь к себе внимания. Krankenbau* находилась напротив моего тайника, поэтому я мог ежедневно наблюдать процедуру перевозки трупов из лагеря Гузен-1 в Гузен-2, где находился крематорий.

Так называемая «больница» занималась умерщвлением заключенных больше, чем их лечением. Никто из узников не обращался к врачам, зная, что шанс выйти от них живым был минимален. Тех, кого сюда привозили, находились уже за гранью отчаяния, не будучи в состоянии даже стоять на ногах. Чаще всего им впрыскивали бензин, и на этом заканчивалось все «лечение». Хотя наступил уже март 1945 года, погода все еще оставалась зимней. Сухой мороз позволял сооружать гору трупов высотой до двух метров. Мороз приводил к тому, что с трупами обращались, как с бревнами.

Однажды, после зимнего бурана, меня послали чистить снег. Ответственный за эту операцию эсэсовец известил всех участников уборки, что в час дня каждый получит пять ударов кнута за плохую работу. Он говорил это тихим и спокойным голосом, каким можно сообщить, например, о раздаче хлеба. Из-за этого тона я не принял его слова всерьез. Однако, ровно в час дня к нам пожаловал сам главный лагерный «капо», чтобы командовать процедурой наказания.

Ее подготавливали, как религиозный обряд. Принесли скамейку, на которой уселся толстозадый раздатчик с кухни, во время избиения зажимавший голову жертвы между ног.

*Больница (нем.)

Экзекутор разминался, пощелкивая хлыстом, который назывался OCHSEN SCHWANZ*, пока уборщики снега выстраивались в ряд перед скамьей. Потом они по одному укладывались на нее и исполняли заранее известный ритуал: экзекутор щелкал кнутом, жертва вопила и скатывалась в снег, и тут же голова следующей жертвы оказывалась зажатой между ног толстозадого немца, сидевшего на скамье.

Когда подошла моя очередь, надежда избежать наказания все еще не покидала меня, поскольку я был единственный мальчуган среди двух десятков взрослых. Лагерный «капо» снял шубу, аккуратно положив ее на скамью. Затем он лично взял в руки хлыст, щелкнул им пару раз для разминки и дал знак засунуть мою голову между ног помощника. За всю свою жизнь мне не пришлось испытать такой дикой физической боли. После пятого удара дыхание остановилось, и я уже не мог кричать, лишь скатился в снег, извиваясь от боли. Лагерный «капо» остался очень доволен и все время хохотал.

Вернувшись в блок, из-за невыносимой боли я не мог сидеть на распухшей заднице. Готхард осмотрел следы побоев и утешил меня: «Боль пройдет, но тебе повезло, мой мальчик. Твоего истязателя зовут Ганс, а он — известный садист-педераст. Видимо, он пришел на экзекуцию из-за тебя. Война близится к концу, помни, что с тобой сделали. Придет время, когда ты сам будешь с улыбкой вспоминать этот случай». Какой же умница был Готхард, человек, которому я никогда не смогу отплатить за все добро, сделанное нам...

По правде говоря, лишь к Дову и ко мне Готхард относился хорошо. В отношении остальных он был вспыльчив и даже отвешивал оглеухи. Конечно, если бы он был добр со всеми, не смог бы Готхард удержаться в своей должности.

Мы имели польские опознавательные знаки, и староста блока считал нас поляками. Мы часто задумывались над тем, что произойдет, если это страшное нарушение дисциплины обнаружится. Иногда в связи с этим возникали опасные ситуации, когда поляки высказывали сомнение и начинали проверять наши познания в католической вере. Если бы кто-то из них разоблачил нас, несомненно заслужил бы премию и совершил бы это без колебаний.

* Бычий хвост (нем.)

КОНЕЦ ВОЙНЫ

По количеству самолетов союзников в небе и слабости немецкой обороны можно было судить о близости конца войны. Тем не менее нас немало удивило, когда командир блока — эсэсовец, веривший в тысячелетнее существование Рейха, — неожиданно заговорил по-польски и вдруг смягчил свое отношение к узникам. Более того, он в открытую заявил о поражении Германии, вероятно, пытаясь избежать близящейся расправы. Из его рассказов мы узнали, что к нашему лагерю приближаются американские части, и нацистский режим вот-вот рухнет.

Несмотря на то, что война явно близилась к концу, мы узнали, что немцы отправляют всех евреев в неизвестное место. Наш сосед по нарам, прислуживавший старосте блока, был тоже включен в этот этап. Может быть, это даже пошло ему на пользу. Он был сильным и энергичным парнем, и староста блока велел ему наказывать провинившихся арестантов. Когда этот молодой еврей бил христиан, в особенности, украинцев, он действовал с особым усердием. Конечно, в день освобождения ему бы этого не простили.

После подавления Варшавского восстания в лагерь привезли много польских парней. Трудно понять, где они набрались жгучей ненависти к евреям, хотя нацисты обращались с поляками не лучше, чем с евреями. Поляки сразу же взялись за меня, выкрикивая мне во след «жид». Сколько бед мы избежали, через что только ни прошли, и вот на тебе: в самом конце войны новая, неожиданная опасность.

Я решил выяснить, кто предводительствует в группе поляков. Идея была проста: подружиться с ним. Каким образом? Они были голодны, а у меня имелась еда. По секрету я преподнес польскому вожаку кусок хлеба с творогом, пообещав повторять это время от времени. В обмен поляк должен был заткнуть рты своим друзьям, что он и сделал.

Заключенных лагеря ожидал большой сюрприз: появились два офицера ЭсЭс и объявили, что каждый, говорящий по-немецки и нееврей, может записаться добровольцем в немецкую армию. В лагере у нас был приятель, двадцатитрехлетний берлинский еврей по имени Герхард Базович. В лаге-

ре он записался как «мишлинг», хотя и обладал ярко выраженной семитской внешностью. Тем не менее, его приняли в отряд добровольцев, которые тут же начали учения на окраине лагеря. Мы подумали: если уж немцы готовы мобилизовать таких солдат, их положение отчаянное.

Вдруг немцы решили репетировать эвакуацию заключенных во время бомбежек. В качестве бомбоубежища использовались старые туннели, прорубленные в каменоломнях, куда загонялись тысячи заключенных. Нашлись смельчаки, которые прятались в лагере и не спускались в туннель. А раз так, то почему бы не красть еду в опустевших бараках? Самыми отчаянными были русские. И они же получали самые тяжелые наказания в присутствии всех обитателей блока: пятьдесят ударов хлыстом превращали тело жертвы в кровавое месиво. Русские заключенные были не только самые отчаянные, но и приспособивались к самым тяжелым условиям. Кстати, на должность «капо» в больнице был назначен русский пленный, которого называли «военным врачом». Фактически же он казнил людей медицинскими средствами.

За несколько дней до освобождения лагеря я стал невольным свидетелем массового умерщвления узников. На площади перед KRANKENBAU выстроили голышом человек двести под наблюдением того самого русского «военного врача». Их окружили машины с брандспойтами, которые по команде направили ледяную струю на несчастных жертв, чьи ужасные крики слышны были всему лагерю. Среди исполнителей экзекуции не было солдат. Очевидно, часть заключенных опустилась до такого скотского состояния, что убить человека не представляло для них проблемы. Если бы не эти люди, немцы не смогли бы довести масштабы уничтожения до тех пределов, каких им удалось достичь.

Через шесть лет после этого случая в Израиле, на вечернем курсе строителей я разговорился с парнем по имени Ехиль Гутвайн. Слово за слово, выяснилось, что он лежал в одной из гор трупов в лагере Гузен-2. Когда американцы начали хоронить этих мертвецов, кто-то из них заметил, что парень подавал признаки жизни. Несколько недель его лечили в американском военном госпитале и таким образом Гутвайн уцелел.

Когда лагеря достигло известие о смерти Гитлера, вначале никто не мог в это поверить. Настроение явно пошло вверх, но как раз в это время, буквально в конце войны, я сам едва избежал смерти. А произошло вот что. Узникам запрещалось одевать одежду по дороге в уборную, и часовые на вышках получили приказ стрелять по каждому одетому человеку, попавшему в их поле зрения. Идти посреди ночи в уборную по морозу почти голышом было очень неприятным занятием. У тех, кто вынужден был совершать этот путь два-три раза за ночь, не оставалось много времени для сна.

Но я нашел-таки очень оригинальное решение проблемы. Мое место на нарах располагалось вблизи от верхней форточки, которую я использовал для справления нужды: становился на колени и изо всех сил выбрасывал струю. Вероятно, мальчишеские состязания на этом поприще в деревне пошли мне на пользу. Надо сказать, что в большинстве случаев я преуспевал, пока в ночь с 4 на 5 мая случился конфуз;

В ту ночь соседям с нижних нар стало холодно, и они закрыли форточку.

Посреди ночи я, как обычно, встал на колени и «выстрелил» струю в известном мне направлении. Прежде чем я успел закончить, мощная оплеуха соседа снизу запечатлелась на моей физиономии. Этим он не ограничился, и наградил меня избиением, которое компенсировало все годы, когда мне удалось избежать побоев. Я вопил без удержу, хотя и помнил не выкрикивать слов на идиш, иначе это будет мой конец. Пока среди ругани, сопровождавшей битье, я не слышал слова «жид», все еще оставалась надежда.

Но сильнее боли был невыносимый стыд. Брат, находившийся на соседних нарах, понимал, что я совершил непростительную глупость, и над нашими головами нависла большая опасность. Следующая ночь была наверно самая длинная в моей жизни. Со всех сторон звучали сирены воздушной тревоги, а я собирал остатки веры в то, что случится чудо и утром меня освободят. Время от времени Дов ощупывал меня, чтобы проверить дышу ли я или уже задохнулся от боли и слез.

Утром мои соседи вызвали старосту блока и Готхарда. Я стоял молча с непокрытой головой, а один из пострадав-

ших, молодой немец с нижних нар, рассказывал о том, что произошло: «Сначала я думал, что пошел дождь. Но я отлично помнил, что закрыл окно, а тут теплая жидкость полилась мне на лицо. Мне даже в голову не пришло, что там творится надо мной. Только представь себе, Фриц, что эта польская свинья позволила себе ночью».

Фриц-староста блока должен был свершить суд надо мной. Тот самый Фриц, прислужник которого поведал, что он ненавидит поляков! А тут я в качестве поляка служу живым подтверждением его концепции о том, что поляки — это самые настоящие свиньи. Две пощечины я получил в качестве аванса, но надежда все еще теплилась внутри. Готхард молчал, видимо, обдумывая, как выручить меня.

«Я не стану менять правила, существующие в лагере Гузен-2, — наконец, вымолвил Фриц. — Даже за меньшие провинности я посылал этих сукиных сынов в баню». (Я уже упоминал, что в «бане» заключенных убивали, окуная их голову в чан с водой.) Другой немец с нижних полки, тоже пострадавший от моего ночного приключения, удивил своей реакцией: «Ради Бога, он же всего лишь мальчик, сохрани ему жизнь». Тут уже наступила очередь Готхарда.

«Сегодня вечером ты получишь десять ударов хлыста по заднице, — сказал он. — Это будет тебе хорошим уроком за нахальство. Наказание приведут в исполнение в присутствии всех обитателей блока, чтобы все знали, что здесь соблюдается порядок».

Пока суд да дело, меня отправили вычистить внутри и снаружи все, что я наследил. Совсем незадолго до этого случая я уже получил пять ударов, и побитое место все еще ныло и побаливало. А теперь мне предстоит двойная порция, как же я ее вынесу? До вечера оставалось лишь несколько часов...

На дворе стоял пятый день мая 1945 года. События этого дня настолько врезались в мою память, что я запомнил на всю жизнь мельчайшие подробности. Из любопытства я направился к блоку номер 19, за углом которого был виден непрерывно поднимающийся и опускающийся шлагбаум. Около полудня показалась белая гражданская машина, из которой вышли три человека в фуражках и обрати-

лись к солдату, дежурившему у шлагбаума. Пока они беседовали, подоспели еще пять автомашин, два танка и три бронетранспортера. Солдаты в формах разных цветов и разных касках глазели на нас из башен боевых машин.

То были первые американцы, которых мне довелось увидеть.

Офицер вылез из танка, приблизился к забору и обратился к толпившимся за ним заключенным: «Есть среди вас поляки?» Когда со всех сторон послышались утвердительные голоса (и мой среди них), офицер продолжил, коверкая польский язык: «Еще немного» и вы будете свободны. Немцы заявили, что они капитулируют».

Мне снова страшно повезло! Миллионы людей мечтали и стремились дожить до этого дня и встретить солдат, сражавшихся против нацистов. И вот именно мне посчастливилось своими глазами увидеть американскую армию!

Я бегом помчался в семнадцатый блок и обратился к евреям, которых хоть и знал, но до сих пор старался держаться от них на расстоянии. Не в силах сдержать чувства, я кричал им на идише; «Евреи, мы свободны! Только что я своими глазами видел освободителей!»

«Заткнись, — заорали в ответ те, кого мне так хотелось обрадовать. — Ты накличешь на нас несчастье!» Этот окрик охладил меня. Я вспомнил о назначенном мне наказании и бросился искать Готхарда. Войдя в его комнатку, я шепотом рассказал ему об увиденном у шлагбаума. «Если ты говоришь правду, — отреагировал Готхард, — от наказания ты ушел».

Лагерь все еще пребывал в безмолвье, так что на мгновение мне показалось, что все увиденное было просто сном. После того, как меня выгнали из блока, я рассказывал новость всем подряд. Русские, украинцы, поляки все приходили в восторг, и тут же начинали действовать.

Осторожно и неуверенно смельчаки подкрались к кухне и, увидев, что охраны нет, справились с работавшими там заключенными, и началось невиданное мародерство! Вскоре продовольственные склады и кухня стали выглядеть, как муравейник, который однако издавал рев, похожий на

бурю. Когда буча улеглась, выяснилось, что десятки людей были растоптаны насмерть, когда пытались добраться до пищи.

Пищевые склады опустели, и настала очередь зданий, в которых жили эсэсовцы. Мы застали их абсолютно пустыми, но там было много еды. Правда, Дову и мне достались лишь корзина картошки и два ружья с несколькими десятками патронов. До сих пор не могу понять, зачем мы взяли ружья. Все равно мы не знали, как ими пользоваться, да и не собирались ни с кем сводить счеты. Обратились к поляку, служившему в армии, с просьбой научить нас стрелять. Тот согласился за десять картофелин, зарядил ружье и выстрелил в фонарь, висевший у сторожевой башни. Попал с первого раза. Теперь мы поняли, что ружья — это наше главное богатство, дай Бог только, чтобы не пришлось ими воспользоваться..

После полудня шоссе, ведущее к Маутхаузену, заполнилось тысячами пленных немецких солдат, которых охраняли всего пять американских бронетранспортеров. В лагере заключенные, обретшие свободу, занимались приготовлением пищи, которой так недоставало им. Некоторые уже корчились на земле от боли после обжорства. Никто не обращал внимания на раненых и агонизирующих людей. И началось кровавое сведение счетов, в котором особенно отличились русские. Я видел, как они убивали нацистских прислужников, причем те, кого я знал, заслуживали этой расправы.

Когда стемнело, ко мне подошел Готхард, который прятался неизвестно где, взял меня за руку и сказал: «Пошли со мной, давай уйдем из лагеря, здесь очень опасно». Много месяцев я повиновался ему, не стал перечить и на этот раз Готхард пояснил: «Я иду в город Сан-Георген, там у меня есть подружки, и ты пойдешь со мной». Я не ответил ни да, ни нет, просто пошел вслед за Готхардом, которому привык подчиняться, не задавая вопросов. Ведь мы остались в живых благодаря этому невысокому человеку, бывшему для меня богатырем и героем.

Увидев ружье в моих руках, Готхард, заколебавшись, предложил: «Может, бросишь оружие, у тебя не будет сил идти». Я ответил, что без ружья не тронусь с места.

СПАСИТЕЛЬ И СПАСЕННЫЙ ПРОЩАЮТСЯ НАВСЕГДА

Когда мы удалились от лагеря на приличное расстояние, Готхард начал задавать мне вопросы, которые никогда не поднимал. Где мои родители? Уверен ли я, что они погибли? Соглашусь ли остаться жить рядом с ним? На первые два вопроса я знал ответ. Труднее было ответить на третий вопрос. Я напомнил Готхарду, что у меня есть брат, с которым я никогда не расстанусь. И тут я набрался смелости и сказал своему попутчику, что как только сброшу плащ с треугольником, выдающим меня за поляка, то вернусь к своему народу.

По дороге я рассказывал Готхарду, какая судьба постигла лагерное начальство. Староста Фриц, ненавидевший славян, в особенности, поляков, пал от руки того самого русского, который во время бомбежки остался в лагере и воровал хлеб. Фриц приговорил его тогда к 50 ударам хлыстом. Русский прикончил Фрица выстрелом в голову, когда тот уже был тяжело ранен. Гуго, «капо», командовавшего рабочими каменоломни, я видел лежащим в луже крови. Он все еще дышал, но я не признался Готхарду, что помог Гуго отправиться на тот свет. Этот блондин Гуго был самым жестоким «капо» на каменоломнях.

Во время ночного похода я понял, что Готхард перестал быть моей защитой. Роли поменялись, и теперь я должен был служить ему щитом. После моего рассказа о встрече с американцами Готхард перешел в блок, где его никто не знал и сменил одежду. Если бы он остался в семнадцатом блоке, его наверняка прикончили бы заключенные.

Поразительно, как Готхард ориентировался в ночи. Мы добрались до австрийской деревни, состоявшей из маленьких домиков с дворами, полными деревьев. Готхард постучал в дверь одного из домов, и через мгновение две женщины лет сорока встретили Готхарда объятьями и поцелуями. Когда это он успел завести такие знакомства?

Неожиданно меня охватил глубокий стыд за мой вид. Передо мной стояли две пышущие здоровьем женщины, которые напоминали мне светловолосых грудастых полек из родного Яново. Моя одежда была грязной и драной, голова

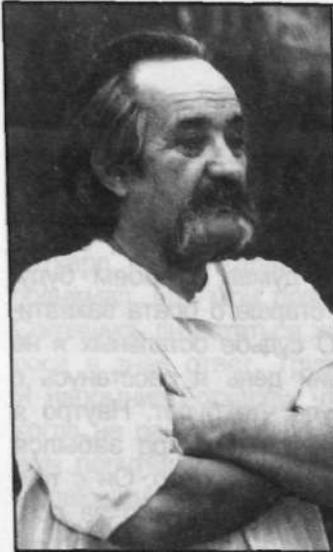
заросла волосами, которые несколько месяцев не стригли, да еще ото лба до затылка тянулась выбритая полоса шириной четыре сантиметра. Вдобавок ко всему я держал в руках заряженное ружье.

Готхард провел ночь в комнате своих подружек, откуда часто слышалось их хихикание. Я же думал о своем будущем. Маму убили в Биркенау, отца и старшего брата захватило гестапо вместе с двумя дядьями. О судьбе остальных я не знал ничего. Решил, что на следующий день я расстанусь с Готхардом, вернусь к брату, а там будь что будет. Наутро я осторожно постучал в спальню хозяек, где Готхард забылся сладким сном между двух женщин, обнимавших его. Он с трудом уяснил, что я хочу от него. Я поблагодарил его за все, что он сделал для нас с братом. Он попытался отговорить меня, уговаривал остаться, но решение уже было принято. Еще раз поблагодарив хозяек, я побрел обратно в лагерь Гузен, где меня ждали Дов и друзья.

Прощаясь, Готхард дал мне свой адрес и объяснил, как к нему добираться. Многие его напутствия на этот раз были излишними. Например, не бояться больше своего еврейства и забыть, что он превратил нас в поляков.

Еврейские мудрецы говорят: «Спасающий одну душу как будто спасает весь мир». Тем более спасший две души.

Я расстался с Готхардом в надежде увидеть его снова, но встретиться нам больше не довелось...



Борис НОСИК

РУССКИЕ И НЕРУССКИЕ ТАЙНЫ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА

СМЕРТЬ САВВЫ МОРОЗОВА

Когда садится за море солнце Ривьеры, стихает музыка и всплески голосов на улицах города Канны, то в благоухающих его садах, на старых виллах, на опустевших пляжах оживают воспоминания, тревожащие душу былые тайны... Одна из них неизменно приходит мне на мысль, когда прохожу я по Южной улице Канн, rue du Midi, мимо бывшего «Королевского отеля». Это здесь 13 мая 1905 покончил с собой или был убит знаменитый русский промышленник, меценат, реформатор промышленности и общественный деятель, друг Чехова, Шаляпина, Станиславского и, как ему казалось, также и Горького, Савва Тимофеевич Морозов. Скоро уже сто лет минет с того дня, а туман окружавший эпоху еще не рассеялся, хотя многое в той майской истории 1905 года стало нынче яснее, а в иные из считавшихся вполне авторитетными романтических гипотез, которые вдохновила эта смерть, верится еще слабее, чем раньше. Итак, Савва Тимофеевич Морозов...

Он был достойный продолжатель знаменитой династии, потомок знаменитого Саввы Васильевича Морозова, который оставив отцовский рыбачий промысел и испробовав много профессий, в конце концов основал в подмосковном Орехове-Зуеве ткацкое дело. Благодаря своему трудолюбию, таланту и честности он разбогател, выкупил из крепостной зависимости сыновей, пригласил «немца», который помог основать его Никольскую мануфактуру новейшими английскими машинами, и в 1862 году умер добрым старообрядцем (несмотря на греховное пристрастие к табаку) 92-х лет от роду.

Сын его Тимофей Саввич соединял старообрядческую религиозность с европейского типа коммерческим талантом и умер на своей крымской даче коленопреклоненным, во время молитвы в 1889 году. Вдова его Мария Федоровна была ревнительницей «старой веры» и щедрой меценаткой, пожертвовавшей многие сотни тысяч не только на высшее техническое училище в Москве (впоследствии МВТУ), на театр для рабочих и богадельню, но даже и на восстановление сгоревшей синагоги в одном из белорусских местечек.

Савва Тимофеевич, представитель третьего, просвещенного поколения Морозовых, учился в университете, закончил естественное отделение физико-математического факультета. Потом слушал лекции в английском Кембридже, изучал ткацкое дело в Манчестере, а вернувшись домой, в подмосковное Орехово-Зуево, стал директором Никольской мануфактуры вместо ушедшего на покой отца. Он был сторонником всяческих реформ в ведении хозяйства и в политике, а также, как водилось тогда у русских богачей, особенно у старообрядцев, щедрым меценатом. И надо сказать, жертвовал он не только бедным или на нужды высокого искусства, но и помогал всяким политическим партиям, расхатывавшим основы режима. Надо учесть, что старообрядцы даже и в начале XX века еще были в России преследуемым меньшинством.

Мой парижский знакомый профессор Леон Поляков посвятил одну из своих последних книг сходству, которое он усмотрел в судьбе старообрядцев и евреев: та же деловая активность, та же умение вести дела, те же склонность к филантропии и враждебность к властям, та же «нетерпение сердца» и участие в революционном движении. Нечего и говорить, что

за это последнее и те и другие были позднее жестоко наказаны: за что боролись, на то и напоролись!..

Так или иначе, Савва Тимофеевич жертвовал на социал-демократов, в частности, на ленинских «большевиков». Легко предположить, что при этом Савва не вникал ни в истинные намерения Ильича, ни в заметные при близком рассмотрении жутковатые черты характера будущего диктатора. Ему было не до того, к тому же при нем была женщина «от Ильича». Как это ни печально, но и в данном случае совет недоверчивых французов мог бы сгодиться: «Ищи женщину! Шерше ля фам!»

В последние годы своей жизни артистичный Савва Морозов пережил сильное увлечение МХАТом. Он и раньше увлекался театром, и в том, что его с такой силой захватили идеи купеческого сына Кости Алексеева (он же К.С.Станиславский) о новом, высокохудожественном и вдобавок «общедоступном» театре, — в этом не было ничего странного. Савва стал щедро вкладывать деньги в новый театр, по существу, он был одним из создателей театра: недаром же и сквозь самые страшные годы беспартийный бюст Саввы уцелел под крышей МХАТа. Купеческий сын Костя Алексеев так вспоминал об С.Т.Морозове:

«Этому замечательному человеку суждено было сыграть в нашем театре важную и прекрасную роль мецената, умеющего не только приносить материальные жертвы, но и служить искусству со всей преданностью, без самолюбия, без ложной амбиции и личной выгоды... Морозов финансировал театр и взял на себя всю хозяйственную часть, он вникал во все подробности дела и отдавал ему все свободное время... Савва Тимофеевич был трогателен своей бесконечной преданностью искусству...»

О том же морозовском увлечении театром писал и Немирович-Данченко:

«Увлекаясь, отдавал свою сильную волю в распоряжение того, кем он был увлечен...»

Под крышей любимого театра и нашлась для него роковая женщина — Мария Федоровна Андреева, жена сенатора Желябужского. Впрочем, что значит жена, когда речь идет о такой красавице-актрисе. Уже в 1908 году она ездила в США в каче-

стве гражданской жены Горького (что привело в смятение высоко нравственных американцев), а до того была в какой-то степени и супругой Саввы Морозова, что наверняка подпортило ему отношения с его законной супругой Зинаидой Григорьевной и всем кланом Морозовых.

По словам Мейерхольда (знавшего толк в женской красоте), у М.Ф.Андреевой была воистину ангельская внешность. Мейерхольд, увидевший Андрееву на репетиции, написал стихок, в котором противопоставляет «нежную белизну» одежд Андреевой безвкусным одеждам всех присутствующих дам, а ее глаза, в которых светится «лазурь морской волны», — глазам всех прочих дам, которые «горят греховным блеском». И если уж Андреевой удалось ввести в заблуждение лицедея Мейерхольда, то чего ж ожидать от влюбленного Саввы Морозова: ему эта женщина представлялась наивной, честной, святой бессребреницей, которая умрет в бедности, все раздав другим. Однако расчетливые и прагматичные письма М.Ф.Андреевой говорят о чем угодно, только не о наивности. Была она агентом Ленина, который изумляясь ее подвигам, называл ее «товарищ феномен». Иные вполне партийные авторы именуют ее «финансовым агентом Ленина» и «эмиссаром партии». Слово «финансовый» нисколько не принижало подпольный статус агента, ибо добыванию денег для целей партии и его личных целей Ленин придавал особое значение.

На путях добывания денег Ленин не признавал никаких моральных препятствий, открыто одобряя убийства и бандитизм («экссы»), изготовление фальшивых денег и брачные комбинации, которые, по его собственному признанию, попадавали сутенерством.

Если тайную связь Ленина с простыми бандитами (вроде Камо, которого сам Ленин называл «кавказским бандитом») осуществлял «замечательный грузин» Сталин, то более тонкими операциями по «экспроприации» чужих денег ведал хитрейший Леонид Борисович (или Лев Борисович) Красин (подпольная кличка Никитич), по официальному представлению «ответственный техник, финансист и перевозчик».

Красавица Андреева, скорей всего, и действовала под непосредственным руководством Красина, разработавшего опе-

рацию по «экспроприации» морозовских денег. По словам самой Андреевой она стала сблизиться с Морозовым в 1899 году («мы с ним вскоре очень подружились, он часто бывал у меня и через меня познакомился с моими друзьями марксистами»), после чего начали поступать пожертвования Морозова на дело «революции», которые с 1904 года становятся регулярными.

В 1903 Морозов передавал деньги партии через Андрееву и Горького, который «был озабочен тем, чтобы как-нибудь поближе и покрепче связать Савву с... партией» (свидетельство «техника» Красина).

По просьбе Андреевой, переданной Морозовым правлению фабрики, Л.Б.Красин был приглашен на должность заведующего электростанцией Никольской мануфактуры. Этот пост помогал «технику-финансисту» (вкуче с нелегалом Бабушкиным) развернуть революционную работу на фабрике, осуществляя попутно контроль и над самим Саввой. Так что, в конце 1904 года, к неприятному удивлению Саввы, именно на Никольской мануфактуре, где положение рабочих было не хуже, а лучше, чем на других фабриках, вспыхивают «стихийные» и очень агрессивные забастовки. Вначале стачка носила мирный характер, и Морозов уже почти договорился со старостами, но потом рабочие напали на воинскую команду, которая шла охранять нефтяные баки. Рабочие были вооружены револьверами.

В середине февраля Красин вдруг явился на квартиру Морозова и потребовал, чтоб его отправили в командировку, потому что шли аресты среди членов ЦК. Чего еще требовал Красин от Морозова, который стал понимать, «что творят эти анархисты, куда они ведут несчастных людей»? Супруге Саввы Зинаиде Григорьевне запомнился этот внеурочный визит Красина: «Саввушка холодно принял Льва Борисовича. Разговор у них не получался...»

Красин писал в связи со своим визитом о трусости Саввы (хотя желаемую командировку Красин получил). Иные объясняют эти отзывы переменной настроенности Морозова: он понял тактику большевиков и больше не хотел давать деньги. Такие перемены, резкие переходы от беззаветной влюбленности к трезвому рассуждению отмечали все, кто знал Савву.

В феврале 1905 года Савве пришлось внести 10 000 за освобождение из-под стражи арестованного Горького и 10 000 за арестованного Андреева (впоследствии Горький отказался вернуть вдове Морозова эти деньги). Крупные суммы Андреевой удавалось вымогать и раньше, в чем упрекал ее Станиславский в одном письме 1902 года:

«Отношение Саввы Тимофеевича к Вам исключительное. Но знаете ли Вы, до какого святотатства Вы доходите?.. Вы хвастаетесь публично перед посторонними тем, что мучительно ревнующая Вас Зинаида Григорьевна ищет Вашего влияния над мужем. Вы ради актерского тщеславия рассказываете направо и налево о том, что Савва Тимофеевич, по вашему настоянию, вносит целый капитал... ради спасения кого-то».

Вполне возможно, что неприятный разговор Морозова с Красиным и послужил причиной того, что в начале 1905 года в Москве начинают распространяться слухи о сумасшествии Морозова. В поисках источника этих слухов, исследователи несколько раз приходили к выводу, что распространяла их Андреева. Между тем, нетрудно убедиться по документам, что «безумец» Савва именно в это время, несмотря на все разочарования, развивает активную профессиональную и общественную деятельность. Он готовит «Программную записку» по рабочему вопросу для Комитета министров, где предлагает, не ущемляя интересов рабочих, способствовать развитию производства и отстаивать интересы предпринимателей. Морозов был сторонником тред-юнионизма западного, английского стиля (подобно многим дельцам и политикам в тогдашней России, он был типичный англоман). Живой и деятельный, он появляется в это время с супругой в гостях, в большом собрании, у него самого бывают на Спиридоновке гости (в их числе Шалапин).

В середине марта на собрании пайщиков Никольской мануфактуры Савва избран «заступающим место директора-распорядителя».

В апреле Горький вдруг приехал к Савве домой на Спиридоновку. Может, Л.Б.Красин решил, что влиятельному Горькому удастся мирным путем выбить из капиталиста большие деньги. По свидетельству домашних, «между Саввой Тимо-

феевичем и Алексеем Максимовичем состоялся пристрастный разговор, закончившийся ссорой». Это свидетельство подтверждается секретным донесением московского градоначальника графа Шувалова: «Незадолго до выезда из Москвы Морозов рассорился с Горьким».

В это время Морозов уже лечится от расстройства нервов. Неуравновешенность и «странности» были типичны для третьего поколения Морозовых. Внучатый племянник С.Т.Морозова Кирилл Кривошеин так писал об этом (в книге о своем знаменитом отце-министре):

«Третье поколение Морозовых вполне восприняло европейскую культуру, но у него уже начали проявляться, при железном здоровье, некоторая надломленность духа, часто даже странности («морозовские странности»), депрессии, неврастения, мучительные колебания при принятии самого простого решения, как, например, пойти или не пойти гулять, воображаемые недуги — все это при больших интеллектуальных способностях, врожденном барстве, утонченной воспитанности, хоть слегка смягчавшей мучительную для окружения тяжесть их характеров».

Однако судя по последним его свиданиям с Красиным и Горьким, Савва Тимофеевич одолел «мучительные колебания». Он решительно идет в это время на поправку, и врачи предлагают ему укрепить здоровье тогдашней панацеей — поездкой за границу. Заодно удастся избавиться от нежеланных вымогателей-визитеров, знающих дорогу на Спиридоновку.

Перец самым отъездом супруги побывали на большом собрании в особняке князя П.Д.Долгорукова. Потом поезд дотащил их через Берлин и Париж в курортный Виши. Здоровье Саввы Тимофеевича поправилось, но надежда избавиться от усиленного внимания большевистских шпионов, которых Зинаида Григорьевна называла «шушеры», не оправдалась: они слонялись под окнами гостиниц и в Берлине, и в Париже, и в Виши. В Виши вскоре нагрянул и сам «режиссер» — Красин. Позднее он со светской небрежностью описывал свой очень точно рассчитанный самовольный визит («шел мимо — зашел на огонек», именно так четверть века спустя «заходил на огонек» писательских дач в Переделкине помощник Ягоды Агранов):

«Я заехал к С.Т. в Виши, возвращаясь с лондонского съезда в 1905 г., застал его в очень подавленном состоянии в момент отъезда на Ривьеру».

Шпионы не зря шатались под окнами. Красин знал о предстоящем отъезде Морозова на Ривьеру и поспешил в Виши. Но желанного результата не добился. О связи «подавленно-го состояния» своей жертвы со своим недружественным визитом Красин как бы даже и не догадывается. В Каннах Морозову стало сразу лучше. Майские Канны, море, цветы, южные звезды...

Впрочем, и здесь «шушеры» вскоре обнаружили под окнами, а по их следам через неделю в каннском «Руайаль-отеле» объявился незванным и сам Красин.

Существуют два разных сообщения об этом визите. Согласно одному из них, «Савва отказал Льву Борисовичу в аудиенции». Согласно же рассказу родных Саввы (записанному в 1990 году на магнитофон историком Ю.Фельштинским), Морозов потребовал, «чтобы его ввели в курс дел».

Расходятся и версии убийства (или самоубийства). Их несколько. Красин утверждает в своих мемуарах, что он посетил Морозова только один раз. Но тут же, противореча себе, сообщает, что последний «взнос на партию» он получил с Морозова за два дня до его гибели. Значит, он все-таки был и в Каннах? Стало быть, не один раз Красин виделся с Морозовым — примчался к нему в Канны, отыскал его...

По версии, изложенной в очень советской книжке внука С.Т.Морозова, Зинаиды Григорьевны не было в отеле в минуту гибели Саввы. Вернувшись, она увидела мужа лежащим на полу. Рядом лежал браунинг. Что стало потом с браунингом? Что выяснила французская полиция? Скорей всего, французская полиция, согласно живой и ныне традиции, старалась держаться подальше от чужих тайн. Ее делом было отправить труп на родину, упаковав в три гроба.

Внучатая племянница Саввы Морозова в интервью Фельштинскому ссылается, впрочем, на свидетельства и полиции, и своего кузена Геннадия Карпова, ездившего в Канны: «...Геня, мой двоюродный брат, сказал: «Да нет, его убили совсем не дома. Его просто положили и все. Была полная инсценировка проведена». Полиция, которая была вызвана,

сказала, что пуля, которую извлекли, не соответствовала револьверу, который валялся».

Версия близкой подруги вдовы Морозова Зинаиды Григорьевны, записанная много десятилетий спустя американским историком, выглядит совершенно иначе:

«Я хорошо помню Зинаиду Григорьевну. Это была красивая представительная женщина. Не раз присутствовала при разговорах с моей матерью и тетей. Однажды она рассказала о трагических событиях, которые произошли в Канне в мае 1905 года. Она была единственным свидетелем гибели своего мужа. Зинаида Григорьевна утверждала, что Савву Тимофеевича застрелили. Будучи рядом с комнатой, где находился Савва Тимофеевич, услышала выстрел. От испуга на какое-то мгновение остолбенела, а затем, придя в себя, вбежала к нему. Через распахнутое окно увидела убегающего мужчину».

Согласно этому рассказу, на крик «в комнату вошел и доктор Н.Н. Селивановский. Он заметил, что С.Т. Морозов лежит на спине с закрытыми глазами, и спросил у Зинаиды Григорьевны: «Это вы закрыли ему глаза?» Она отрицательно покачала головой».

Среди документов, отправленных тогда французской полицией в Россию, был кусочек картона с надписью «В моей смерти прошу никого не винить». «Эксперт, недавно сличившая записку с письмами С.Т. Морозова, пришла к выводу о «совпадении почерков», но отметила, что в записке «упрощенный вариант почерка». Полагаю, что таким специалистом, как Красин, при наличии целой коллекции морозовских писем и Горькому, и Андреевой воспроизвести «в упрощенном варианте» почерк «кандидата в покойники» было не слишком трудно. При условии, конечно, что Морозов не станет писать длинных «предсмертных писем» ни жене, ни возлюбленной, ни Горькому...

Официальной полицейской (и большевистской) версией гибели С.Т. Морозова было самоубийство, но легко догадаться, что и русской, и французской полиции такая версия была просто наиболее удобна. Удобной эта версия оказалась также для бывшего премьер-министра С.Ю. Витте и товарища министра внутренних дел В.Ф. Джунковского, приводивших ее в своих мемуарах, которые были написаны уже после октябрьского переворота. «Он попался в Москве, чтобы не делать скандала, полицейская власть предложила ему выехать за

границу. Там он окончательно попал в сети революционеров и кончил самоубийством», — за этой версией Витте, соблюдавшего свой интерес, многое может стоять. Версия «Записок» Джунковского еще проще: «С.Т. Морозов дошел до того, что дал крупную сумму революционерам, а когда окончательно попал им в лапы, то кончил самоубийством». Обе версии не внушают полного доверия. Похоже, что дело-то было именно в том, что Савва не согласен был дать «крупную сумму», на которую рассчитывали Ленин и Красин: события последних месяцев подорвали его доверие и к большевикам, и к их «финансистам». Морозов поссорился и с Горьким, и с Красиным. Усложнились, видимо, и отношения с «бессребренницей» Андреевой.

В секретном донесении Департаменту полиции после похорон Морозова граф П.А. Шувалов сообщал:

«...по полученным мною из вполне достоверного источника сведениям покойный Савва Морозов еще до смерти своей находился в близких отношениях с Максимом Горьким, который эксплуатировал средства Морозова для революционных целей: незадолго до выезда из Москвы Морозов рассорился с Горьким, и по приезде Морозова в Канн к нему, по поручению Горького, приезжал один из московских революционеров, а также революционеры из Женевы, шантажировавшие покойного, который к тому же в это время уже был психически расстроен. Под влиянием таких условий и угроз Морозов застрелился. Меры по выяснению лица, выезжавшего из Москвы в Канн для посещения Морозова, приняты».

Чем-то Савве должны были угрожать большевики, не только же браунингом и дальнейшим воздействием на его расстроенные нервы. Чем еще угрожали, прояснится очень скоро, но тогда полиции будет уже не до Морозовых. Так что нам с вами придется строить догадки самим, без помощи графа Шувалова.

Мы, впрочем, будем на этой стезе уже не первые, вспомним лишь советы инспектора Мегре: поищем, кому могло быть выгодно убийство Морозова. И без труда обнаружим, что тому же Красину (в сговоре с которым был гуманист Горький). Раз Морозов не соглашается отколоть крупный куш на ленинские дела и парижскую жизнь вождя «по-хорошему», придется пустить в ход «страховой полис». Оказывается, что у Андреевой

был страховой полис «на предьявителя» — жизнь Саввы была застрахована на 100 000 (вот он где — куш). Савве оставалось только умереть.

Как попал этот документ в руки «бессребренницы» Андреевой и не был ли он подделан или украден, зачем подписал себе Савва смертный приговор и сам ли подписал — это сказать трудно. Известно, что любовь зла (ничто более возвышенное просто не приходит мне в голову в связи с этой грязной историей). Но известно также, что большевики причастны были даже к изготовлению фальшивых денег (что там какие-то полисы?), что Красин был профессионал мокрых дел и не клал на руку охулки.

По завещанию (нотариусом не заверенному) наследницей Саввы Морозова становилась после его смерти его вдова Зинаида Григорьевна и его четверо детей, так что красинская операция по экспроприации денег убитого еще не была на этом закончена. «Бессребренница» — актриса (жившая тогда с Горьким, а может, и не только с ним) судилась со вдовой покойного и его четырьмя сиротами. Но в судебных тяжбах и хитростях вдове было большевиков и Красина не переиграть. Вдова проиграла, и деньги через Красина ушли к Ленину, который считал, что ему лечиться надо только у самых дорогих врачей, жить непременно в престижном парижском районе, а также, по несколько раз в год ездить на курорты, желательное — в Швейцарию.

Вероятно, на процессе семья Морозова приводила какие-то веские доказательства своей правоты. Приводились, наверное, и доказательства того, что Морозов был убит. В этом была убеждена вся его семья. К.Кривошеин пишет в упомянутой выше книге с осторожностью, что С.Т.Морозов «умер при загадочных обстоятельствах насильственной смертью в 1905 г. на французской Ривьере...»

Конечно, обращение к материалам московской судебной тяжбы о наследстве могло бы укрепить ту или иную версию загадочной смерти в Каннах, но большевики позаботились о том, чтобы все эти материалы из архива изъять (для этого им даже не пришлось принимать постановление, как при изъятии документов о «немецких деньгах» Ленина).

Может, «финагент» Горький не знал об изъятии документов, потому что сидя в Италии (Андрееву при нем уже сменила тогда агент ГПУ М.Будберг — любил «буревестник» дам с червоточинной; последнее даже как-то вдохновляло его), — он вдруг разразился очерком о Савве Морозове, где что ни слово, то ложь.

Впрочем, живший в то время (1922 г.) при Горьком В.Ходасевич объяснял позднее публике, что вся «жизненная деятельность» пролетарского писателя была «проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде».

Очерк Горького о Савве Морозове, как и знаменитый его очерк о Ленине, где Горький словно забыл все, что он так толково и подробно писал о вожде перед своим отъездом за границу, не могут служить для опровержения этого главного наблюдения Ходасевича. Странно только, что Ходасевич не заметил еще и другого странного пристрастия Горького и всего его семейства — к большевистской тайной полиции и всякого рода «агентам». Позднее, когда Горький стал выступать против невинных российских жертв этой полиции в одном строю с ее палачами, любимые его «агенты» наводнили его барский подмосковный дом (отнятый у вдовы С.Т.Морозова), пили на брудершафт с его чекистом-сыном, пробрались в постель к его снохе и в конце концов, убив сына, удушили и самого буревестника...

Вернемся, впрочем, к нашему любительскому расследованию. Поскольку у нас нет возможности сверять почерка записок и писем, обратимся к «почерку» самого убийства в Каннах как первого звена в операции Л.Б.Красина по изъятию морозовских миллионов. «Почерк» этот не меняется и легко прослеживается в реализации Красиным второго звена операции.

Напомним, что М.Ф.Андреевой было до слез обидно услышать о подозрениях в ее адрес. (Кстати, не ей одной. Выкупленный С.Т.Морозовым из тюрьмы, ее сын Л.Андреев писал в письме Горькому по поводу газетного фельетона, развивавшего официальную версию самоубийства: «Мне особенно больно за Марию Федоровну»). Обидно было, что газеты писали об «украденных ею миллионах». А ведь укра-

дено было лишь немногим более ста тысяч. Для Л.Б.Красина вопрос о размерах суммы был вопросом профессионализма и вопросом чести. К тому же Ильич всегда старался, чтоб у него было много денег про запас. Так что вскоре после гибели С.Т.Морозова большевики берутся за его племянника, молодого Н.Шмидта. Он тоже давал деньги большевикам (как, впрочем, давал и другим партиям). После событий 1905 года Н.Шмидт оказался в тюрьме. Возможно, в тюрьме он стал жалеть о своих опасных связях и раскаялся. Дальше все пошло по знакомому сценарию. Шмидт кончил свои молодые годы в тюремной камере «при загадочных обстоятельствах насильственной смертью». Большевики объявили о «самоубийстве». Брату Шмидта и его адвокату бандит Таратута (в присутствии Ленина) заявил: «Кто будет задерживать деньги, того мы устраним». Поняв, что оба большевика не шутят, брат сообщил через адвоката, что он отказывается от своей доли в пользу сестер (что он не «задерживает»).

Итак, наследницами Шмидта стали две его юные сестрички. Были срочно выписаны два половых террориста — большевика, которые охмурили девчушек и получили от них согласие на брак. Здесь тоже были творческие трудности: одна из сестричек оказалась несовершеннолетней, один из женихов — поднадзорным и беспаспортным. Пришлось прибегать к помощи третьего, подставного жениха-большевика (тоже красинского агента из Боевой группы), и к фиктивному браку. Дальше были тяжбы с меньшевиками, опять же из-за денег, разбирательство с участием Клары Цеткин — все как положено. Но и это был еще не конец. Одному из большевиков-молодоженов, выехавшему с супругой в Париж (тов. Андриканису), пришла мысль, что, может, стоило бы законной наследнице, его жене, оставить хоть часть ее денег на прожиток, не все же одному Ленину отдавать. Услышав об этом робком желании, второй жених (тов. Таратута) сказал первому (тов. Андриканису), что он его убьет как собаку, а заодно и обеих бесполезных сестер. Тов. Андриканис пожаловался на «шантаж и угрозы» в ленинский ЦК, где ему объяснили, что тов. Таратута действовал в полной гармонии с решениями самого Ильича и с его согласия: действительно убьет как собаку, имеет все полномочия. «Большие деньги» семьи Шмидта легли тогда на личный счет Ильича в банке «Лионский кредит» неподалеку от ленинской квартиры на Мари-Роз. Думаю, вы отметили, что индивидуальный почерк Л.Б.Красина не менялся от одного звена «морозовского экса» к другому?

Плодовитый эмигрантский романист М.Алданов написал позднее роман о самоубийстве С.Морозова. Эмигранту М.Алданову уже было отчасти известно, что большевики — бандиты. «Но все же не до такой же степени... — маялся идеалист-масон Алданов. — И не сам же Ленин... Не сам Горький же...» Бедняга-романист изложил официальную версию о впечатлительном Савве, подкрепив ее суицидальным сюжетом из Байрона, который якобы произвел неизгладимое впечатление на Морозова. Подробностей про всю морозовскую операцию Л.Б.Красина, ставшего позднее почтенным советским послом, Алданов, вероятно, не слышал. А скорее, она не соответствовала его творческой задаче.

КРАСНЫЙ ШИК С ЧЕРНОЙ ИКРОЙ

Если гуляя по мысу Антиб, выйти на авеню Кеннеди и миновать Усадьбу Зеленых Дубов («Домэн де Шен Вер»), где жил когда-то Жюль Берн, и где вскоре по левую руку станет виден «Отель дю Кап», еще один маяк былых ривьерских соблазнов и еще один «памятник культуры» — Пикассо, Дягилев, Скотт Фицджеральд, чуть не вся американская литература «потерянного поколения», — еще один приют супер-богемы, скучающих богачей и лынущих к ним молодых гениев...

Вы опознаете интерьеры и задворки этого отеля в прославленных романах двух межвоенных десятилетий, так что с этого визита вполне можно начать путешествие по следам ривьерской «сладкой жизни», и вполне возможно, что здешний богемный угар был в художественном смысле даже продуктивнее, чем водка под блины на вилле у великой княгини Кшесинской-Красинской, хотя, конечно, и там прославленные гомосексуалисты минувшего века, не выходя за рамки светских приличий, «решали похода мелочь дел».

Список имен, которые всплывают из прошлого, чтобы придать вес нашему повествованию, так солиден, что начать в сущности, можно с любого из них, не смущаясь тем, что имена эти, даже весьма известные, вам еще не знакомы. Мы же начнем с имен супругов Мерфи — Джералда и Сары, — которые высадились на французском берегу в 1921 году. Джералд был молодой человек из богатой семьи, худо-бедно провел четыре

года в Иейле, в войну даже учился на летчика, чтоб покрыть себя славой, но вместо этого женился в 1915 году на одной из трех дочерей богатейшего промышленника из Цинциннати, на юной Саре, уже успевшей произвести фурор при дворе в Лондоне 1914 года.

Приехав во Францию, молодожены должны были заняться чем-нибудь полезным и прекрасным, и предприимчивый, способный, Джералд, увидевший здесь, вероятно, впервые, произведения Брака, Пикассо и Гриза, стал брать уроки живописи у знаменитой русской художницы Натальи Гончаровой. Видимо, с подачи Гончаровой Джералд принял участие в реставрации дягилевских декораций, пострадавших от пожара на складе в Бельвиле, познакомился с тамошними декораторами, которых звали Пикассо, Брак и Дерен, торчал день и ночь на репетициях «Свадебки», а после генеральной репетиции даже закатил грандиозный банкет на барже, пришвартованной близ моста Согласия на Сене, — для всей труппы, для всех музыкантов и вообще для «всего Парижа». Кто ж после этого мог не знать симпатягу Джералда Мерфи? Так или иначе, очень скоро Мерфи уже сам оформлял спектакль шведского балета в Париже и выставил в Салоне независимых свою «Бритву» (которую до небес вознес Леже). К спектаклям шведского балета Мерфи привлек композитора — американца Кола Портера, у которого он только что гостил в Ангобском замке, снятом напрокат.* Поскольку лето 1922 года выдалось на севере Франции дождливое, энтузиаст Ривьеры Кол Портер притащил супругов Мерфи в солнечный Антиб, и здесь они договорились с хозяином «Отеля дю Кап», спешившим уехать в Италию, что он оставит им открытой часть отеля, кухню, а вдобавок оставит повара, горничную и «еще кого-нибудь». Так зажегся еще один маяк культурной, и притом сладкой («дольче вита»), жизни на мысе Антиб. Вскоре здесь появилась Гертруда Стайн со своей возлюбленной и подругой Алис Токлас. Появился уже знаменитый Пабло Пикассо с сыном Пабло-Павликом и женой — дягилевской балериной Ольгой Хохловой. Потом возник славный Рудольфе Валентино со своей женой Наташей Рамбовой, у которой рядом, в Жуан-ле-Пене был великолепный

* По утверждению французской печати, замок этот и поместье были куплены недавно Б.А.Березовским для семьи N.

замок. (Пусть вас не смущает псевдо-русская фамилия Наташи: она была не Наташа и не Рамбова, а приемная дочь американского миллиардера Уинифред Хаднат, но как многие американки, не могла противостоять чарам своей подруги, русской балерины Аллы Назимовой и сменила имя). Потом зачастили в этот уголок люди Дягилева и сам Дягилев, Фернан Леже и прочие художники, а также новая американская литературная звезда Скотт Фицджеральд со своей столь знаменитой женой Зелдой (вот августовская запись 1924 года в дневнике С.Фицджеральда):

«Четвертая поездка в Монте-Карло». Часто в Антибе: «хорошо работал над романом. Я и Зелда близки друг к другу».

Зачастили новые звезды, взошедшие на американском небосклоне, но при этом предпочитавшие парижские и ривьерские небеса — и Дос Пассос, и Хемингуэй, и прочие, помельче, может, и гремевшие в те времена, а ныне начисто забытые, все они делали остановку на мысе Антиб, дневали здесь, ночевали (с кем доведется), ели, пили, закусывали икоркой — особенно много пили: виски лилось рекой. Последнее не вызывает зависти, ибо изучение их судеб с неизбежностью наводит на мысль о вредности злоупотребления алкоголем. Мятущаяся и «непредсказуемая» Зелда пила сама, (даже и за рулем), спаивала мужа, а в том самом, упомянутом выше мужнином дневнике в августе, когда они снова, казалось, шли на сближение, она вдруг наглоталась снотворного в том же великолепном «Отеле дю Кап». Ночью к Мерфи постучал Скотт Фицджеральд и сообщил, что с Зелдой, кажется, что-то случилось... Весь остаток ночи они водили ее под руки по коридору, не давая ей уснуть навсегда. Впрочем, ей еще рано было уходить на покой. Пока по совету Наташи Рамбовой ей еще предстояло учиться балету, пришлось ей выпить не одну канистру спиртного, чудом уцелеть пьяной за рулем на ривьерских карнизах, изводить мужа и самой пройти через чистилище психбольниц... А новый роман Фицджеральда Скотта («Ночь нежна»), который Зелда (по версии Хемингуэя) так ревниво мешала писать мужу («Зелда ревновала Скотта к его работе, и по мере того, как мы узнавали их ближе, все вставало на свои места»), так вот, роман этот вбирал помаленьку

антибский богемный быт, характеры и лица обитателей «Отеля дю Кап». Мерфи уже отделяли себе виллу близ маяка Гаруп, но пока их вилла совершенствовалась, они снова (в 1924 года) жили в полюбившемся им отеле, к которому и привело нас с вами туристское любопытство и русско-советская наша тяга к «культурной жизни Запада».

В дни своего проживания в Ницце мой прелестный постоянный гид Раиса (родившаяся в Одессе, по образованию — математик) отвезла меня в «Отель де Кап». Боже, какой парк, какой пляж и ресторан! А вон и скалы, с которых прыгали Скотт с Зельдой, испытывая судьбу. Да что там мои восторги, если под рукой у меня описание отеля, оставленное самим классиком Фитцджеральдом в его прославленном романе «Ночь нежна»:

«Пальмы услужливо притеняют его пышущий жаром фасад, перед которым лежит полоска ослепительно яркого пляжа. За последние годы многие светские и иные знаменитости облюбовали это место в качестве летнего курорта... но к началу нашего рассказа лишь с десятка стареньких вилл вянущими кувшинками белели в кущах сосен... Вдоль горизонта ползло на запад торговое судно; во дворе отеля перекликались судомойки; на деревьях подсыхала роса.»

В романе «Ночь нежна» немало черт тогдашней Ривьеры. Скажем, упоминание о еще не выветрившемся старом и новом «русском духе». Героиня романа берет такси в Каннах, и шофер ей попадает, конечно же, русский (с легким, впрочем, голливудским привкусом):

«Шофер, настоящий русский боярин времен Ивана Грозного, добровольно взял на себя обязанности гида, и такие названия, как Ницца, Канн, Монте-Карло засияли во всем блесне сквозь тусклый камуфляж обыденности, повествуя о государях, приезжавших сюда пировать или умирать, о раджах, швырявших английским танцовщицам глаза Будды, о русских князьях, превращавших свои дни и ночи в сплошные балтийские сумерки воспоминаниями о былом икорном раздолье. Русский дух был особенно силен на побережье — всюду попадались русские книжные магазины, русские бакалейные лавки, сейчас, правда заколоченные. В те годы с окончанием сезона на Ривьере закрывались православные церкви, и запасы сладкого шампанского, любимого напитка русских, убирались в погреба до их возвращения. «В будущем сезоне вернемся», —

говорили они, уезжая, но то были праздные обещания: они не возвращались никогда».

Сильно пьющий Хемингуэй снисходительно сообщает в своей знаменитой, предсмертной книге о Париже (я бы перевел ее название как «Портативная фиеста», но французские переводчики и издатели дали ей туповатое название, годное лишь для туристической афиши: «Париж - это праздник». Так вот, Хемингуэй сообщает, что Фицджеральд сильно переменялся на мысе Антиб: «Теперь он был пьян не только по вечерам, но и днем».

В этой безжалостной, завистливой и двусмысленной книге Хемингуэя поставлены все точки над *i* в характеристике четы Фицджеральдов:

«Зелда (по возвращении из Антиба - *Б.Н.*) была очень красива — золотистый загар, темно-золотистые волосы — и очень приветлива. Ее ястребиные глаза были ясны и спокойны. Я подумал, что в конце концов все обойдется, но тут она наклонилась ко мне и открыла свою великую тайну: «Эрнест, вам не кажется, что Христу далеко до Эла Джолсона?» Никто в то время не обратил на это внимания. Это был просто секрет Зелды, которым она поделилась со мной, как ястреб может поделиться чем-то с человеком. Но ястребы не делятся добычей. Скотт не написал ничего хорошего, пока не понял, что Зелда помешалась».

Впрочем, еще до того, как «Зелда помешалась», супруги Фицджеральды очень близко сошлись с супругами Мерфи. Джералд произвел огромное впечатление на Скотта и занял видное место в новом его романе, как, впрочем, и в новом романе Хемингуэя, в его первой «Фиесте» — «И встанет день».

«Мы вступаем в контакт все четверо, — писал Джералд Мерфи в письме другу Скотту, — уже одним фактом нашего присутствия: время и место не играют при этом никакой роли. Незримые токи циркулируют между нами даже без нашего ведома: в Саре мне могут раскрыться свойства Скотта в той же степени, в какой Сара открывает их в Зелде благодаря ее любви к Скотту».

Итак, на первое место среди своих друзей Мерфи ставит Скота... Что же до отношений Мерфи с Хемингуэем, то здесь все еще сложнее.

В последней книге Хемингуэя ощутимы его подозрения в отношении всех окружающих. Хемингуэй пишет о каких-то «богатых», которые извлекают прибыль из его тогдашней славы. Бесконечные намеки на «богатых» выглядят как элементарное чувство социального протеста (что и помогло выпустить «Портативную фиесту» в Москве с опозданием всего на четыре года — под оптимистическим названием «Праздник, который всегда с тобой»). Но книга эта — даже если признать, что она несправедливая, злая, что человек, писавший ее, уже болен, что он живет на фиделевской Кубе и готов пустить себе пулю в рот — книга эта не так проста. То, что в книге этой тоска по молодости и отмирающим желанием, понять несложно. Мало-помалу понятным становится и то, что навязчивые описания «голода» — это всего-навсего ностальгический рассказ о былой силе желаний, это жалоба стареющего импотента.

Что же касается рассказов о тогдашней «бедности», тут Хемингуэй сам предупреждает, что он не был тогда по-настоящему беден, просто ему хотелось большего. По сравнению с любым русским писателем, художником или актером — в эмиграции или в тогдашней России — молодой Хемингуэй был богачом. Откуда же неоднократные эти реплики о «богачах»? И кто эти богачи — Гертруда Стайн, собрат по гонорарам Фитцджеральд, папа Гертруды, имевший долю со знаменитого санфранцисского трамвая, папа Джералда Мерфи или папа Сары, богач Уилбор? Конечно, все эти люди богаты. Но и они были тоже либералами. Они были радикалы. Они были за простой народ и против «богачей».

Просто, как и сам здоровяк Хэм, они любили много пить и хорошо питаться, и покупать картины, и путешествовать, и красиво одеваться, и играть на скачках... И при этом ругать «богатых». Левые идеи давали им надежды разорить самых богатых и поделить их денежки, это понятно. Зависть «пасынков Божьих» (по терминологии Бердяева) дает им приятное ощущение бунтарства и левизны. И все же он не слишком понятен — неиссякаемый левый запал Хемингуэя. Может, здесь опять, как в случае с его «голодом», какие-нибудь инскоказания и метафоры. Взглянем на текст из финала второй, предсмертной «фиесты», написанной богачом Хемингуэем на

Кубе, под боком (а может, и под всевидящим взглядом) у его друга-диктатора:

«У богачей всегда есть своя рыба-лоцман, которая разведывает им путь, — иногда она плохо слышит, иногда плохо видит, но всегда вынюхивает податливых и чересчур вежливых. Рыба-лоцман говорит так: «...Черт возьми, Хем, они мне, правда, нравятся. Я понимаю, на что вы намекаете, но мне они правда нравятся, в них есть что-то неотразимое... Ну, Хем, не капризничайте и не упрямитесь...»

...А потом появляются богачи, и все безвозвратно меняется. Рыба-лоцман, конечно, исчезает. Этот человек всегда куда-то едет или откуда-то возвращается и нигде не задерживается надолго. Он появляется и исчезает в политике или в театре точно так же, как он появляется и исчезает в разных странах и в жизни человека, пока он молод.

Его невозможно поймать, и богачи его не ловят. Его никто не ловит, а пойманными оказываются только те, кто доверится ему, и они гибнут...

...Те, чье счастье и успешная работа привлекает людей, обычно неопытны и наивны. Они не умеют противостоять напору и не умеют вовремя уйти. У них не всегда есть защита от добрых, милых, обаятельных, благородных, чутких богачей, которые так скоро завоевывают любовь, лишены недостатков, каждый день превращают в фиесту, а насытившись, уходят дальше, оставляя позади мертвую пустыню, какой не оставляли копыта коней Аттилы.

Богачи явились, приведенные рыбой-лоцманом. Еще год назад они бы не приехали. Тогда не было уверенности... роман еще не был написан, и потому у них не было уверенности. Они расходовали свое время и свое обаяние только наверняка А как же иначе? Пикассо был верной картой — и еще до того, как они вообще услышали, что существует живопись. Они были уверены и в другом художнике. И еще во многих других.

...Рыба-лоцман дала им знать, что путь открыт... Ведь рыба-лоцман была тогда нашим другом... То, что каждый день нужно превращать в фиесту, показалось мне чудесным открытием...

...Но до того, как приехали эти богачи, к нам уже проникли другие богачи, которые прибегли к способу, старому, как мир. Он заключается в том, что молодая незамужняя женщина временно становится лучшей подругой молодой замужней женщины, приезжает погостить к мужу и жене, а потом незаметно, невинно и неумолимо...»

В общем, ясно, что некая коварная молодуха отбивает мужа, потому что он наивен, он писатель и вдобавок не дурак

выпить. Так что, семейной жизни и первому этапу парижской фиесты приходит конец, но только причем тут «богачи» и причем «рыба-лоцман»?

В Испании, где у Хемингуэя была уже другая жена, Полина, у него появилась возлюбленная, имевшая полезные связи в Белом Доме. Не появились ли здесь опять «богачи» и «поцманы»? Как знать?

Но может, все это лишь история первого развода, слегка параноическая и плохо изложенная, а к богачам богатый Хем и правда имеет претензии. Тогда Бог с ними. Если это какой-то собрат-писатель, конкурент и завистник, стоило ли сводить счеты и городить огород? Меня больше интересуют здесь другие рыбы-лоцманы, без которых не обходились богемные сборища на Антибе, в Жуан-Ле-Пене, в Каннах, Ницце, Сен-Поль-де-Вансе, в Каннах...

Один из американских авторов (Ст. Кох), взглядевшись в групповые фотографии, снятые в антибских, жуанлепенских, каннских и парижских интерьерах и пляжах с участием Хемингуэя, Фитцджеральда, Мерфи и прочих, распознал по меньшей мере четырех «лоцманов», работавших на главных акул, в свою очередь подчиненных весьма крупным китам.

Люди эти не просто втерлись на миг в компанию, увидев объектив фотографа: они давно стали частью антибской богемной тусовки, они были близкие друзья и собутыльники (а может, и собеседники) наивных гениев, которые были «неопытны и наивны», как объясняет с высоты старческого опыта наш кубинский затворник.

Начнем с очень заметной пары Джона Германа и Джозефины Хербст. Джон был собутыльником Хемингуэя во Франции, потом в США. Джон был романист-неудачник, «попутчик» коммунистов, алкоголик, а потом и русский шпион. Джозефина занялась тем же очень рано. Еще большой известности достигла на том же поприще Элла Винтер, Хемингуэй хорошо ее знал. В совсем еще молодые годы она предприняла наступление на весьма известного писателя и публициста Линкольна Стефенса.

В 1926 году Хемингуэй писал Эзре Паунду: «Ты, конечно, слышал о том, что Стефенс женится на молодой Юпи, ей 19 лет, типичный синий чулок в стиле Блумсбери (из Блумсбери

вышла вся кембриджская группа русских шпионов: левая ориентация и гомосексуализм, или, как выразился сэр Исайя Берлин, «Гоминтерн» — Б.Н.). Последняя глава в книге революции». Итак, именно с юной Эллой (среди прочих) Хемингуэй толковал о революции (может, и в постели). И еще не раз потолкует, ибо она войдет в его ближайший круг к тому времени как станет профессионалкой. Элла оказалась цепкой.

Через несколько лет брака с ней и Стефенс уже стал крепким сталинистом. К несчастью, здоровье его не выдержало бурной политической активности и он отдал концы. Тогда железная Элла вышла замуж за очень близкого друга Хемингуэя, сценариста Доналда Огдена Стюарта. Это был также друг Кола Портера и супругов Мерфи, он знал Пикассо, он был человек света и подолгу жил на вилле Мерфи. Элла Винтер dokonчила его воспитание, и он стал самым пылким сталинистом Голливуда (Голливуд считался ответственным участком работы — знаменитый шпион Отто Кац любил говорить, что если Колумб открыл Америку, то он открыл Голливуд)...

Откуда, однако, на пьяных виллах ривьерских богачей и богемы развелось столько профессионалов. Заслугу эту приписывают немцу-коминтерновцу Вилли Мюнценбергу и его то ли помощнику, то ли начальнику Отто Кацу, опытному агенту НКВД, позднее подверстанному к «делу Сланского», и казненному у себя на родине в Чехословакии — не за многие его реальные преступления, а за то, что «слишком много знал». Идея же населить «своими людьми» мир богемы принадлежит, вероятно, все же не этим двум высоким профессионалам разведки, а хитроумному Карлу Радеку. Радек считал, что среди богатых левых можно найти куда больше слуг и союзников большевистского режима, чем среди «трудящихся масс», которым вообще нынче «не до того» и у которых вдобавок нечем «позолотить ручку» агентов. Опыт подтвердил теории Радека.

Впрочем, реализация его планов требовала тонкости, интеллигентности, художественности, широких связей и изобретательности. Всем этим обладали оба профессионала тайной службы Коминтерна — ГПУ — Кац и Мюнценберг. Задача их была не проста. Во-первых, они должны были внушить («невинным») интеллигентам-попутчикам, что именно

советский режим предоставляет наибольшую свободу творчества и бережно лелеет авангард. «Взгляните, как знаменит и богат авангардист Маяковский», — твердили Эльза Триоле и подвербованный с ее помощью еще в Харькове экс-сюрреалист Арагон. Во-вторых, удалось пустить слух, что поскольку у большевиков «свобода», они сквозь пальцы и без «буржуазной» брезгливости смотрят на «сексуальный плюрализм», а в кругах богемы даже такие «простые американские парни», как Хемингуэй, «не понимавший» элементарного гомосексуализма, были «сексуально озабочены» или «вечно голодны», не говоря уже о Гертруде Стайн, о Кокто, Жиде или танцовщиках Дягилева...

Мюнценберг понимал, что бунтарство, левачество и сталинизм его клиентов не должны требовать от них аскезы и даже умеренности в еде, питье или сексе. Напротив, они должны богатеть, жить шикарно и ждать повышения «качества жизни» под сенью «левой солидарности»: оставьте лишения массам, они к ним привыкли, к тому же мы о них и печемся. Мюнценберг не ждал от левых «интелло», что они пойдут в народ. Для самых больших демократов (вроде Хемингуэя) хватит общения с «простыми» барменами, кельнерами, крупье. Среди клиентов Мюнценберга процветал специфический «красный шик» 30-50-х годов, особенно ярко блиставший в кабаках Парижа и на виллах Ривьеры. Так что антибский «Отель дю Кап» был лишь одним из питомников, где вызревали помощники Каца и Мюнценберга. Что до Парижа, то там задавали тон сестрица Лили Брик Эльза Триоле, Люсьен Вожель (Фогель) и другие. Опубликованная только что переписка двух сестер Эльзы и Лили Брик привела в шок нынешних французских обозревателей: сестры пишут только о самых дорогих марках белья и парфюмерии (и ни единой мысли о мировой революции?).

Под Парижем лево-разведовательная публика толчется на вилле Вожеля «Фэзандри». Здесь тоже царят высокий шик, титулы, компартия и половая свобода. Роскошь проникает даже в несчастную военную Барселону, где идет пир «пролетарских писателей» (вино, банкеты, лимузины, пылкие и продажные графские речи А.Толстого) во время чумы подавления всех левых в рядах республиканцев и перехода всей вла-

сти к НКВД. А на Ривьере зимой и летом длится нескончаемая «фиеста». Как против нее устоять не слишком образованным «американским парням»? Протрезвить иных из них, вроде честного Дос Пассоса, смог только испанский террор НКВД, однако не все писатели были так чувствительны, как Дос Пассос или Оруэлл: скрытный Хемингуэй, похоже, долго оставался «верным проводником», да и умер на Кубе... Что до Фицджералда, то он тоже сочинил рассказик про 1 мая. И даже не слишком далекий американец Маккиско предстает в ривьерской сцене из его романа «Ночь нежна» сторонником советского «эксперимента»:

«— С какой стати нам воевать против Советов? — спрашивает Маккиско, — я считаю, что они осуществляют величайший в истории человечества эксперимент... по-моему, если уж воевать, так за тех, на чьей стороне правда.

— А как это определить? — сухо осведомился Барбан.

— Ну — всякому разумному человеку ясно.

— Вы что, коммунист?

— Я социалист, — сказал Маккиско, — я сочувствую России».

Впрочем, на той же Ривьере, у того же Вилли Мюнценберга была и клиентура уровнем выше американского. На Ривьере появились между войнами беженцы из гитлеровской Германии, среди них Томас и Генрих Манны. Им нужно было внушить, что Сталин все время «борется с Гитлером» и что оба писателя-беженца должны отдать себя без остатка «антифашистской борьбе». О хитрых играх Сталина с Гитлером сам Мюнценберг знал еще в 1935 году, но клиентам ему удалось морочить голову аж до самого до 1939, до самого сталинско-гитлеровского пакта и дележа Европы между смертельно спянными братьями-диктаторами. Конечно, и Томас Манн, и старенький Роллан (ему-то подсунули рыбу-лоцмана в виде русской экс-княгини, прямо в ванную), пришли в ступор только в 1939: вот оно что, а мы-то думали!.. Роллан уразумел, наконец, хотя бы то, что он ничего не понимал в политике и не должен был лезть в нее, а Манн все понял (хотя и с большим, безнадежным опозданием) и написал в Штаты верному агенту Отто Каца, агенту НКВД принцу Ловенштайну, еще и в 1940 году разводившему туманы сталинского «антифашизма» и клеймившему «агрессию Запада»:

«Ни один нацистский — или сталинский — агент, орудовавший в США, не смог бы посеять зерна столь чудовищной пропаганды, как ваша, пропаганды против демократии, ведущей смертельную борьбу против немецкого режима».

А пока, до самой войны колесили по Лазурному Берегу богатые американцы, «начинающие» или уже кончающие писатели. О таком начинающем перед самой смертью и затеял писать новый роман Хемингуэй — «Сад Эдема». Там — про любовь начинающего писателя Дэвида и Катрин — их долгий-долгий райский отпуск в ривьерском эдеме (знаменитый «Отель де Кап» имеет ведь нынче и второе название — «Скала Эдема»): загорают, переезжают с одного курорта на другой, любят друг друга и всех подряд, без различия пола.

Но вернемся к книге о «празднике, который...» О чем же в конце концов так туманно написал в своем предсмертном романе о «портативной фиесте» бедняга Хэм? Кто были эти верткие и таинственные «рыбы-лоцманы» и эти загадочные «богачи», насильно меняющие жен неуклонно богатеющему Хемингуэю? О чем они, эти его параноические намеки при нескончаемой фиесте под бокалы шампанского, поднятые за здоровье «трудящихся масс»?

Ах, Ривьера, Ривьера! Ах, мыс Антиб, Жуан-ле-Пен, Сен-Поль-де-Ванс... Ах, модное «левое» опьянение! И печальное похмелье ценою в 80 миллионов ни в чем не повинных душ!

И СКУЛЬПТОР, И РАССКАЗЧИК

АЛЕКСЕЙ ОБОЛЕНСКИЙ

Из садика, что окружает дом Алексея Оболенского на Фонарной горе над Ниццей, можно увидеть Средиземное море. Оторвав взгляд от его блеска, я заметил вдруг странные керамические фигурки на крыльце, на скамейке, на ограде бассейна — всюду. Прекрасные фигурки. Чем дальше я разглядывал эти скульптуры из обожженной глины и щепочек, тем очевидней становилась для меня их связь с недалеким отсюда морем. Она была и в средиземноморских сюжетах, и в ностальгических воспоминаниях о приморском детстве, и в материале тоже (скульптор любит стекляшки, камешки, щепочки, принесенные морем)... Что удивительно — русский скульптор из Ниццы Алексей Оболенский родился на этом берегу, на Лазурном Берегу Франции, в Ла Фавьере, на знаменитом «русском холме» близ Лаванду. Здесь стояло несколько русских дач, открыт был русский пансион, летом сюда приезжали на отдых русские эмигранты-парижане, а Оболенские жили здесь круглый год. Здесь Алексей вырос, здесь учился во французской школе, потом окончил университет неподалеку отсюда, в Эксан-Провансе — учил европейские языки, изучал русскую литературу. После окончания он уехал на три года в Москву: преподавал в МГУ, попал в компанию благородных тогдашних правозащитников, искал уцелевших родственников — совершенно фантастическая история...

По возвращении он стал преподавать в университете Ниццы. И вот — стал лепить. Рисовал он всегда, с ранних лет, потом стал скульптором. А еще позже стал петь — поет вместе со старшим сыном Гришей в «Вокальном квартете Ниццы»... Язык, музыка (литургические песнопения), скульптура (в последние годы — все больше работ на ветхозаветные и евангельские темы)... Во время недавней выставки скульптур Оболенского на темы «Песнь песней царя Соломона» французская критика писала о музыкальности его пластики. Одному из критиков чудилась при виде этих фигурок восточная музыка (может, арфа?). Что ж, конечно, восточная... Впрочем, старинные

католические монастыри Франции охотно устраивают выставки этих работ, заказывают Оболенскому скульптуры для соборов (они о Крестном пути Господа, о муках Господних, о праотце Аврааме, о пророках, об ангелах). Средиземное море уходит к берегам Леванта, и младший сын Алексея, востоковед, предпочитает Ницце арабские селения близ холмов Иудейских. Дочка, впрочем, пишет диссертацию о Замятине, жена полуфранцуженка-полуангличанка выдает русским читателям книги в приходской библиотеке. А русских тут все больше: граница нынче не «на замке»...

В жилах Алексея Оболенского текут русская, немецкая, шведская, армянская и черкесская кровь (это очень по-русски). Есть и французская. Прабабушка, жена князя Андрея Оболенского, была урожденная Дальгейм де Лимузен, из семьи эмигрантов, бежавших от революции в Россию. Лев Толстой делал ей предложение, а увидев ее замужней, безутешно восклицал в дневнике: «Ах, Александрин!... Самая тонкая и художественная и вместе нравственная натура». Ну, а бабушке с бабушкой и родителям Алексея пришлось бежать от другой (еще более кровавой) революции, пришлось трудиться в недорогом эмигрантском пансионе, на уборке винограда, за прилавком сельской лавочки. И ничего от этого, как видите, в семье не убыло — ни тонкости, ни художественности, ни нравственности. «Титулов не признавал уже и мой дед», — говорит Алексей Оболенский (этот дед, видный кадетский деятель В.А.Оболенский, написал замечательную мемуарную книгу). Титул что ж. Можно и с титулом писать холуйские гимны или «бороться с партийными уклонами» (как граф А.Н.Толстой)...

Из талантов Алексея Оболенского я едва ли не выше всего ценю его талант рассказчика. Не то чтоб ему попадались на пути другие люди, не те, что нам всем. Просто они не прошли мимо него незамеченными. Уверен, что он напишет не одну, а целых две прекрасных книги. Книгу художника. И книгу доброго насмешника. Как тут не позавидовать? Столько человеку дано...

Б.Н.



Африканец
(2000, дерево/глина)



Спящая
(*terracotta*)



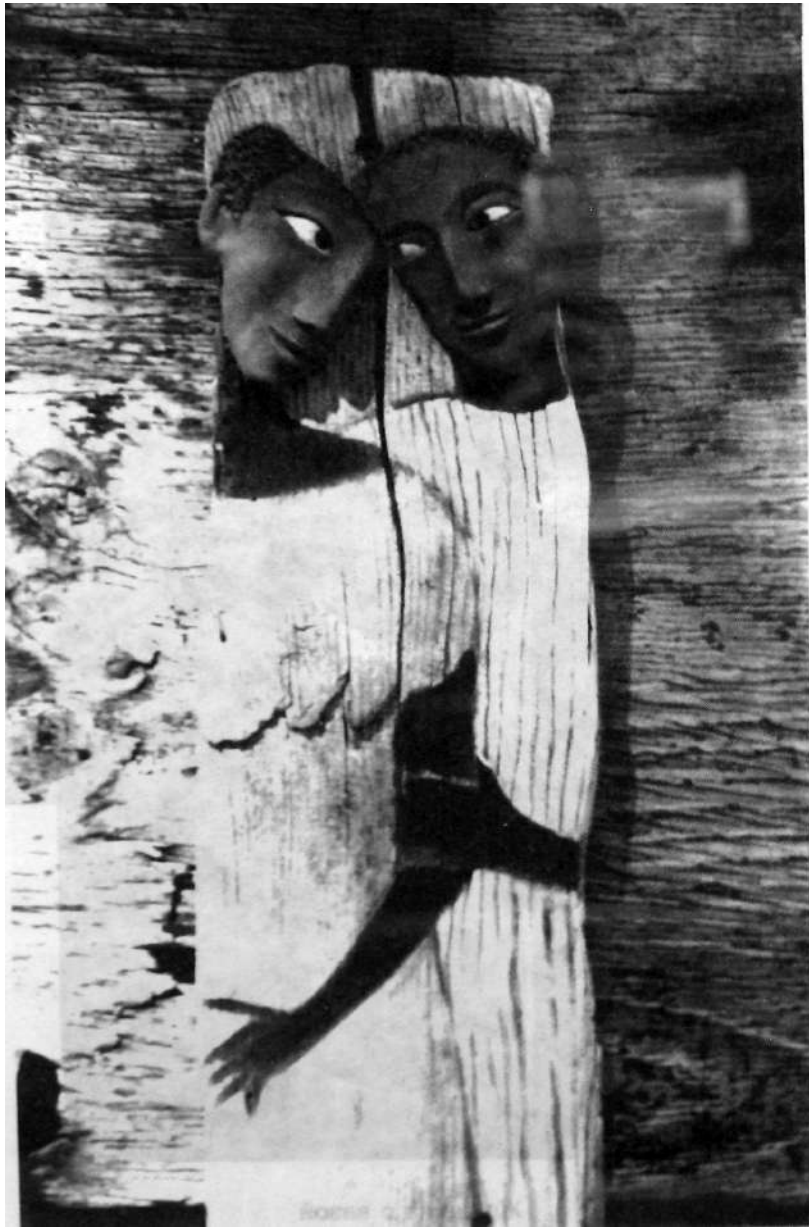
Ангел
(1999, *дерево/глина*)



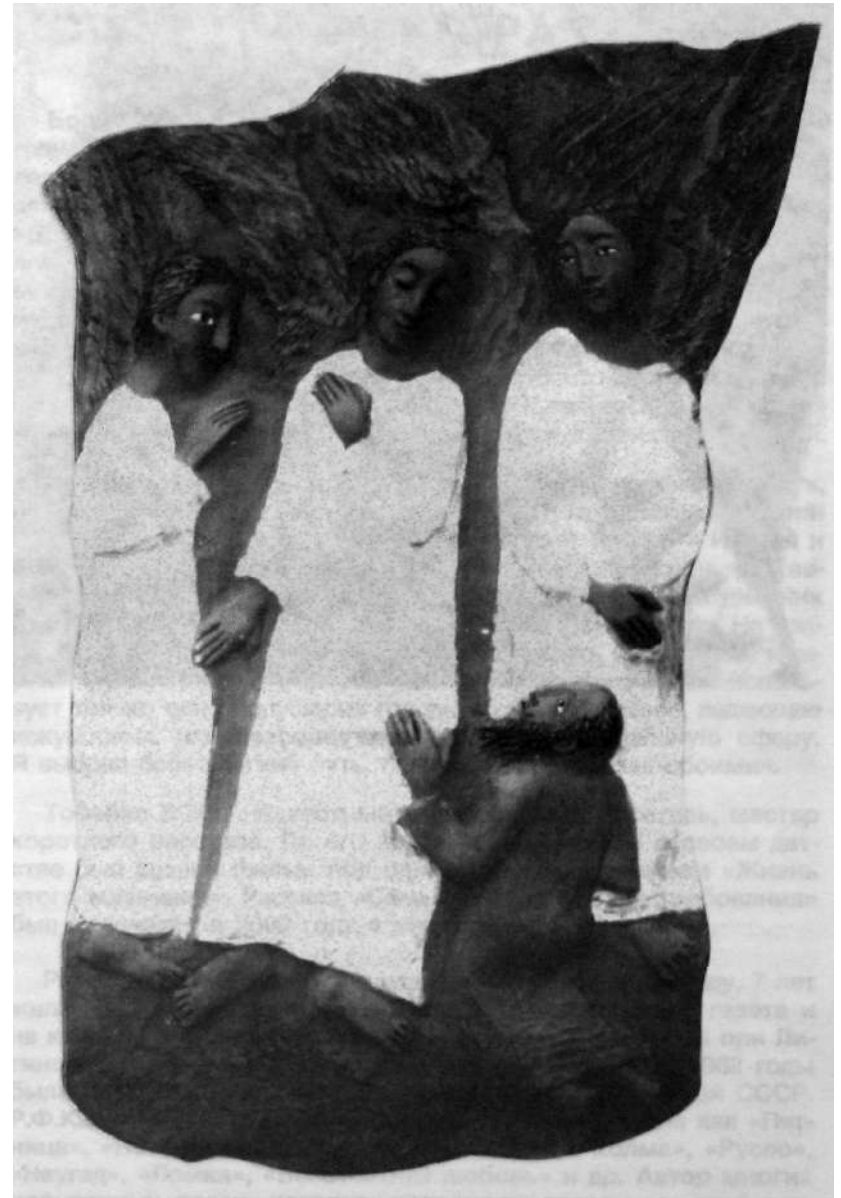
Башня
(1989, terracotta, гурам, тугуши)



Женщина с вазой
(1997, гурам, тугуши)



Любленные
(2000, дерево/глина)



Явление трех ангелов Аврааму
(2000, terracotta)



(1993, дерево/гуашь)

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Борис ХАЗАНОВ (Геннадий ФАЙБУСОВИЧ). Родился в 1928 году. После войны, будучи студентом МГУ, был арестован и провел 8 лет в сталинских лагерях. Писательская известность пришла к Борису Хазанову в середине 70-х годов, когда в журнале «Время и мы» была опубликована его повесть «Час короля», присланная автором из Москвы. В 1982 году Б.Хазанов покинул Москву и поселился в Мюнхене, где в течение нескольких лет редактировал журнал «Страна и мир». Борис Хазанов автор ряда книг, в том числе: «Я Воскресение и Жизнь», «Запах звезд», «Миф-Россия» и др. В настоящее время постоянно выступает с художественной прозой и публицистикой, является одним из авторов «Литературной газеты» и других периодических изданий.

Владимир ФРИДКИН. Доктор физико-математических наук, профессор, является сотрудником института кристаллографии РАН, а также профессором университетов в Тренто — Италия и в Линкольне — США. Российскому читателю известен, как автор двух книг о Пушкине и его времени: «Пропавший дневник Пушкина», «Чемодан Клода Дантеса» и многих рассказов. На вопрос о том, как ему одновременно удается быть и физиком, и лириком, В.М.Фридкин отвечает так: «Большинство людей использует только одно полушарие головного мозга, правое, ведающее искусством, или левое, отвечающее за рациональную сферу. Я выбрал более легкий путь, попеременно работая обоими».

Тобайес ВОЛФ. Известный американский писатель, мастер короткого рассказа. По его книге воспоминаний о своем детстве был сделан фильм под одноименным названием «Жизнь этого мальчика». Рассказ «Самые элементарные требования» был напечатан в 2000 году в журнале «Нью-Йоркер».

Римма КАЗАКОВА. Окончила истфак ЛГУ в 1954 году. 7 лет жила на дальнем Востоке — преподавала, работала в газете и на киностудии. Закончила Высшие литературные курсы при Литинституте имени М. Горького в Москве. С 1976 по 1982 годы была рабочим секретарем Правления Союза писателей СССР. Р.Ф.Казаква автор двух десятков книг. Из них такие как «Пятница», «Набело», «Снежная баба», «Сойди с холма», «Русло», «Наугад», «Ломка», «Безответная любовь» и др. Автор многих популярных песен, которые исполняют звезды русской эстрады — Пугачева, Киркоров, Лещенко, Гвердцители, Серов, Малинин, группа «На-На», «Стрелки», «Белый Орел» и т.д. С 1998 года — Первый секретарь Союза Писателей Москвы.

Елена ИСАЕВА. Родилась в Москве, закончила факультет журналистики МГУ. Автор нескольких поэтических сборников и пьес, член Союза писателей Москвы, лауреат литературной премии «Венец».

Ной РУДОЙ. Родился в 1921 году. Инвалид Второй Мировой войны» авто четырех поэтических книг. Стихи Н.Рудого неоднократно публиковались в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и «Юность», переводились на иностранные языки. Ной Рудой — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор около 300 научных работ, в том числе, 5 монографий. В настоящее время живет в США.

Леонид ГОМБЕРГ. Родился в 1948 г. в Москве. Закончил филфак МГУ. Журналистикой начал заниматься в начале 90-х годов, в израильских русскоязычных газетах «Время» и «Новости Израиля». Был главным редактором российско-израильского альманаха «Перекресток-Цомет». Автор трех книг прозы, в том числе, сборника рассказов и очерков «В наших краях», вышедшей в Тель-Авиве, и «Война и Мир Юрия Левитанского», изданной в России. Живет в Москве.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ. Прозаик, драматург, публицист. Автор тридцати книг, пятнадцати пьес. Переводился на сорок иностранных языков. Лауреат ряда литературных премий. Секретарь Союза писателей Москвы. Член комиссии по правам человека при президенте Российской Федерации.

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ. Родился в 1930 году в Москве. Автор книг «Час выбора», «Монолог с вариациями», «По следам Гоголя», «Гоголь» (в серии ЖЗЛ) и др. Живет в Москве.

Юрий ДРУЖНИКОВ. Прозаик и историк литературы. Родился в 1933 г. в Москве, филолог, был членом Союза писателей СССР, в 1987 году, после десятилетнего запрета, эмигрировал в США. Автор романов «Ангелы на кончике иглы», «Виза в позавчера», «Узник России», «Вторая жена Пушкина», а также документальных книг «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова», «Я родился в очереди», «Русские мифы», изданных на Западе и теперь в России. Профессор русской литературы Калифорнийского университета в Дейвисе.

Владимир ЛОБАС. Писатель, живет в Нью-Йорке, в прошлом — кинодокументалист, сценарист и режиссер, лауреат Ломоносовской премии. Первая часть написанного в эмиграции романа «Желтые короли» была опубликована в «Новом мире», а затем вышла отдельным изданием — 400 тысяч экземпляров.

В переводе на английский язык эта книга была выпущена дважды — в твердой и в мягкой обложке. Двухтомный, посвященный Достоевскому роман-документ В.Лобаса вышел в нынешнем году в одном из крупнейших московских издательств — АСТ.

Адам ВЕКСЛЕР. См. публикацию «Узник номер В8199» в этом номере.

Лев НАВРОЗОВ. Родился и вырос в Москве. Переводил на английский язык Достоевского, Герцена, Пришвина, Андрея Платонова, Фазила Искандера. В 1972 году эмигрировал в США, издал первую из семи своих книг, имеющих общее название «Воспитание Левы Наврозова: жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией». Отрывки из этой книги печатались в журнале «Время и мы», там же были напечатаны эссе и статьи Льва Наврозова «Что знает западная разведка о России», «Посредственность и спасение Запада», «Запад выходит напрямую к гибели», «Где так вольно дышит человек» и другие. Свыше двадцати его статей вошли как официальные материалы в Протоколы Конгресса.

Ефим МАНЕВИЧ. Родился в 1937 году. По профессии инженер-электронщик. Окончил Московский энергетический институт. В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1972 г. репатриировал в Израиль. В настоящее время живет в США.

Борис НОСИК. Родился в 1931 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и институт иностранных языков. Член Союза писателей. Борис Носик известен как писатель-документалист. Среди его очерковых и публицистических книг наибольшую известность получила биография Альберта Швейцера, вышедшая в серии ЖЗЛ и переведенная на иностранные языки. С начала перестройки широко публикуется в России, где сегодня напечатаны практически все произведения Бориса Носика, многие из которых долгие годы ходили в Самиздате. В журнале «Время и мы» опубликованы его повести «Большие птицы», «В турпоходе», «Анна и Амадео», а также многие рассказы.

ПАМЯТИ ИГОРЯ АЧИЛЬДИЕВА

В Берлине, не дожив чуть-чуть до семидесятилетия, умер Игорь Ачильдиев — русский философ и публицист, многие годы остававшийся не оцененным, главным трудом которого предстоит войти в научный обиход. Мы дружили тридцать пять лет, прятали рукописи друг друга, переснимали и отправляли на Запад тексты, допрашивались на Лубянке. Илья Лукин был его тайный псевдоним, под которым я переправлял его статьи в журнал «Время и мы».

Он родился в Петербурге, в юности работал адвокатом на Дальнем Востоке, писал стихи, служил в журналистике — в «Московском комсомольце» и «Литературной газете». Но только близкие друзья (среди них крупные ученые) знали, что основным содержанием его жизни был наука. С именем Ачильдиева связана новая концепция происхождения человека, подрывающая старые теории, включая «марксистскую теорию Энгельса». Труд «Власть предистории» впервые был опубликован в Москве только после распада Советского Союза.

Человек произошел из «пратоппы предлюдей», говорит Ачильдиев (если сжать сотни страниц аналитического исследования в два слова). Сегодня, когда вспышки «толповых страстей» то и дело сотрясают мировое сообщество, будь то Ирак, Ирландия, Косово, Чечня, Индонезия, страны Африки или американские Лос-Анджелес и Сиэттл, теория Ачильдиева помогает понять истоки стадных инстинктов, коллективного безумия, возникновения и развития тоталитарных обществ, прихода к власти Ленина и Гитлера. «В рабстве у систем» — так называется второй изданный в Москве научный труд Ачильдиева. Толпа исторически сформировалась для того, чтобы подавлять индивидуальность, поддерживать опасные идеалы полного равенства. Не случайно с идеями борьбы за свободу для толпы в XX веке пришли насилие и террор.

«Толпа создает террор — террор создает толпу» — это последняя, недавно вышедшая в Берлине, книга философа Ачильдиева. В Германии ему создали условия для научной работы. Уходя из этого мира, Игорь Ачильдиев оставил новые взгляды на природу человека и опасности развития общества. Запрещенными идеями философа сейчас начинают пользоваться социологи, психологи, политики, пытающиеся понять катастрофы нашего времени и пути выхода из них

«Я сделал все, что мог, теперь дело за другими», — написал мне Ачильдиев за год до смерти, прислав статью из московского академического журнала «Вопросы философии», наконец-то признавшего его теории. До чего целен и силен должен быть человек, чтобы вопреки собственной теории о неизбежной и все подавляющей толпе, суметь сохранить свою индивидуальность в советской системе, создать внутри нее свои еретические труды, дать их миру и только после этого умереть.

Юрий ДРУЖНИКОВ, 2001.

ШМУЭЛЬ КАЦ

«ОДИНОКИЙ ВОЛК»

ЖИЗНЬ ЖАБОТИНСКОГО

(в двух томах)

Издательство «Иврус»

2000 г.

Перевод с английского

Руфи Зерновой и
Татьяны Файт

Валентин Д. ЛЮБАРСКИЙ

«ИЗ АМЕРИКИ С ПОЗНАНЬЕМ И СОМНЕНЬЕМ»

ЭПИСТОЛЯРНАЯ ПОВЕСТЬ

Хрестоматийность названия не должна настораживать: подразумевается познание себя. Книга есть своего рода исследование вопроса о столкновении двух культур — интуитивной и аналитической. В центре повести врачебная пара из Ленинграда с сыном. В России жена (Таня) была вполне на месте со своим женственным характером. В Америке она оказывается в конфликте, в процессе разрешения которого идет на психоанализ. Впоследствии она сама становится профессиональным психоаналитиком. У мужа (Сергея) противоположное развитие — от энтузиазма к скепсису. Он, который боялся ехать, испытывает по приезду в 1979 г. в Нью-Йорк эйфорию. За этим — подавленные комплексы неудачника, получившего второй шанс. И Америка предоставляет ему немало шансов. Другой источник эйфории — оптимистическое прожектирование, свойственное неудачникам. Нарядность и незнание новой жизни дают простор и пищу его воображению. С любопытством и любознательностью начала жизни всматривается он во все заново, не исключая самого себя. Описания наблюдаемого перемежаются с размышлениями вдоль пути.

Заказы на книгу направлять:

Санкт-Петербург. 199134
Склад-магазин Дмитрия Буланина
Петрозаводская д. 7

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ГРЕХОПАДЕНИЕ ЦЕЗАРЯ

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа — выходцы из среды московской богемы, — оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там, то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия — жизнь самого автора, человека острого и умного, и вечно униженного из-за неустройства жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности — тайный недуг, который окрашивает в темные краски всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души.

Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу «проклятых вопросов» жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

Книга (320 страниц) выходит в ближайшее время. Цена по предварительным заказам 15 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:
«Time and We»
409 Highwood Avenue
Leonia, New Jersey 07605, USA

ТАМАРА МАЙСКАЯ
«КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы, вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т.Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

«Т. Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела и выстрадала» (А.Андреев «Новое русское слово»).

«Она приподнимает занавесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы» (Майкл Эндрюз, д-р наук, проф. русского языка и литературы).

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ — автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

1 КОРАБЛЬ ЛЮБВИ — рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты».

Выходит в издательстве «Время и мы».

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

Tamara Mayskaya
11501 Mayfield Rd., No. 306
Cleveland, OH 44106, USA

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 2001

Установлены следующие условия подписки:

Стоимость годовой подписки журнала и стоимость журнала в розничной продаже определяется договором между Сторонами. В России оплата производится в рублях.

Подписка на Западе оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. Чеки высылаются в адрес корпорации "Время и мы" по следующему адресу:

409 Highwood Ave, Leonia, New Jersey
 07605, USA

Тел.: (201) 592-61-55

В России стоимость подписки устанавливается по соглашению сторон.

Подписной талон

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы"

на.....год.

Высылать с номера..... Журнал высылается обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись.....

*Редакция оставляет за собой право предоставлять
 в отдельных случаях скидки в размере до 50 %
 от стоимости подписки.*

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605

USA (201) 592-61-65

На первой странице обложки:
коллаж Вагрича Бахчаняна

На четвертой странице обложки:
работа Алексея Оболенского

OCR и вычитка - Давид Титиевский, октябрь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

Верстка «Новое время» тел. 229-23-26

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»

121088, Москва, Шубинский пер., в.

Заказ № 1857

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 952000 — журналы

